П. Б. СТРУВЕ

ДУХ И СЛОВО

Сборник статей

YMCA-PRESS

П. Б. СТРУВЕ

ДУХ И СЛОВО

Статьи о русской
и западно-европейской литературе

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 PARIS

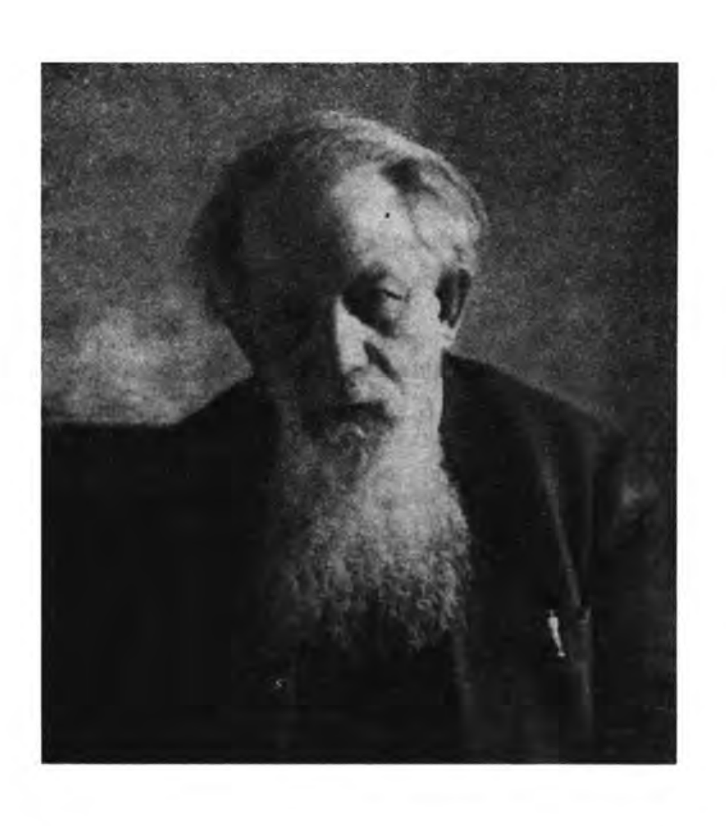
World © YMCA-PRESS 1981

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

В книге собраны почти все статьи по русской и западно-европейской литературе, написанные Петром Бернгардовичем Струве в эмиграции и затерявшиеся в газетах (в основном, в тех, что выходили под его редакцией: «Возрождение» 1925-27, «Россия» 1927-28, «Россия и Славянство» 1928-33) или в редких сборниках.

Название книги дано по статье о Пушкине. Она определяет метод П. Б. Струве от духа к слову и от слова к духу.

При перепечатке статей сохранены некоторые особенности авторской пунктуации и орфографии.



УМСТВЕННЫЙ СКЛАД П. Б. СТРУВЕ *

Первое, что бросалось в глаза всякому, кто интеллектуально общался с П. Б. — это редкая, едва ли не единственная в наше время многосторонность его интересов и знаний. Широкая публика, привыкшая, что в наше время даже самые выдающиеся личности укладываются в какую-нибудь профессиональную категорию, подводила его под две рубрики: для нее он был ученый профессор-экономист и политик. Но всякий, лично знавший П. Б. или даже ближе знакомый с его писаниями, должен был сознавать, что его личность и деятельность никак не исчерпывались этими понятиями. Уже на простой общий вопрос: кто такой П. Б. Струве — ученый? писатель? политик? — единственный правильный ответ будет: все вместе в нераздельном единстве личности. Очарование его личности состояло именно в том, что он был прежде всего яркой индивидуальностью, *личностью вообще*, т. е. существом, по самой своей природе не укладывающимся в определенные рамки, а состоящим из гармонии противоборствующих противоположностей (coincidentia oppositorum, употребляя философский термин Николая Кузанского). Не раз его друзья огорчались тем, что он растрачивает себя, разбрасываясь в разные стороны, и, как я упоминал в воспоминаниях, мне самому приходилось в последние годы его жизни предупреждать его об этой опасности. Мне известно, что приглашение

---

* Из книги С. Л. Франка. Биография П. Б. Струве. Чеховское изд., Нью-Йорк 1956.

его на профессуру в Политехнический институт имело отчасти — у друзей, которым принадлежала инициатива этого приглашения — задачу отвлечь его от политики и публицистики и заставить сосредоточить свои силы на научном творчестве. Все это было тщетно, ибо личность нельзя изменить, а личность П. Б. могла выражаться и находить себе удовлетворение только в полноте многообразных и противоречивых интересов и разного рода деятельности. В этом отношении он — немец по происхождению — был типическим русским духом; он походил своим умственным и духовным складом на такие типично русские умы, как Герцен, Хомяков, Вл. Соловьев, — с той только разницей, что они были гениальными дилетантами (или, как Вл. Соловьев, специалистом только в одной области), тогда как П. Б. был настоящим солидным ученым сразу в весьма широкой области знаний.

Пытаясь определить, прежде всего, сферу его научного творчества и научных интересов, нужно сказать, что она охватывала едва ли не все области «гуманитарных знаний» — политическую экономию и статистику, социологию, историю во всех ее подразделениях (политическую историю, историю права и государства, хозяйственную историю, историю культуры), правоведение в двух основных его отделах гражданского и государственного права, историю литературы, по крайней мере 18-го и 19-го века и, наконец, даже языкознание и философию. Конечно, не все эти науки имели одинаковое значение и занимали равное место в его творчестве; подлинным ученым специалистом в течение первой половины своей жизни он был преимущественно в области политической экономии (одновременно экономической теории и истории хозяйства), статистики и социологии; под старость он стал едва ли не первым по знаниям и оригинальности мысли из современных русских

историков и считал научное творчество в этой области главным своим призванием. Но, во-первых, его научный горизонт по этим основным его специальностям был так широк, что всегда охватывал целый ряд смежных наук. Так, в работе над книгой «Хозяйство и цена» он стал основательным знатоком истории гражданского права с древнейших времен, в частности римского права, и ряда других наук; в работе над русской историей он изучил историю русского языка и написал по нему несколько этюдов (о происхождении слова «крестьянин», об истории словесных оборотов «потому что» и «оттого что»). История экономических учений превращалась для него, как это видно из его последних писем ко мне, в историю экономической мысли, для которой он изучал общую литературу, начиная с Гомера и греческих трагиков. А затем, на другие области научного знания он совершал по временам как бы «налеты» из чистой любознательности, необычайно быстро овладевая их литературой и становясь в них скорее настоящим знатоком, чем дилетантом; по некоторым из них он оставил самостоятельные работы и исследовательского и творческого характера (например, по философии, по истории русской и европейской литературы 18-го и 19-го века, по истории русской науки); но даже в областях знания, по которым он сам ничего не писал, он становился основательным знатоком. Так, в 20-х годах, живя в Париже и редактируя «Возрождение», он погрузился в изучение исторической грамматики французского языка; в одном из разговоров с ним я убедился, что он с исчерпывающей основательностью изучил всю литературу государственного права; и таких примеров можно было бы привести еще множество. Но его знания не ограничивались даже всей сферой гуманитарных наук, а распространялись на смежные с ней области естествознания — отчасти в исторической перспективе (так,

он был знатоком истории русской науки, включая историю математики и естествознания в России — в частности историю деятельности немецких ученых естественников и математиков в России), отчасти в связи с его общими философскими и социологическими интересами. Из этой последней сферы приведу один пример. В связи со своим учением об обществе, как системе взаимодействия между индивидами, он изучил литературу недавно возникшей новой биологической науки «экологии» (науки о формах совместной жизни и взаимодействии в животном и растительном царстве). Говоря однажды со мной о нелюбимом им австрийском социологе Отмаре Шпанне, стороннике отрицаемой П. Б. органической теории общества, и цитируя фразу Шпанна, в которой органическое единство общества противопоставлялось механической совокупности деревьев в лесу, П. Б. сказал: «Он настолько невежествен, что даже не знает о существовании целой науки экологии». Я подумал при этом, что по меньшей мере девять десятых знаменитых и ученых социологов должны быть по этому признаку зачислены в разряд невежд.

Такого рода широта научного творчества и знаний предполагает, кроме широты интересов, еще особый дар — память. Всякий, кто встречался и беседовал с П. Б., знает, что он обладал почти сверхчеловеческой силой памяти. Он, казалось, никогда не забывал раз узнанные или где-либо вычитанные факты, данные, названия и мысли. Читая необычайно быстро, он на всю жизнь запоминал прочитанное во всех подробностях и через 20-30 лет мог рассказать содержание книги, как будто прочитал ее накануне. Память его распространялась не на одни лишь данные научного порядка. Во время редактирования «Освобождения» он поражал меня и других тем, что знал служебную биографию и как бы мог на память составить послужной список

едва ли не всех видных русских бюрократов (включая и губернаторов). В «Русской Мысли» он завел особый ежемесячный отдел некрологов, который он составлял сам, поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в истекшем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды в редакции возникли сомнения в надобности этого отдела некролога, он горячо воскликнул: «Нет, уж оставьте мне моих покойников». Для своих друзей и собеседников он был ходячим энциклопедическим словарем.

Эта память, в связи с любовью к книге и быстротой усвоения прочитанного, делала его несравнимым знатоком общей литературы; он всегда умел находить бесконечно много забытых, мало кому известных или оставшихся неоцененными книг и был в этом отношении совершенно исключительным наставником.

В самом начале нашего знакомства он однажды написал мне: «Знаете ли вы письма Флобера? Вот чтение для богов — и для вас!» Благодаря этому указанию, я ознакомился с одним из величайших — по мыслям и форме — произведений французской литературы 19-го века — кажется, доселе недостаточно оцененным. Много позднее, он обратил мое внимание на замечательного и мало кому известного поэта Щербину. Но главная ценность его детальной литературной и исторической осведомленности состояла в том, что она существенно исправляла ходячие ложные суждения о деятелях прошлого. Так, например, от него я узнал, что Тредьяковский — обычно только нарицательное имя для поэтической бездарности и педантизма — имеет заслугу первого введения в русскую литературу философской терминологии, или что Сенковский (в беллетристике — ничтожный «барон Брамбеус») был первоклассным ученым лингвистом, или что bête noire русской радикальной новейшей

истории — граф С. С. Уваров — был не только заслуженным либеральным государственным деятелем, но и одним из самых образованных людей своего времени, ученым классиком, другом и почитателем Гёте. Таких примеров неожиданных, свежих, интересных указаний и независимых суждений, которые приходилось слышать от П. Б., можно было бы привести бесконечное множество.

Роль, которую играла в научном творчестве П. Б. его огромная память (унаследованная им, вероятно, от его деда, знаменитого астронома Струве, составителя каталога звезд), могла бы склонить к предположению, что главный интерес его умственной натуры состоял в эмпирическом установлении и описании фактов. Много знаменитых ученых составили себе славу именно как установители и собиратели фактических данных, из которых слагается эмпирическая реальность; таковы многие историки и представители описательного естествознания. Совсем не таков был умственный склад П. Б. Он, правда, любил познание фактов, так сказать, как таковое, любил обилие деталей, точность в описании эмпирической действительности; но в общем его умственном складе факты были для него только материалом для мысли, для обобщающих интуиций. То, что его влекло всегда к широким обобщениям, что он обладал даром интуитивного открытия новых истин, и что он вместе с тем всегда стремился тщательно проверять свои интуиции на частных фактах, опираться на детальное знание эмпирической реальности во всем ее бесконечном многообразии, всегда затрудняло его научное творчество. Он ставил себе почти неосуществимую задачу сочетать одновременно исчерпывающее знание всего эмпирического материала с построением широких, как бы философских, обобщений. Ему никогда на практике не удавалось соблюдать мудрое правило Гёте: "In der Beschränkung zeigt sich

erst der Meister" (мастер прежде всего сказывается в самоограничении); его обобщениям угрожала всегда опасность либо утонуть в безбрежном количестве приводимого материала, либо оставаться только фрагментарными; и этим отчасти объясняется сравнительно малая — при его дарованиях — его научная плодотворность. Но если оставить в стороне вопрос, в какой мере эта полнота замысла была полезна или вредна в практике его творчества, обратить внимание только на самый его стиль, то можно сказать, что его целью было всегда — редко встречающееся в науке — гармоническое равновесие между эмпирическим и интуитивно-обобщающим моментами знания, между фактами и общими идеями. Так, по его основной специальности, решительно преодолев «классическую», т. е. абстрактную политическую экономию, он совсем не был сторонником противоположной, «исторической» школы политической экономии, просто отвергавшей теорию и заменявшей ее описанием хозяйственного быта, а стремился создать новый тип обобщающей теории хозяйства, основанный на установлении эмпирических закономерностей хозяйственной жизни. Таково же было и его основное педагогическое влияние на молодое поколение русских экономистов — его учеников: он учил их экономически мыслить, ориентируясь на эмпирической хозяйственной реальности. В философии его также влекло к тому типу философской мысли, который опирается на данные и выводы положительных наук.

Это сочетание философского интереса с эмпирическим, отвлеченной мысли с любовью к конкретной реальности было более, чем просто умственным складом П. Б. Оно было укоренено в самой его духовной личности. По первому, внешнему впечатлению он был типичным рассеянным «ученым» — или мечтателем, — человеком, погруженным в свои мысли и мечты, и

не обращающим внимания на все окружающее. С ним не раз случалось, что он как будто просто не видал людей, находящихся в одной комнате с ним, забывал с ними поздороваться; и об его феноменальной рассеянности ходили, как я уже упоминал, целые легенды. Но это была лишь внешняя, бросающаяся в глаза, поверхностная сторона его существа. Его внимание, правда, шло своим особым, капризным путем, почти не считаясь — как у нормальных людей — с практическими нуждами жизненного обихода. Но под обликом рассеянности скрывались напряженное внимание и интерес ко всем конкретным деталям окружавшей его реальности; он жадным, любовным взором всматривался во все, что встречалось на его пути, и, со свойственной ему силой памяти, надолго — едва ли не навсегда — все запоминал. Через много лет он мог подробно рассказать, какое платье носила женщина, которой он, казалось, совсем не заметил при встрече с ней. Этот, по наружному своему облику, по внешнему устройству и ходу своей жизни, типически русский интеллигент-аскет, неряшливый и беззаботный, для себя самого равнодушный к жизненным удобствам и благолепию, был, так сказать, бескорыстно страстным любителем жизни во всей конкретной полноте ее проявлений. Его практический аскетизм вытекал просто из его личного бескорыстия, из направленности его духа на созерцание жизни и на действенное *моральное* участие в ней; в нем не было и тени *принципиального* аскетизма, столь распространенного в русской интеллигенции и опирающегося на некое, по большей части неосознанное «гностическое» отвержение мира и презрение к нему, на врожденную, кажется, русскому духу тягу к «опрощению», на отвлеченный спиритуализм, для которого плоть, всякое цветение, богатство и полнота земного бытия сами по себе суть зло или ненужная суета. П. Б., напротив, по-пушкински

или по-гётевски благословлял жизнь, любил и ценил ее, страстно ею интересовался, считал все в ней важным и интересным, одобрял в ней не бедность, а богатство и полноту. Проживя сам всю свою жизнь отрешенным от жизни скитальцем, он духовно был человеком жизни, деятельным ее участником и строителем. Доминирующая в его миросозерцании идея *культуры* — всяческой культуры, материальной не менее, чем духовной, или — точнее — неразрывного единства в культуре ее материального базиса и воплощения с ее духовной сердцевиной — вытекала из этой его органической обращенности на жизнь.

I

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

ИМЕНЕМ ПУШКИНА

Сегодня Зарубежная Россия празднует день Русской Культуры.

Неслучаен этот возврат к идее, к знамени, к лозунгу Культуры в годы крушения России и нашего рассеяния.

Тотчас после революции пишущий эти строки пытался создать широкое национально-культурное объединение в форме особой «Лиги Русской Культуры». Я возымел тогда этот замысел, нашедший весьма широкий отклик, в твердом убеждении, что постигшая Россию революция несет с собой поток нового разрушительного варварства. Варварства дикого, но хуже чем первобытного. Варварства, в котором западная отрава интернационального коммунизма сочетается с архи-русским ядом родной сивухи.

Ныне основная идея «Лиги Русской Культуры» воспринята Зарубежьем и воплощается в особом «дне», связанном с памятью, с именем, с духом величайшего выразителя русской культурной мощи, Пушкина.

Чем же дорог, чем учителен и водителен для нашего времени Пушкин — в том его окончательном и окончательно зрелом образе, который он завещал России и русскому народу?

Пушкин не отрицался **национальной** силы и **государственной** мощи. Он ее, наоборот, любил и воспевал. Недаром он был певцом Петра Великого.

И в то же время Пушкин, этот ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель земной **силы** и человеческой **мощи,** почтительно **склоняется перед неизъяснимой** тайной **Божьей,** превышающей все земное и человеческое. Но его мистицизм был стыдливым; ему было чуждо все показное и крикливое, все назойливое и чрезмерное.

Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна **мерой** и в меру собственного **самоограничения** и самообуздания. Ему чужда была нездоровая **расслабленная** чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время «максимализм», который родится в угаре и иссякает в похмельи.

Пушкин почитал предание и любил «генеалогию». Глядя «вперед без боязни», прозирая в **будущее,** он спокойно и любовно **озирал прошлое** и в него погружался.

Вот почему Пушкин первый и главный учитель для нашего времени, того времени, в котором одни еще больны угаром и чрезмерностью, а другие являются жертвами и попутчиками чужого пьянства и похмелья.

Эпоха русского Возрожденья, духовного, социального и государственного, должна начаться под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением Пушкина.

КУЛЬТУРА И БОРЬБА

Всенародное чествование в Зарубежьи русской культуры есть идея и учреждение, порожденное революцией, как крушением российской государственности и русской культуры. Пока государственность наша была цела, пока русская культура не была раздавлена под пятой изуверов и негодяев, — мы как-то не думали о борьбе за Россию и о защите русской культуры, не думали, по крайней мере, так и в том смысле, в каком после революции об этом приходится задумываться и пещись: здоровые (или мнящие себя таковыми) не думают о здоровье и не помышляют о лекарствах; крепкие люди не запасаются костылями; счастливые не ищут себе утешения и подкрепления.

Да, Россия бедна, ограблена, унижена, изувечена.

После революции 1917 года русские люди оказались, на погорелом месте, историческими калеками.

Живой храм русской культуры, созидавшийся длинным рядом поколений, опустошен и осквернен.

Сами виновники опустошения и осквернения понимают это, и они стараются или старались одно время свое разрушительное дело скрыть под музейными заботами. Разлитые по всей стране и дышавшие исторической жизнью частицы веками накопленного национального творчества, после того как проникавший их дух был старательно вытравляем из жизни, были сложены в музеи и стали предметами археологической регистрации.

Но Пушкин и Суворов, но духовные святыни

наши, церкви, мощи и иконы, не суть музейные номера, а живые силы родного духа и национального делания!

Нельзя в духе и истине чтить Пушкина и безропотно-покорно выносить разрушение в народе той исторической памяти, в служении которой великий поэт видел свое призвание. Ведь это он сказал звучащие гневным укором гнусным разрушителям России и живым призывом на борьбу с ними мудрые слова, слова, которые должны быть нашим исповеданием национальной веры и боевым кличем:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Ведь это Пушкин восславил Петра, как «шкипера славного», «кем наша двинулась земля, кто придал мощно бег державный корме родного корабля».

Неужели дух Пушкина, без обращения к которому Россия не может быть возрождена, снесет покорно, что «Петра творенье», **«Град Петров»,** который он призывал стоять «неколебимо как Россия», будет навсегда обесчещен гнусным именем его разрушителя, Ленина?!

Ведь это Пушкин воспел «любимые сады» Царского Села, исполненные «Великою Женою» (Екатериной II); ведь Пушкин для своего поколения воскрешал образы «стеснителя ратных строев», «перуна кагульских берегов» и «могучего вождя полунощного флага». Он же напоминал современникам о «вечной» и «священной» «памяти Двенадцатого года».

Неужели, кто в духе и истине чтит память другого исполина русского духа, навсегда связавшего себя с Пушкиным — Достоевского — может терпеть и стер-

петь, чтобы нечестивые антихристовы руки по всей русской земле гнали старцев Зосим и всю православную церковь, взрывали храмы и оскорбляли всякую религиозную веру?!

Нет, из русской души нельзя вытравить ни имени, ни заветов Достоевского, нельзя погасить его духа, пророчески заклеймившего теперешних властителей России как — стадо бесов.

Дух Достоевского, так же как дух Пушкина, велит изгнать из тела и души России полонившие ее бесовские силы безобразного большевизма и утвердить вновь свободу человека, его «по воле Бога самого» основанное «от века» **«самостоянье».**

Чем глубже мы погружаемся в русскую культуру, чем любовнее мы воспринимаем всю богатую радугу ее цветов, — тем с большей остротой и властью должно охватывать нас чувство борьбы с нечестивым злом коммунистического владычества, захватившего «родное пепелище» и осквернившего «отеческие гробы».

Мы знаем, борьба эта трудна — для нее одинаково нужны и крепкие мышцы, и меткий глаз, и сильный дух. Она должна быть одинаково напоена и ясной духовной свободой Пушкина, и душевным напряжением и страстью Достоевского, и упорной волей Суворова, который учил через **«науку побеждать»** достигать на поле брани конечного успеха.

Но именно только сопрягши с сыновней любовью к русской культуре мужественную волю к **борьбе** за освобождение России от коммунистического ига, к великой борьбе за **«самостоянье человека»,** мы окажемся достойными войти в «родное пепелище» и обрести «отеческие гробы», и в них — «животворящую святыню» самой Святой Руси, которой служили Суворов, Пушкин, Достоевский.

Белград, 9-го июня 1930 г.

ЗАВЕТЫ ПУШКИНА

День Русской Культуры, как свободное начинание русского, свободного от коммунистического гнета, Зарубежья, как обнаружение его душевной силы и духовной воли, исполнен глубокого смысла и исторического значения.

Та борьба, которую мы ведем с большевизмом и советским гнетом, не есть только политическая борьба и не в политике содержится ее конечное оправдание.

Совсем наоборот.

Наша политическая непримиримость по отношению к большевизму есть не только осуществление принадлежащего нам, как гражданам, права, она есть наша обязанность, как носителей культуры, перед соборным существом, перед «мистическим телом», именуемым — Россия.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, —
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

В этих вдохновенных словах величайшего русского гения выражена самая основная, самая интимная и самая возвышенная идея культуры, — любовно-свободная связь поколений, созидающих культуру как ту «животворящую святыню», на которой покоится свободное бытие человеческой личности,

Самостоянье человека, —
Залог величия его.

***

Да, конечно, мы любим, мы чтим русскую культуру, мы любим ее во всем ее своеобразии, во всей ее исторической полноте и красоте, изображенной и увековеченной лучше всего — Пушкиным. Не случайно с его именем связано, ко дню его рождения приурочено это торжество. К Пушкину пусть всегда обращается наш скорбящий дух, наша ищущая возбуждения мысль, переполняющее нас чувство любовной связанности с душой России.

Но будем памятовать и о том, чем велик и мощен Пушкин. Правда, его всечеловеческий захват в полной мере никому из нас недоступен, но пусть он будет для каждого из нас и вдохновенным призывом и великим уроком — всечеловечности.

Всему человеческому был открыт дух великого поэта. Пушкин никогда не оставлял пределов России. Но, «сердце укрепив свободой и терпеньем», он вобрал в это сердце весь мир и в художественных образах, в «звуках сладких и молитвах», подарил богатство мира своему народу. Ибо он знал, что

... огонь поэзии чудесный
Сердца враждебные дружит —
При песнях вдохновенья
Вражда [народная] молчит
И восстают благословенья
И [на сердца] нисходит мир.

И из уроков чужой истории, французской, Пушкин извлекал поучения, которые и сейчас жгучей правдой и огненным призывом отдаются в наших сердцах:

О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон?
                                        Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей? Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! О ужас, о позор!...
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! нет, не виновна ты:
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа —
Сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой...
Но ты придешь опять со мщением и славой —
И вновь враги твои падут.

В том величие нашего национального гения, что в подлинно великих его творениях все нужно, все живо, все — в лучшем смысле этих хороших русских слов — учительно и назидательно. Все исполнено русской национальной и в то же время всечеловеческой красоты, правды и свободы.

РАСТУЩИЙ И ЖИВОЙ ПУШКИН

I

Пушкин — величайшее явление русской культуры, значение которого в истории не умаляется, а непрерывно возрастает в России и для России.

Еще при жизни Пушкин был любимейшим, самым понятным и самым дорогим из русских писателей. Он еще при жизни стал «народным», хотя рядом с ним жили и действовали писатели, язык, мысли, слова, речения которых не меньше, а больше пушкинских вошли в народный обиход: назову Крылова и Грибоедова. Затем наступила смерть Пушкина, с ее всем доступным и всех до глубины взволновавшим трагизмом: «Погиб поэт, невольник чести...»

А потом настала эпоха какого-то, быть может, лишь видимого и даже мнимого потускнения лучезарного ообраза Пушкина в русских умах: 60-е и 70-е годы. Но это потускнение было мнимым, и когда в 1880 году был открыт на редкость удачный, благородный в своей простоте памятник Пушкину в Москве, Россия гениальным и пророческим взором вновь открыла Пушкина, и он раскрылся перед ней. Это открытие и раскрытие Пушкина через вещее слово Достоевского есть для меня, который был в это время ребенком, первое сильное, чисто духовное, чисто культурное переживание, потрясение и откровение.

Затем — 1887 год. Истекает срок авторского права на сочинения Пушкина и в миллионах экземпляров его творения растекаются по необъятной русской земле.

Если смерть Пушкина была первым раскрытием его величавого образа для «образованной России», а чествование его памяти, в связи с освящением памятника, было таким вторым раскрытием для нее же, то 1887 год знаменует целую эпоху в том процессе, которым Пушкин становился подлинно народным.

Откуда и в чем это величие Пушкина, как культурного явления? Как все явления такого рода, как все гении, Пушкин органически вырос. Он больше своих предшественников, он намного выше своих современников, но он неразрывно с ними связан. Есть какое-то **неизъяснимое** наслаждение — я нарочно употребляю это чисто пушкинское слово, им заимствованное у Державина и Карамзина — следить за тем, как Пушкин подготовляется и органически вырастает из всего предшествующего развития, как к нему ведут и Ломоносов и Сумароков, и Фонвизин и Озеров, и Державин и Карамзин, и Хемницер и Крылов, и наконец та широкая волна подлинной народной поэзии, которая, вместе с знаменитым сборником народных песен Чулкова и Новикова, проникает в русскую образованность и органически в ней претворяется.

В лице Пушкина, быть может, даже не вполне заметно и ощутимо для него самого, история подвела итог огромной культурно-национальной работе, произведенной в великое пятидесятилетие, гранями которого являются 1765 год, один из первых годов Екатерининского царствования, и 1815 год, год рождения Пушкина не как физического лица, а как великого русского поэта.

Итак, Пушкин — гений, пожавший обильную историческую жатву и в то же время непрерывно выраставший при жизни и после смерти. В чем же величие Пушкина, в чем разгадка неуклонного роста его значения для России и русской культуры?

Пушкин — самый объемлющий и в то же время

самый гармонический дух, который выдвинут был русской культурой. Не в том только дело, что Пушкин не элементарен, а многосоставен и, в лучшем смысле, многолик. Он — хороший, простой и добрый человек, увлекающийся и вспыльчивый, в молодости предающийся разгулу «неистовых пиров» и чрезмерностям «легкокрылой любви» и такого же «похмелья». И этот человек, которому не чужды человеческие слабости, в то же время есть тот величавый поэт, которого изобразил он сам. Читатели Пушкина не всегда, может быть, задумываются над тем, что в своем дивном стихотворении «Поэт» Пушкин изобразил не поэта вообще, а прежде всего **самого себя.** С чарующей искренностью он сказал, что он мог на самом деле «в заботах суетного света» быть «малодушно погружен» и что «меж детей ничтожных мира» он самому себе представлялся «быть может, всех ничтожней».

Но у этого «малодушного» и «суетного» человека был вещий гений, был острый слух, чуткий к «божественному глаголу», был «гордый и суровый» дух, «тоскующий в забавах мира», не признающий никаких человеческих «кумиров», был презирающий «людскую молву» «свободный ум», идущий «дорогою свободной». Не поза, а подлинная простая правда самопознания говорила в Пушкине, когда, вспоминая поэта бесконечно слабейшего, чем он сам, — своего друга Дельвига, великий творец писал о нем по себе:

О Дельвиг мой! Твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали.
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья,

Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья.
Ты гений свой воспитывал в тиши.
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...

Величие Пушкина состоит именно в том, что он в самом себе познал и сожительство и противоречие, этот — по меткому слову другого поэта — «поединок роковой» малого и великого, что он в своей собственной душе нащупал все мели и промерил все глубины человеческой души.

И это — сохраняя полную ясность, подлинно крепкую зоркость умственного взора!

Ибо, будучи из «детей ничтожных мира», этот простой и добрый человек, как поэт, как творец, не знал в пору своей зрелости никаких слабостей, ни слабостей недохвата, ни слабостей перехвата. Он был — до конца прозрачная ясность, всеобъемлющая сила, воплощенная мера. Вдумайтесь в это: всеобъемлющая сила в сочетании с величайшей мерой. Этой мерной силе было присуще величайшее творческое спокойствие, ей была свойственна спокойная и ясная справедливость.

II

Итак, Пушкин вовсе не принадлежит к тем умам и душевным организациям, которые не имеют истории. Пушкин изменялся и вырастал. Пушкину, кроме того, не было дано сказать не только последнего слова. Он большей части того, что мог сказать, не сказал. Он унес с собою в могилу целый мир.

Но все-таки Пушкин рано созрел и рано явил великое могущество творческого духа и ясного созер-

цания мира. После 1825 года мы имеем перед собой зрелого Пушкина.

Чем отмечен дух и душа этого зрелого Пушкина?

Давно замечено — и ровно десять лет после смерти Пушкина его друг, кн. П. А. Вяземский, превосходно выразил это:

> Пушкин мог иногда увлекаться суетными побуждениями, страстями, более привитыми, чем, так сказать, самородными; но ум его, в нормальном положении, был чрезвычайно ясен, трезв и здрав. При всех своих уклонениях, он хорошо понимал истину и выражал ее. С этой точки зрения он мог уподобляться тем дням, в которые, при сильных порывах ветра и при волнении в нижних слоях атмосферы, «безоблачное небо остается спокойным и светлым».

Пушкин был ясный и трезвый дух. Но при всей трезвости своего духа, Пушкин никогда не стлался по земле, при всей **ясности** он был объят чувством **неизъяснимого.**

Великие творцы неслучайно имеют свои излюбленные слова. В этих словах воплощается их дух, в них он живет и трепещет. У Пушкина в его словаре есть два таких полярных слова:

ясный

и, рядом с ним, его отрицание:

неизъяснимый.

Да, Пушкин сам ясен и любит ясность. Он, можно сказать, ее вокруг себя распространяет и он ее творит. И в то же время этот ясный дух в эпоху своей зрелости смиренно склоняется перед неизъяснимым.

Вот тут-то мы нащупываем то, что с полным правом можно и должно назвать религиозностью Пушкина.

Есть разные выражения и виды религиозности.

Один вид есть **погружение** в этот мир, все равно будь то наивно-реалистическое **освоение** Бога или страстно-упоенная **отдача себя** Ему, или, наконец, выливающееся в форму логического рассуждения или мысленного разъятия, философское **опознавание** Бога. Первое есть простая и крепкая вера в Бога простых людей, второе есть растворение личности в Божественном начале — сюда относится подлинная **мистика.** Третье есть богословское утверждение Бога. Но может быть и совсем другой вид религиозности, не погружение в Божество и не Его утверждение мыслью, а **«касание мирам иным».** Именно не прикосновение, а касание, стыдливое, сдержанное приближение, в котором нет никакого упоения или опьянения, где ясность не утрачивается, а ясный и трезвый дух только смиренно склоняется перед неизъяснимым.

Такова была религиозность зрелого Пушкина.

Белград, январь 1937 г.

«НЕИЗЪЯСНИМЫЙ» И «НЕПОСТИЖНЫЙ»

Из этюдов о Пушкине и Пушкинском Словаре

Памяти моего сына Льва
† 3/16 января 1929 г.

I

Пушкин ясен во всем многообразном смысле этого прекрасного русского слова. Он — ясный день и он — ясный сокол. Он живой и могучий образ творческой гармонии и ясности, он красота и мера. Пророчески-ободрительно и в то же время на всех деятелей русской культуры налагает величайшую ответственность, что в начале русской подлинно национальной, самобытной литературы стоит этот спокойный великан ясной и мерной красоты.[1])

А в то же время какое было любимое понятие и слово у я с н о г о Пушкина?[2])

Для Пушкина «небо блещет н е и з ъ я с н и м о й синевой.»[3]) Значит, для него и в глубине спокой-

---

1) Я пользуюсь здесь и ниже некоторыми мыслями, выражениями и примерами из своей речи «Русская наука в истории русской культуры», произнесенной в 1921 г. на первом пражском съезде русских ученых и напечатанной в «Возрождении» от 7-го июня 1926 г., и из своих «Заметок писателя: 3. Русский язык. — Очистители и засорители» («Возрождение» от 29 апреля 1926 г.). Ср. также статью «Именем Пушкина» в «Возрождении» от 7 июня 1926 г.

2) Интересно было бы проследить употребление слова «ясный» у Пушкина. Но об этом в другой раз и в другом месте.

3) Кто знает край, где небо блещет
Н е и з ъ я с н и м о й синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет... (1827 г.)

ной и ясной небесной тверди есть что-то, при всей яркости и блеске, неизъяснимое, таинственное. Но и в глубинах человеческой души, с ее смятениями и волнениями, скрываются для взора поэта те же н е и з ъ я с н и м ы е, таинственные вещи:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Н е и з ъ я с н и м ы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог.
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Итак — хвала тебе, чума!

(«Пир во время чумы», 1830 г.)

Или:

Оставил я людское стадо наше,
Дабы стеречь ваш [богов *П. С.*] огнь уединенный,
Беседуя один с самим собой...
Часы н е и з ъ я с н и м ы х наслаждений!
Они дают нам знать сердечну глубь,
В могуществе и в немощах сердечных
Они любить, лелеять научают
Не смертные, т а и н с т в е н н ы е чувства,
И нас они науке первой учат —
Чтить самого себя.

(Набросок 1829 г.)

В свое время я уже указал, что едва ли не Карамзин у к о р е н и л в русском литературном языке это любимое пушкинское слово «неизъяснимый», мистически характерное для величайшего русского гения. Из Карамзина и приведу один только поздний пример. О побежденных русским упорством и русской зимой французах Карамзин пишет:

Как в безднах темной Адской сени
Толпятся осужденных тени,
Под свистом лютых Эвменид:
Так сонмы сих н е п о б е д и м ы х,
Едва имея жизни вид,
В страданиях н е и з ъ я с н и м ы х
Скитаются среди лесов;
Им пища лед, им снег покров.

(1814 г.) [4])

Но первый автор, у которого я встретил слово «неизъяснимый», — Державин. В его знаменитой оде «Бог» есть стих:

Н е и з ъ я с н и м ы й, н е п о с т и ж н ы й.

Тут рядом два прекрасных русских речения, которые мы привыкли связывать с Пушкиным.

II

Остановимся пока на первом из этих речений.

Слово «неизъяснимый» есть не столько перевод, сколько передача французского ineffable, которое в свою очередь есть уже перевод греческого arretos [5]).

Французский язык слово ineffable заимствовал (или удержал) из поздней латыни и, в частности и в точности, из языка Блаженного Августина и церковного поэта Пруденция [6]). А от Августина и Пруденция его заимствовала вся средневековая латинская литература, и в особенности та, к которой прилагается

---

[4]) «Освобождение Европы и Слава Александра I». В Смирдинском издании т. I, СПБ. 1848 г., стр. 238-254. Едва ли не последнее стихотворение Карамзина. «Непобедимых» подчеркнуто в оригинале; «неизъяснимых» — мною. *П. С.*

[5]) Словам arretos, resp. aneklaletos, как и ineffabilis, собственно соответствуют славяно-русские речения «неизречен[ный]» и «неизглаголан[ный]». Ср. Словари Востокова и Миклошича. У этих слов, кроме первичного и буквального, есть вторичное, так сказать, углубленное значение, указующее на таинственность, мистичность. Такие же два значения и к эпитету «неизъяснимый».

[6]) Впрочем, впервые это слово встречается, кажется, у Плиния Старшего.

наименование «схоластической», эта подлинная сокровищница и мастерская самых сильных и самых поэтических речений, которыми располагает человечество.

И вот что примечательно: державинские эпитеты Бога: «неизъяснимый, непостижный», именно в этом сочетании одного рядом с другим, мы находим не у кого иного, как у Декарта, который сказал: « Dieu est ineffable parcequ'incompréhensible» [7]). Декартовское же словосочетание надлежит возвести к словоупотреблению схоластическому и святоотеческому, в свою очередь опирающемуся на понятия и выражения греческой философской литературы [8]).

Но уже после того, как я ознакомился с сопоставлениями «Схоластико-картезианского указателя» Жильсона, мне удалось установить, что декартовская формула уже на французском языке была предвосхищена Жаном Антуаном де Баифом (de Baïf), одним из «Плеяды», умершим за семь лет до рождения Декарта:

Dieu donques est Dieu l'ineffable
Dieu que nul mortel ne conçoit. [9])

---

7) По изданию Adam et Tannery, t. III, p. 284.

8) Этьен Жильсон (Gilson) в своем Index scolastico-cartésien, Paris, 1913, где этот первостепенный знаток средневековой философии, обращаясь к книгам библиотеки коллежа La Flèche, в котором учился Декарт, систематически прослеживает его словесные и идейные заимствования у схоластиков, отсылает (l. c., p. 146) тут к Suarez Met. disp. 30, 13, 1 : non solum sancti patres (quod in eis est frequentissimum) sed etiam philosophi hanc excellentiam Deo tribuerunt esse scilicet ineffabilem. Далее у Суареца следуют ссылки на Платона, цитируемого св. Григорием Назианзином, и на Гермеса Трисмегиста, цитируемого св. Кириллом Александрийским.

9) Mimes, f 39 r, ed. 1597, цитировано у Frédéric Godefroy. Dictionnaire de l'ancienne langue française. Tome X (Complément), Paris 1902, sub voce. Ж. А. де-Баиф (1522-1589) — незаконный сын Лазаря де-Баифа, дипломата и гуманиста (род. 1496 † 1547), ученика Иоанна Ласкариса. Де-Биаф-сын был моложе Ронсара, но раньше его погрузился в греческую учебу у гуманиста (Auratus, † 1588), который сделался учителем и Ронсара. Ср. о гуманизме «Плеяды» и об отношениях на этой почве Ронсара и де-Баифа у Pierre de Nolhac, Ronsard et l'humanisme. Paris 1921.

Формулировка Декарта, может быть, является прямой «реминисценцией» из де-Баифа, и весьма возможно, что такую же «реминисценцию» мы находим и у Державина. Правда, в эпоху, когда развивался и действовал Державин, французская поэзия XVI века, с Ронсаром во главе, и в самой Франции находилась в незаслуженном забвении (и это продолжалось до Пушкина и отразилось на нем, см. его отзыв о Ронсаре), но ведь французские поэты-гуманисты XVI века были не только поэтами своего народа и века, но и выразителями целой культурной эпохи, основной капитал которой, изучение и восприятие эллинско-римской культуры во всем ее объеме,[10]) в известной мере перешел по наследству к XVII веку с т. н. «ложным классицизмом» и к его преемнику, веку XVIII. Во всяком случае, книжные источники и литературные образцы державинской оды «Бог» и всего его творчества подлежат еще систематическому обследованию.

III

В отличие от эпитета «неизъяснимый», «непостижный» есть слово церковное и внесено в русскую литературную речь прямо из языка церковно-славянского (оно встречается и теперь в языке богослужения. Ср. древнейшие ссылки sub vocibus в Словарях Востокова и Миклошича, а также словари Памвы Берынды и Федора Поликарпова).

У Пушкина в стихотворениях это слово встречается, кажется, один раз (в прозе, кажется, вовсе не встречается):

---

10) Ж. А. де-Баиф писал стихи не только французские, но латинские и даже греческие. Под конец своей жизни он разочаровался именно в своем поэтическом творчестве на французском языке и усиленно ударился в писание латинских стихов.

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму —
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
(«Сцены из рыцарских времен», 1836 г.)

В первоначальном, более раннем наброске этого стихотворения соответствующие две строчки имели, повидимому, такой вид:

Он имел одно виденье
Непонятное ему.

Эпитет «непостижный» встречается нам прежде всего у Тредьяковского.[11]) К началу 30-х годов относится изучение Пушкиным Тредьяковского по собственному пушкинскому экземпляру издания его стихотворений 1752 г. Весьма возможно, что именно это свежее изучение Тредьяковского натолкнуло взор и слух такого любителя и мастера выразительного слова, как Пушкин, на эпитет «непостижный». С точки зрения литературного языка было бы вообще весьма поучительно сопоставить словарь Пушкина со словарем Тредьяковского, с произведениями которого пристальное знакомство Пушкина в пору его полной зрелости точно удостоверено. Правда, мы должны тотчас

---

[11]) В оде XVI «Парафразис псалма 143: Благословен Господь Бог мой». («Сочинения и переводы как стихами, так и прозою», том II, СПБ. 1752 г., стр. 97. Это произведение было впервые напечатано в книжке, изданной в 1744 г. в СПБ.: «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные через трех стихотворцев» (Тредьяковского, Ломоносова и Сумарокова) и перепечатанной А. А. Куником в его «Сборнике материалов для истории Императорской Академии Наук в XVIII в.», ч. II, СПБ. 1865 г. В переложении псалма 143 только у Тредьяковского встречается слово «непостижный» как эпитет Бога.

же заметить, что эпитет «непостижный» мы находим не только у Тредьяковского, но несколько позже и у Ломоносова [12]); у последнего встречается, кроме того, и форма «непостижимый» (в надписи 1754 г. на раку Св. Димитрия Ростовского и тут именно — как эпитет Бога).

Таким образом, в наших двух эпитетах словарь Пушкина явно восходит к его отдаленным предшественникам: к Державину, Ломоносову и Тредьяковскому. Не будем здесь говорить об отношении Пушкина к Ломоносову и Державину; отметим, что относительно высокая оценка Пушкиным Тредьяковского, которого в те времена осмеивали, да и теперь принято осмеивать, не читая, навеяна была Радищевым [13]). Но Пушкин пошел даже дальше Радищева, сказав, что «изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей» [14]). С этим можно не соглашаться: Пушкин был исторически неправ в отношении Сумарокова и его языка, но в то же время нельзя не признать, что Тредьяковский в самом деле был замечательным явлением в истории русской образованности вообще и русского языка в особенности. В частности, в отношении словаря

---

12) Переложение псалма 145: «Блажен.., кто себя вручает Всевышнему... и в помощь призывает живущего на небесах, несчетно многими звездами наполнившего высоту и н е п о с т и ж н ы м и делами земли и моря широту» (цит. по «Сочинениям М. В. Ломоносова в стихах». Издание А. Ф. Маркса, под редакцией Арс. И. Введенского, СПБ, 1893 г., стр. 21). Первоначально появилось это переложение в «Риторике» Ломоносова, изд. 1748 г.

13) Говоря, что «в Тилемахиде находится много хороших стихов и щастливых оборотов», Радищев написал о них целую статью» («Мысли на дороге» 1833-1834 гг., там же весьма отрицательное суждение Радищева о Ломоносове как поэте), Пушкин имеет в виду «Памятник дактилохореическому витязю» и т. д., перепечатанный теперь в издании В. М. Саблина под редакцией В. В. Каллаша, т. II, Москва 1907 г., стр. 393 и сл.).

14) Об отношении Пушкина к Тредьяковскому примечание Б. Л. Модзалевского к письму № 265 в его собрании «Писем» Пушкина, т. II. (СПБ. 1928 г.), стр. 274.

Тредьяковский — и по интересу Пушкина к этому словарю и по другим основаниям — заслуживает самого тщательного исторического изучения: как я покажу в другом месте, он является подлинным творцом русской философской терминологии, которая вовсе не была и в пушкинское время столь молода, как думал сам Пушкин, предлагая кн. П. А. Вяземскому заняться работой над созданием русского «метафизического» языка,[15]) — в истории его после Тредьяковского надлежит отвести значительное место не кому иному, как Радищеву, в особенности как автору трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии».

IV

Для всякого настоящего художника, творца образов или творца мыслей, слово есть не внешнее орудие, а носитель живого смысла. Оно полновесно и жизненно.

Так и у Пушкина. Речение «неизъяснимый»[16]) исполнено у него глубокого смысла. Можно даже сказать, что именно Пушкин придал этому русскому слову-понятию его углубленный, всеобъемлюще-мистический смысл. Из отрицательного эпитета (Бога), т. е. из богословского термина, и из неопределенно-чувствительного определения, Пушкин превратил его в

---

[15]) См. письмо от 1-го сентября 1822 г.: «Образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах». Ср. письмо от 13-го июня 1825 года и примечание к этому письму Б. Л. Модзалевского.

[16]) Интересно было бы проследить употребление этого слова у других писателей, в стихах и прозе, после Державина и Карамзина, в особенности у Жуковского и Батюшкова. Но здесь мы этим не будем заниматься. Отметим только, что ближайший друг Пушкина и превосходный стилист П. А. Плетнев говорит в 1825 г. о «неизъяснимом» простодушии Хемницера и о «неизъяснимой» прелести «Кавказского Пленника» (Пушкина) — в том замечательном «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах», которое, едва ли не первое в печати, отдает должное гению и историческому значению Пушкина (напечатано в «Северных Цветах» за 1825 г., собранных бароном Дельвигом, изданных Иваном Сleниным, стр. 24 и 43).

слово, обозначающее какую-то предельную для ясного человеческого познания и разумения таинственную черту и тем указующее на мистическую основу бытия, как такового.

Тут на этом примере видно, как изучение словаря писателя приводит не только к установлению смысла отдельных употребляемых им слов, но и к истолкованию существенных мотивов его творчества. Сдержанное и стыдливое, далекое от всякой сентиментальности, признание таинственности всякого и всего бытия есть столь же основная и могущественная стихия пушкинского творчества, как и «классическая» ясность. Более того, обе эти стихии в Пушкине со-относительны и со-размерны. Чем яснее и отчетливее видит, чем красочнее пишет, чем выпуклее лепит Пушкин, тем более близко и более властно подводит он нас к черте, за которой лежит неизъяснимое и начинается тайна.

Пушкин, поэтому, не классик и не романтик в общепринятых смыслах этих обозначений. Рисунок Пушкина точен, его лепка строга и выразительна — без холодности «классицизма». Его краски ярки, его фантазия богата, его чувствительность[17] (если это слово применимо к Пушкину) мужественна — он свободен от узорочной пестроты, от кричащих красок, от чрезмерности и расслабленности современного ему «романтизма».

Пушкин заодно пластичен и мистичен.
Он заодно ясен и неизъясним.

Белград, Апрель 1929 г.

---

[17]) Именно этим словом Плетнев характеризует Пушкина в выше упомянутой статье-письме 1825 г. Ср. также полемику в том же году между кн. П. А. Вяземским, в «Московском Телеграфе», и автором «Писем на Кавказ», в «Сыне Отечества», о чувствительности Жуковского и Пушкина. Ср. Б. Л. Модзалевский в примечании к письму № 144 в его собрании «Писем» Пушкина, т. 1, СПБ. 1926 г., стр. 436.

ДУХ И СЛОВО ПУШКИНА [1])

С приложением материалов к историческому словарю языка Пушкина [2])

Посвящается памяти внука великого поэта, Сергея Александровича (Сережи) Пушкина, которому, как ученику III класса Третьей СПБ. гимназии, я, в роли репетитора, «вдалбливал» латинскую, греческую и русскую грамматику.

I. Дух и Душа Пушкина

Дух не есть Душа. Не только в новейшем, столь модном в современной Германии, смысле Людвига Клагеса, который создал хитроумное учение о духе как коварном антагонисте души [3]), но и в том более простом и более правдивом смысле, который был заложен греческой философией пифагорейцев и философией Сократа-Платона и окончательно утвержден христианской философией апостола Павла и его истолкователей. Первоначально душа и дух (дыхание) наивно-материалистически (космологически) отожде-

---

[1]) Главы II-V составили содержание речи, произнесенной на торжественном собрании в Русском Доме имени Императора Николая II в Белграде 10 февраля 1937 г., организованном Югославянским Отделом Зарубежного Пушкинского Комитета. С неизъяснимой отрадой, соединенной с глубокой скорбью, я вспоминаю, что внимательным слушателем моей речи был почивший Св. Патриарх Варнава.

[2]) Это «Приложение», занимающее в первопечатном тексте 68 страниц, не воспроизводится нами здесь. — *Прим. редакции.*

[3]) Ludwig Klages. *Der Geist als Widersacher des Lebens.* Leipzig, 1929 (S. A. Barth, 2 тома в 830 страниц).

ствляются. Так, в знаменитом афоризме Анаксимена душа (psyché) отождествляется с воздухом (aer), а дух (pneuma) характеризуется как дыхание мира[4]). Дальше философская мысль все яснее и яснее отличает и отмежевывает дух от души, и это различение их, как двух сил, или, вернее, двух слов, или пластов, человеческого бытия, окончательно торжествует в философии апостола Павла. Вы помните: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (I Коринф., XV, 44), ибо «тленному... надлежит облечься в нетление, и смертное... облечется в бессмертие». Эти слова великого первоучителя христианства вдохновляли величайшего его церковного витию Иоанна Златоуста, и через него каждый год в Светлую ночь укрепляют и утешают православных христиан. То, воистину, — не только вещие, но и священные слова, и из всех великих творцов Слова, они всего полнее оправдываются на величайшем гении русского Слова и Духа, когда мы любовно изучаем Слово и из Слова постигаем Дух Пушкина.

Именно Д у х. Не мятущуюся душу, преданную страстям, не душу, всецело не только подвластную «душевному» или «животному» телу, но и составляющую с ним нечто единое, а дух ясный, простой и тихий, смиренно склоняющийся перед неизъяснимым и неизреченным.

Слово у нашего Пушкина таинственно-неразрывно связано с Духом. Неслучайно и недаром, ведь, этот несравненный художник русского Слова, самый могучий его творец и служитель, называл себя «таинственным певцом» (Арион). Чрез тайну Слова Пушкин обрел Дух, и этот Дух он воплотил в Слово.

Поэтому, говоря о Духе Пушкина, нет надобности

---

4) Kai olon ton Kosmon pneuma kai aer periechei. Цитировано по изданию: Diels. Die Fragments der Vorsokratiker, Vierte Auflage. Berlin 1922, S. 26.

распространяться об его жизни, с ее страстями и ошибками, с ее грехами и падениями. Эту жизнь нужно узнать, чтобы познать Дух Пушкина. Этой жизнью, конечно, жила, в ней и ею наслаждалась и страдала, упивалась и изнывала его душа. Но эту жизнь преодолевал его Дух. Преодоление себя, своей Души в Слове и обретение через Слово своего Духа есть самое таинственное и самое могущественное, самое волшебное и чарующее, самое ясное и непререкаемое в явлении: Пушкин.

Это не есть громкая фраза, не есть безответственное провозглашение общих мест. Когда я ощутил эту тайну, эту таинственную связь Слова и Духа в личности и творчестве Пушкина, я дал обет довести для себя и для других эту связь до полной ясности, до непререкаемой отчетливости, до себя самое объясняющей простоты. Обретши эту тайну непосредственным видением, я решил оправдать свое видение кропотливым изучением, выводы и утверждения которого могли бы быть схвачены и проверены всяким.

Ключ к Духу Пушкина в его Слове. Конечно, и душа Пушкина отразилась в его словах и стихах. Душа человека, о котором директор Царскосельского Лицея сказал, когда Пушкину не было еще двадцати лет: «Если бы бездельник этот захотел учиться, он был бы человеком, выдающимся в нашей литературе»; о котором его товарищ и друг, декабрист Пущин, обмолвился меткой характеристикой: «странное смешение в этом великолепном создании».

Но, ведь, самым странным смешением в этом создании было именно сожительство души, которая «жадно, бешено предавалась наслаждениям» (Лев Пушкин), «неистовым пирам» и «безумству гибельной свободы», тому, что честный и мудрый Александр Тургенев метко, с ласковой, почти отеческой, тревогой за «Сверчка» в 1817 г. назвал «площадным волокитством» и также «площадным вольнодумством», сожи-

тельство этой души с совершенно другой стихией. С Духом, подымавшимся на такую высь, на которой этому Духу было доступно подлинное ясновидение и Боговидение, и он в ясной тишине и тихой ясности, художественно преображая этот мир, касался миров иных и приближался к Божеству.

В свете этой мысли о сожительстве в Пушкине неистово-страстной и жадно-безумной души с ясным и трезвым, мерным и простым Духом становятся совершенно понятными и приобретают огромный не только психологический, но и подлинно религиозный смысл такие произведения, как «Поэт» («Пока не требует поэта...»), как «В часы забав иль праздной скуки...», как «Воспоминание» [5]).

Дух Пушкина подымался на высоту и погружался в глубину [6]). Но душа его мучительно тосковала и

---

[5]) Этот человечески естественный и в то же время религиозно столь значительный факт дал повод В. В. Вересаеву утверждать, что Пушкин жил в «двух планах». Ср. его статью «В двух планах. (О творчестве Пушкина)» в журнале «Красная Новь», кн. 2-ая за 1929 год, стр. 200-221. Но разве Пушкинская «двухпланность» не есть по существу нечто неизбывное и характерное для человека вообще? Вересаев подметил факт, но по своей религиозной слепоте не мог его истолковать.

[6]) Надлежит отметить, что на слово и понятие «Дух» в русском и вообще славянских языках обратил внимание в своих замечательных французских лекциях о русской литературе Адам Мицкевич. С точки зрения исторической и сравнительно-лексической его замечания, конечно, не выдерживают критики, но все-таки в основе их лежит глубокое понимание проблемы духа в христианском смысле. Любопытно и неслучайно, что именно глубоко религиозный Мицкевич делает эти замечания, и притом по поводу произведений Державина, самого духовного и христианского из великих русских поэтов: «Duch signifie... non pas l'esprit (mens) tel qu'il est compris par la plupart des philosophes, non pas l'esprit suivant l'acception vulgaire du mot, mais l'homme spirituel, l'homme intime, qui anime le corps, le spiritus dans le sens biblique... Nulle part on ne trouve cette idée profondement slave aussi bien exprimée que dans ces strophes de Dierżavin» («Бессмертие души», 1797, ср. критическое издание Я. К. Грота, у которого цитированы замечательные рассуждения Мицкевича, т. II, СПБ., 1865, стр. 2-4).

подлинно трепетала в этих таинственных восхождениях и нисхождениях, пока, наконец, сливаясь с Духом, она не обретала мерности в «восторге пламенном и ясном», не смирялась перед Богом в «ясной тишине».

Это давалось нашему великому поэту в каком-то отношении, как человеку страстному, нелегко. Он сам, как человек, был всю жизнь раздираем тем, что он назвал чудесно-метким, им вычеканенным, словом: «противочувствия». Но была и в его страстной и подчас неистовой душе струна, которая была органически созвучна ясности и тишине духа. То была его человеческая доброта. Пушкин мог быть и злым и даже, как сказал однажды кн. П. А. Вяземский, злопамятным. Но злоба и злопамятность в нем как бы взрывалась и такими взрывами истощалась в его душе. А в этой душе в то же время был неиссякаемый источник доброты и простоты. Эта душевная доброта Пушкина была созвучна его духовной ясности, и она в его поэтическом творчестве водворяла ту гармонию противоположностей, о которой говорили некогда пифагорейцы и Николай Кузанский.

О доброте Пушкина мы имеем много свидетельств. Но все они получают то значение, о котором я говорю, лишь в сопоставлении с драгоценными воспоминаниями о Пушкине умного и честного П. А. Плетнева: «Любимый со мною разговор его, за несколько недель до его смерти, все обращен был на слова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение». По его мнению, я много хранил в душе моей благоволения к людям»[7]), и далее: «Написать записки о моей жизни мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высоко-религиозное на-

---

[7]) П. А. Плетнев — Я. К. Гроту. Переписка Грота с Плетневым, II, 731. Цит. по Вересаеву «Пушкин в жизни», вып. IV, стр. 87.

строение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни»[8]).

II. Слово и слова Пушкина

Художник и мастер слова говорит словами. Какие же слова, полные не условного, а существенного, душевного и духовного, смысла, всего чаще встречаются в творениях Пушкина, особливо в чисто художественных?

Когда я непосредственным видением, интуицией уловил и познал дух Пушкина, присущую ему чудесную гармонию пламенного восторга и ясной тишины, я эту гармонию — употребляя пушкинское выражение — «поверил», правда не «алгеброй», а простым счислением, довольно точным счетом. И что же получилось?

Самыми любимыми словами, т. е. обозначениями вещей, событий и людей, у Пушкина оказались прилагательные: я с н ы й и т и х и й и все производные от этих или им родственные слова.

Еще раньше я в специальном этюде установил значение для Духа, т. е. для мысли и чувства Пушкина, другого понятия: н е и з ъ я с н и м ы й[9]). Понятие это полярно понятию я с н ы й, как его отрицание. Ясный дух Пушкина смиренно склонялся перед Неизъяснимым в мире, т. е. перед Богом, и в этом смирении ясного человеческого духа перед Неизъяснимым Божественным Бытием и Мировым Смыслом и состоит своеобразная религиозность великого «таинственного певца» Земли Русской.

---

8) П. А. Плетнев Я. К. Гроту. 24 февраля 1842 г. Переписка Грота с Плетневым, т. I, СПБ., 1896, стр. 495. Цит. по Вересаеву «Пушкин в жизни», вып. IV, стр. 97.

9) См. этюд «'Неизъяснимый' и 'непостижный'», выше, в настоящем же томе. — *Прим. ред.*

Но, установив это, естественно было и надлежало пойти дальше. На всем пространстве Пушкинского творчества с его юношеских и до самых зрелых произведений слова: ясный и неизъяснимый, тихий и тишина сопровождают его мысль и чувство.

Как мыслили и чувствовали предшественники Пушкина? Вот что обнаружилось при историческом исследовании пушкинского слова. Исторически оно восходит по своему основному смыслу и стилю к В. К. Тредьяковскому и к М. В. Ломоносову. Эпитеты «ясный» и «тихий» и производные от этих прилагательных слова встречаются особенно часто у Ломоносова. И у него же мы встречаем сочетание существительных «ясность» и «тихость» (хотя чаще у Ломоносова существительное «тишина»; «тихость» у Пушкина совсем не встречается). У него же впервые — **«ясная тишина»**. Принимая во внимание, что Пушкин превосходно знал русских поэтов XVIII века, в частности и в особенности Ломоносова, и не только его стихотворные произведения, но и его «Реторику», мы здесь — в отношении пушкинского словоупотребления — должны усматривать, конечно, не заимствования, а просто естественную преемственность словесной традиции. И это не могло быть иначе! Пушкин, как один из творцов русского слова, стоит всецело на плечах XVIII века, продолжая две его традиции или два его подвига, одинаково важные: усвоение книжному русскому языку элементов языка церковно-славянского и впитывание элементов и богатств народного языка в язык книжный. Первое есть дело больше всего словесного мастерства Ломоносова. Второе — дело Державина и, в особенности, издателей народных или ставших народными песен, больше всего — Новикова и Чулкова.

Пушкин продолжал оба эти дела и он оба названных элемента русского литературного языка окончательно спаял в некое органическое единство.

Это есть величайший подвиг в истории русского языка, подвиг, в котором Пушкин проявил и весь свой гений художника слова, и всю силу своего проникнутого мудрым историзмом духа. В этом подвиге Пушкина у него было два ближайших предшественника: Державин и Жуковский, которые в этом духовном смысле еще ближе, еще родственнее Пушкину, чем Ломоносов.

III. Судьба и рост Пушкина как культурного явления

Пушкин — величайшее явление русской культуры, значение которого в истории не умаляется, а непрерывно возростает в России и для России.

Еще при жизни Пушкин был любимейшим, самым понятным и самым дорогим для русского сердца из всех писателей. Он при жизни стал народным, хотя рядом с ним жили и действовали писатели, язык, мысли, слова, речения которых не меньше, а больше пушкинских вошли в народный обиход: назову Крылова и Грибоедова. Затем наступила смерть Пушкина, с ее всем доступным и всех до глубины души взволновавшим трагизмом. «Погиб поэт, невольник чести...»

А потом настала эпоха какого-то, быть может, лишь видимого и даже мнимого потускнения лучезарного образа Пушкина в русских умах: 60-ые и 70-ые годы. Но это потускнение было мнимым, и когда в 1880 году был открыт на редкость удачный, благородный в своей простоте памятник Пушкина в Москве, Россия гениальным и пророческим взором вновь открыла Пушкина, и он раскрылся перед нею. Это открытие и раскрытие Пушкина через вещее слово Достоевского есть для меня, который был в это время ребенком, первое сильное, чисто духовное, чисто культурное переживание, потрясение и откровение.

Затем 1887 год — истекает срок авторского права на сочинения Пушкина, и в миллионах экземпляров

его творения растекаются по необъятной русской земле. Если смерть Пушкина была первым раскрытием его величавого образа, а чествование его памяти в связи с освящением памятника было таким вторым раскрытием, то 1887 год знаменует целую эпоху в том процессе, которым Пушкин становился подлинно народным.

Откуда и в чем это величие Пушкина как культурного явления?

Как все великие явления такого рода, как все гении, Пушкин органически вырос. Он больше своих предшественников, он намного выше своих современников, но он неразрывно с ними связан. Есть какое-то *неизъяснимое* наслаждение — я нарочно употребляю это чисто пушкинское слово, заимствованное им у Державина и Карамзина — следить за тем, как Пушкин подготовляется, т. е. органически вырастает из всего предшествующего развития, как к нему ведет и духовная, точнее духовно-языковая, сокровищница Церкви и богослужения, ведет и творчество Ломоносова, и Фонвизина и Озерова, и Державина и Карамзина, и Хемницера и Крылова, и Жуковского и Батюшкова, и, наконец, та широкая волна подлинной народной поэзии, которая, вместе с знаменитыми сборниками народных песен Чулкова и Новикова, проникает в русскую образованность и органически в ней претворяется.

В лице Пушкина, быть может, даже не вполне заметно и ощутимо для него самого, история подвела итог огромной культурно-национальной работе, произведенной в великое пятидесятилетие, гранями которого являются 1765 год, один из первых годов славного Екатерининского царствования, и 1814 год, год рождения Пушкина, не как физического лица, а как великого русского поэта.

IV. Величие Пушкина

Итак, Пушкин — гений, пожавший историческую жатву и в то же время непрерывно выроставший при жизни и после смерти.

В чем же величие Пушкина, в чем разгадка неуклонного роста его значения для России и русской культуры.

Пушкин — самый о б ъ е м л ю щ и й и в то же время самый г а р м о н и ч е с к и й дух, который выдвинут был русской культурой. Не в том только дело, что Пушкин не элементарен, а многосоставен и в лучшем смысле многолик.

Пушкин — самый я с н ы й русский дух.

Пушкин ясен во всем многообразном смысле этого прекрасного русского слова. Он — ясный день и он — ясный сокол. Он — живой образ творческой гармонии, он — красота и мера. Есть что-то для русской культуры пророчески-ободряющее, что именно Пушкин, этот спокойный великан, стоит в начале русской подлинно национальной самобытной литературы.

Вспомним его собственные гениальные слова:

В мерный круг
Твой бег направлю
Укороченной уздой...

Пушкин в этой мерности художнически переживал и духовно утверждал — ясную тишину, как некое вполне доступное человеку, ему естественное религиозное начало.

Вот чем — в том его окончательном и окончательно зрелом образе, который он завещал России и русскому народу — дорог нам Пушкин, вот чем он учителен и водителен для нашего времени.

Пушкин не отрицался национальной силы и госу-

дарственной мощи. Он ее, наоборот, любил и воспевал. Недаром он был певцом Петра Великого.

И в то же время Пушкин, этот ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель земной силы и человеческой мощи, за доступной и естественной человеку ясной тишиной духовно прозревал неизъяснимую тайну Божию, превышающую все земное и человеческое, и перед этой тайной Божьей смиренно и почтительно склонялся. Да, его припадание к Тайне Божией было действием, можно сказать, стыдливым. Религиозности Пушкина было чуждо все показное и крикливое, все назойливое и чрезмерное.

Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна мерой и в меру собственного самоограничения и самообуздания. Ему чужда была нездоровая, расслабленная чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время «максимализм», который родится в угаре и иссякает в похмелье.

Пушкин почитал предание и любил «генеалогию». Глядя «вперед без боязни», прозирая в будущее, он спокойно и любовно озирал прошлое и в него погружался.

И в то же время он ощущал и переживал — Тайну.

Вот почему Пушкин первый и главный учитель для нашего времени, того времени, в котором одни сами еще больны угаром и чрезмерностью, а другие являются жертвами и попутчиками чужого пьянства и похмелья.

Эпоха русского Возрождения, духовного, социального и государственного, должна начаться под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением величайшего певца России и Петра, гением трезвости и ясной тишины, за которой высится и чуется таинственная Правда Божья.

V. Ясная тишина

Итак, основной тон Пушкинского духа, та душевно-космическая стихия, к которой он тянулся, как творец-художник и как духовная личность, можно выразить словосочетанием: «ясная тишина». У самого Пушкина это словосочетание не встречается, но по смысловой сути принадлежит ему, есть его духовное достояние. Исторически, как я сказал, оно явственно восходит к Ломоносову, который в одном письме говорит об «ясности и тишине», а в одной надписи и прямо употребляет словосочетание **«ясная тишина»** (ср. ниже в материалах к толковому словарю Пушкина). Еще явственнее духовный смысл сочетания ясности и тишины у Державина и Жуковского, которые в этом отношении родные старшие братья Пушкина (см. ниже в наших материалах). Жуковский, повидимому, независимо от Ломоносова, вновь пустил в ход самое словосочетание, которое у него, оценивая и обсуждая Пушкина, заимствовал кн. П. А. Вяземский (см. там же).

Прилагательные «тихий» и «ясный», как все отвлеченные понятия, имеющие длинную и подлинную историю, представляют сочетание двух видений: видения Плоти и видения Духа, т. е. в этих словах выражаются восприятия плотские, телесные, вещественные, и душевные, духовные, сверхчувственные. И в то же время, как всегда, тут, в этом противоборстве телесного и душевного, плотского и духовного, чувственного и умопостигаемого (интеллигибельного) есть и ощущается неизъяснимая прелесть какого-то непостижимого, сверхопытного родства и единства идей и слов, при осязательном и даже дразнящем их противоборстве. Это противоборство может быть преодолено и преодолевается только таинственным религиозным единством, и начало **душевное** есть объективно и

субъективно связующее звено между началами **плотским и духовным.**

Соответственно двойному и двойственному смыслу и цвету этих слов: «тихий» и «ясный», их поэтическое употребление, конечно, многообразно и являет множество оттенков. С объективной двойственностью материального (вещественного и телесного) и психического (душевного и духовного) смысла сочетается, в отношении понятия «тихости» или «тишины», другая двойственность, субъективная или оценочная: утверждения или отрицания, приятия или отвержения.

У Достоевского и Лескова эпитет «тихий» встречается с нарочитой душевно-духовной религиозной окраской (см. приведенные ниже в материалах места). У обоих этих писателей не только явственно проступает ломоносовско-державинско-жуковско-пушкинская смысловая традиция, но осязателен и прямой возврат к религиозному смыслу нашего эпитета в Священном Писании и церковном богослужении, возврат, у Достоевского осложненный мотивами и тяжелой народной мистики, и его собственного, совсем **непушкинского,** мистицизма. Тут перед нами развертывается и раскрывается многозначительный и знаменательный ход или **процесс жизни и развития** — в национальном словесном, не только литературном, творчестве — **идей и слов.**

Двойственное оценочное отношение к ясности непосредственно чуждо, конечно, эпохе Державина, Жуковского, Пушкина. Но в прилагательном «неизъяснимый», которое, впрочем, именно у Пушкина имеет всеобъемлющее смысловое значение, уже заключается некоторый намек на что-то высокое и высочайшее, лежащее за пределами ясности, ее превышающее. Отсюда — в о з м о ж н о с т ь отрицательной оценки некоторых видов ясности. Но этого шага еще не делает ясный и трезвый дух Пушкина. Это ясно выраженное оценочное неприятие ясности с раз-

ными окрасками мы находим лишь у Достоевского и у Ницше. Поэтому у Пушкина и его предшественников мы иногда находим «тихий» и «тишину» с отрицательным (пейоративным) смысловым значением, но никогда не встречаем «ясный» и «ясность» с таким смысловым оттенком («оскорбительная ясность»). С другой стороны, для определенной эпохи Достоевского характерно ироническое употребление пушкинского слова «неизъяснимый» (и, заметим кстати, отчасти, в известном смысле и слова «общечеловек», или «всечеловек»). Однако, под конец жизни Достоевский не только приемлет, но и окончательно усвояет и то, и другое понятие. Это значит: Достоевский приходит к Пушкину и склоняется перед ним.

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ ЯЗЫКА ПУШКИНА[1]

1. Несколько вступительных замечаний

Предлагаемые ниже материалы к толковому словарю языка Пушкина имеют целью историческое раскрытие духовного содержания пушкинского творчества из его слова. Эта задача не требует в точном смысле слова статистической разработки словоупотребления, но она все-таки предполагает основанное на исчерпывающей, в принципе или идеале, регистрации «случаев» словоупотребления смысловое истолкование слов. Выполнение той задачи в некоторых отношениях труднее и во всяком случае сложнее той чисто статистической разработки, которая в новейшее время получила такое значение для разрешения вопросов подлинности приписываемых Платону диалогов[2]. Наша задача в отношении Пушкина приближается к той, которую для текста Нового Завета ставили себе сперва Кремер и Кегель[3], а затем сейчас с образцовым тщанием выполняют Киттель и его сотрудники[4]. Литература о словоупотреблении отдельных писателей разных народов и эпох необозрима. Но в общем она страдает и недостаточным проникновением в то, что можно назвать **духовной проблематикой словоупотребления** и недостаточной **историчностью.** Пишущий эти строки подходил к этим проблемам в других своих исторических работах: в историческом отделе первой части книги «Хозяйство и цена» (СПБ.-Москва, 1913), где автор занимался «исторической феноменологией цены»

---

1) Настоящие материалы состоят из замечаний общего характера (в том числе и об отдельных писателях и их словоупотреблении), и из многочисленных примеров такого словоупотребления у В. К. Тредьяковского, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, слов «тихий» и «ясный» и производных от них у А. С. Пушкина, кн. П. А. Вяземского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, А. Ф. Писемского. Для одного Пушкина эти примеры занимают больше 20 страниц. Мы эти примеры опускаем, ограничиваясь замечаниями более общего характера. — *Прим. ред.*

2) *Campbell, Dittenberger, Lutoslawski, Arnim, Natorp,* Konstantin *Ritter.* Ср. *Ueberweg.* Grundriss, I Teil, II Aufl. (— Praechter), SS. 229-39 & 83*-85*.

3) Hermann *Kremer* & Julius *Kögel.* Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Stuttgart (W. Kohlhammer) 1933 u. ff.

4) Gerhard *Kittel.* Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Stuttgart (W. Kohlhammer) 1933 u. ff.

(стр. 101-314) и в специальном этюде о наименовании «крестьянин» [5]).

2. Церковное (богослужебное) словоупотребление

«Тихий», «тихость» и «тишина» и все связанные с этими понятиями глагольные и иные образования в душевно-духовном смысле в русском литературном языке восходят к церковно-славянскому словоупотреблению, которое в свою очередь в литературно-языковом, т. е. в смысловом, отношении примыкает непосредственно к словоупотреблению греческому. Основные греческие слова, имеющие этот смысл heremos и hesychos (resp. hesuchios). Второе прилагательное или, вернее, производный от него глагол hesuchazo и породил в Византии даже обозначение целого церковно-религиозного направления [6]), а еще раньше у Пиндара hesychia олицетворялась, как некое божество. С синонимическими обозначениями heremos и hesychos в смысловом отношении соприкасаются, но не тождественны обозначения praos (praus) и epieikes, а также tapeinos. Это последнее обозначение, а также naienos имеют явно более вещественный смысл, но и они получили переносное, духовное значение. Таким образом мы видим в греческом языке несколько слов для обозначения душевно-духовного смысла церковно-славянского и русского «тихий». Но и на этих языках с «тихий» соприкасаются «кроткий» и «смиренный»: «яко кроток есмь и смирен сердцем» (oti praus eimi kai taneinos te kapdia, Матф., —I., 28).

«Тихий», «тишина» — понятия религиозно-церковные, дорогие христианскому благочестию и излюбленные в христианской мистике, как на Востоке, так и на Западе. Quietus, quies Августина! Requies Фомы Кемпийского! Quietas Франциска Ассизского! Отсюда — превознесение молчания пред Богом, молчаливой молитвы (colloque de silence Франциска de Sales). [7])

---

[5]) См. П. Б. Струве. Социальная и экономическая история России. Париж. 1952. — Прим. ред.

[6]) О «исихастах» см. *Krumbacher - Ehrhard - Gelzer*. Geschichte d. byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reich. 2-te Aufl. München 1897, S. 100 u. ff., а также из новейшей литературы: *Г. А. Острогорский*. Афонские исихасты и их противники (*Записки Русского Научного Института в Белграде*, вып. V, стр. 349-370) и Монах Василий (*Кривошеин*). Аскетическое и богословское учение Св. Григория Паламы (Seminarium Kondakovianum, Recueil etc. VIII, Прага 1936, стр. 99-154).

[7]) Ср. в классическом труде о молитве: *Heiler*. Der Gebet. 5. Aufl. München 1923, S. 389 : « Uralt ist der Gedanke, dass das Schweigen das wahre Betenies der echte Gottesdienst ist ; er findet sich schon in der spätägyptischen Religion und in den synkretischen Mysterien und erlangt im Neupythagoreismus und Neuplatonismus normative Bedeutung ; er kehrt immer wieder in der christlichen und islamischen Mystik ». Ср. там же S. 528.

В квиэтизме этот культ молчания доходит до культа умерщвления и иссушения (siccitas), до sainte indifférence (amour désintéressé). См. там же SS. 341-343.

В отношении обозначения «тихий» основное значение имеет текст из первого послания Апостола Павла к Тимофею, II, 2: «...творити молитвы... за вся человеки и за всех иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем[8]) во всяком благочестии и чистоте: сие бо добро и приятно перед Спасителем нашим Богом». Тут слово «тихий» имеет душевно-духовное и притом положительное значение, и это есть основной его смысл для церковно-славянского и, в особенности, для русского языка. Это необычайно явственно видно из следующих переводных богослужебных текстов.

На вечерне творение Софрония, патриарха Иерусалимского:[9]) Свете тихий, святыя славы бессмертного, Отца небесного, святого, блаженного, Иисусе Христе...

В каноне молебном ко Пресвятей Богородице, творение Феоктириста монаха:[10]) Умири, Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего... (Песнь 1). Ты бо, Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси. (Песнь 3). Бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная... (Песнь 4).

В каноне молебном Ангелу Хранителю, творение Иоанна, монаха Черноножного:[11]) Тишина, Ты, Владычице, и пристанище обуреваемым в пучине греховней (Песнь 1, Богородичен). Близ мене стани тогда тих и радостен... (Песнь 8). Да узрю тя... светла и тиха, заступника и предстателя моего... (Песнь 9).

В каноне 6-го гласа, ирмос 6-й песни: Житейское море воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти...

В стихире на перенесение мощей Святителя Николая (9-го мая): Кто бо слыша безмерное твое смирение, и терпению не удивися, яже к нищым тихости, к скорбящым утешению... (Этот текст, по всей вероятности, не переводный).

У Котошихина, Тредьяковского, Ломоносова связь с церковным словоупотреблением вполне осязательна. Державин в этом отношении заслуживает особого внимания: он церковную поэзию не только хорошо знал, но и сознательно отчетливо ввел в свою поэтику.

3. Г. К. Котошихин († 1667)

Из писателей XVII века надлежит особливо отметить Котошихина. И по содержанию, и по языку он является едва ли не самым крупным и интересным русским светским писателем XVII века. Его «великорусский», или «московский» язык носит на себе черты и западного, и западнорусского влияния и пред-

---

[8]) Ina heremon kai hesychon bion diagomen = ut quietam et tranquillam vitam agamus.

[9]) † 638. О нем см. Krumbacher-Ehrhard, I. c. S. 188-189. Имеется у Migne'я.

[10]) Половина IX века. Ср. Krumbacher-Ehrhard, I. c. S. 197.

[11]) Половина XI века. Ср. Krumbacher-Ehrhard. SS. 171-172, 677-678 и 740-741. Имеется у Migne'я.

варяет этим «великорусский» язык таких писателей XVIII века, как, напр., Тредьяковский. Котошихина произведение было открыто в шведском переводе в год смерти Пушкина, а в русском оригинале годом позже. Таким образом словоупотребление самого Котошихина не могло быть ни в какой мере известно Пушкину. Но Котошихин интересен в занимающей нас связи сам по себе. Этот эмигрант-вольнодумец, отступник от православия, порвавший по существу и формально с русской церковной и политической традицией, в **языке** своем все-таки следовал национальной традиции, дав замечательный образец только еще слагавшейся вне языка актов (как частных, так и официальных), но под его влиянием, русской книжной речи.

«Царю ж и великому князю Михайлу Феодоровичю от кроворазлития християнского успокоившуся, правивше государство свое т и х о и благополучно... Бысть же у того царя два сына: царевичь Алексей Михайловичь, и той бе зело т и х в возрасте своем, как и отец; вторый же Димитрии, с младенческих лет, велми был жесток, уродился нравом в прадеда своего, первого Московского царя» (стр. 4 — изд 4-ое, СПБ. 1906).

«И как те люди пришли, и били челом царю о сыску изменников, и просили у него тех бояр на убиение: и царь их уговаривал т и х и м о б ы ч а е м, чтоб они возвратились и шли назад к Москве...» (стр. 102).

«А нынешнего царя обрали на царство, а писма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали, и не спрашивали, потому что разумели его гораздо т и х и м, и потому наивышшее пишетца «самодержцем» и государство свое правит по своей воли...» (стр. 126).

Тут примечательно противоположение «тихий — жестокий», которое повторяется в формах существительных «тихость — жестокость» у Тредьяковского. Последний, так же как Пушкин, текста Котошихина не знал и не мог знать[12]).

Сюда же относится прозвание «т и ш а й ш е г о», вообще укоренившееся за Царем Алексеем Михайловичем. Ср. известную его характеристику, данную В. О. Ключевским.

4. Указ об единонаследии 1714 г.

Особый психологический и в то же время объективно-социологический смысл эпитет «ясный» — в сравнительной и превосходной степенях: «яснейший» и «наияснейший» — получил в латинском языке в прилагательном clarus, preclarus, которому в этом значении в греческом языке соответствует всего более прилагательное lampros. Отсюда польское[13]) и западнорусское словоупотребление («наияснейший» и «ясновельможный»), влиявшее и на великорусское (московское) офи-

---

[12]) Цитаты из Котошихина не имеют, может быть, исчерпывающего характера.

[13]) Ср. *Linde*. Słownik. Wydanie drugie, t. II. Lwów 1855, sub voce.

циальное словоупотребление, но оставшееся чуждым великорусскому неофициальному, бытовому и литературному языку. В русский официально-юридический язык указанное латинско-польское значение проникло не только в титулатуры, как, например, в собственноручной записке Котошихина польскому королю, написанной смесью языка великорусского с западнорусским («наяснейший»),[14]) но и в других, более серьезных и, так сказать, существенных случаях. Об этом свидетельствует примечательное употребление этого слова в знаменитом Петровском указе об единонаследии 18 (23) марта 1714 г.:[15])

1. Например ежели кто имел тысячу дворов и пять сынов, имел дом довольный, трапезу славную, обхождение с людьми я с н о е (подчеркнуто мною — *П. С.*).

3. Фамилии не будут и упадать, но в своей я с н о с т и (подчеркнуто мною — *П. С.*) непоколебимы будут через славные и великие домы.

5. В. К. Тредьяковский (1703-1769)

Значение Тредьяковского в истории русского литературного языка весьма велико, но, к сожалению, до сих пор не изучено и не разъяснено как следует. Во всяком случае, при необычайной неуклюжести синтаксиса, Тредьяковский — и как стихотворец, и как прозаик — располагал **изумительно богатым словарем**. Этим объясняется и то, что он явился подлинным творцом русской философской терминологии, на что я уже однажды указал и что постараюсь развить в специальном этюде. Известно высокое мнение Пушкина о Тредьяковском: Пушкин считал Тредьяковского «понимающим свое дело» и за него борющимся, хотя и не мог не отметить его явной «бездарности», как главной помехи его литературному влиянию:[16])

> Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и грамматические изъяснения очень замечательны. Он имеет о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха показывают необыкновенное чувство изящного. В Тилемахиде находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Радищев написал о них целую статью (см. Собрание сочинений А. Радищева). Дельвиг приводил часто следующий стих в пример прекрасного гекзаметра:
>
> ...Корабль Одисеев, бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся...
>
> Вообще изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей.

---

[14]) Напечатана в предисловии ко 2-му изданию 1858 г., перепечатанному и в 4-м издании 1906 г.

[15]) 1-ое П.С.З., № 2789.

[16]) О русской литературе с очерком французской. 1834 г.

Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского — Habent sua fata libelli. [17])

Ниже цитируемое место из «предъизъяснения» к «Тилемахиде» о воображении («образовании») и «огненном восторге» натолкнуло — мне думается — Пушкина на его знаменитое рассуждение 1824 г. о вдохновении и восторге. Здесь мысль Пушкина явно движется в русле, уже проложенном автором «Тилемахиды». В связи с этим поучительно, что в приводимом месте «предъизъяснения» Тредьяковский пользуется именно тем понятием «тишина», которое станет излюбленным понятием Пушкина (сам Пушкин, говоря в 1824 г. о вдохновении и восторге, синонимически употребляет, однако, слово «спокойствие»). [18])

[Далее следуют примеры употребления Тредьяковским слов «тихий» и «ясный» и их производных, занимающие в первопечатном тексте статьи две страницы. — *Ред.*]

6. М. В. Ломоносов (1711-1765)

Место Ломоносова в истории русского языка определяется тем, что он, будучи гениальным ученым в области естествознания, во-первых, своими трудами по грамматике и риторике далеко подвинул вперед начатое Тредьяковским осознание, изучение и упорядочение русской языковой стихии в двух ее основных элементах, церковно-славянском и русско-бытовом, и, во-вторых, как талантливый писатель, дал для своего времени замечательные образцы русской поэзии и прозы. Пушкин, на мой взгляд, слишком строго оценил и исторически несправедливо охарактеризовал эти опыты Ломоносова, но зато в своих возражениях Радищеву именно Пушкин первый гениально угадал то, что новейшее историческое изучение научного развития непререкаемо доказало, а именно, что Ломоносов был прежде всего великий естествоиспытатель [19]). Как бы то ни было, в занимающем нас в данный момент специальном словарном вопросе несомненно, что Ломоносов подхватывает ту же церковную традицию в отношении эпитета «тихий», которую мы наблюли у Котошихина и Тредьяковского, а затем придает эпитету «ясный», пожалуй, еще более духовно-обобщающий смысл, чем это прилагательное имело у Тредьяковского [20]).

---

[17]) Мысли на дороге. III. Ломоносов. Цит. по изд. «Слова», т. VI, стр. 225-226.

[18]) Для цитат из Тредьяковского я пользовался Смирдинским изданием. Цитаты мои не имеют исчерпывающего текстовой материал характера, но они достаточно для моих целей обильны.

[19]) В тех же цитированных «Мыслях на дороге» 1833-34 г.г.

[20]) На исчерпывающую полноту этот текстовой материал не притязает. Я пользовался изданием Введенского (приложение к «Ниве», СПБ., 1893), в основу которого положен текст академического издания Сухомлинова.

[Далее следуют примеры словоупотребления Ломоносова, занимающие в первопечатном тексте стр. 283-285. — *Ред.*]

7. Г. Р. Державин (1743-1816)

Как достаточно известно, Державин оказал и посредственно (через Карамзина) и непосредственно весьма большое влияние на Пушкина в эпоху его юности. Однако, еще в блестяще-забавном стихотворении «Тень Фонвизина» 16-летний Пушкин с какой-то скорбной издевкой говорит об еще живом Державине: «Полнощный лавр отцвел... огонь поэта охладел...» Тут Пушкин дает в десяти строчках пародию-перифраз тяжеловесно напыщенного, но в то же время блещущего словесным богатством и поэтически искрящегося державинского «Гимна лиро-эпического на изгнание французов из отечества» (1812), по поводу которого влагает в уста Фонвизину суждение: «Ого! насмешник мой воскликнул, что лучше этаких стихов!! В них смысла сам бы не проникнул покойный господин Бобров!» «Что сделалось с тобой, Державин? И ты судьбой Невтону равен, ты — Бог, ты — червь, ты — свет, ты — ночь...» «На Пинде славный Ломоносов с досадой некогда узрел, что звучной лирой в сонме россов татарин бритый возгремел, и гневом Пиндар Холмогора и тайной завистью горел, но Феб услышал глас укора, его спокоить захотел, и спотыкнулся мой Державин Апокалипсис преложить. — Денис! он вечно будет славен, но, ах, почто так долго жить?» И впоследствии, уже в эпоху зрелости, Пушкин часто отзывался весьма критически о своем великом предшественнике, который, «в гроб сходя», его «благословил». Он пишет в начале июня 1825 г. из Михайловского Дельвигу:

> По твоем отъезде перечел я Державина всего и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни Русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова) — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить разборчивое ухо. Он не только не выдерживает *Оды*, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Чтож в нем: *мысли, картины и движения чисто поэтические*; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей Богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его Министерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с Гением Суворова — жаль что наш поэт слишком часто кричал петухом... [21])

Это очень умное суждение все-таки есть бутада. Оно заключает в себе преувеличения, которых нельзя в настоящее

---

[21]) Пушкин. Письма. Изд. Б. Л. Модзалевского, том 1, М.-П. 1926, стр. 137.

время серьезно поддерживать, что доказывает, в какой мере нелепо и опасно «канонизировать» отдельные высказывания Пушкина. И мы можем тут сослаться на другую и одновременно (в том же году и в том же месяце) сделанную Пушкиным оценку Державина в письме к А. А. Бестужеву, оценку, гораздо более близкую к истине и справедливости:

> Кумир Державина [полу] 1/4 золотой [полу] 3/4 свинцовой доселе еще не оценен. Ода к Фелице стоит наряду с Вельможей, ода Бог с одой на См[ерть] Мещ[ерского]. Ода к Зубову недавно открыта... Отчего у нас нет Гениев и мало талантов? Во первых у нас Державин и Крылов — во вторых где же бывает много талантов? [22])

Действительно, в стихотворчестве Державина очень много, выражаясь по-пушкински, «свинца», т. е. непоэтического груза. Но абсолютно и очень много настоящего поэтического «золота». Именно как творец в области языка, как кузнец слов, Державин был не «чудак», а просто чудотворец. Можно смело утверждать, что Державин в смысле творчества слов — самое крупное, непревзойденное и, вероятно, непревосходимое явление на всем пространстве истории русского литературного языка. Словесное в этом смысле творчество Державина гибко и причудливо: оно отмечено необъятным захватом (сколько у Державина чисто народных и даже «областных» выражений!) и изумительной переливчатостью, достигаемой, между прочим, виртуозным сочетанием прилагательных. Державин — гений и словонахождения, и словоизобретения. Он в этом отношении как бы в одном лице совмещает, усиливая их, Тредьяковского с Ломоносовым и предвосхищает и Пушкина, и Языкова, и Тютчева, и Некрасова, и Фета, и Бальмонта, и Брюсова, и Блока, и Вячеслава Иванова. [23]) В то же время Державин — настоящий поэт не только с единичными проблесками, но и с подлинными наитиями гениальности. Державин в области словесного творчества в полном смысле не толко творец, но и расточитель, [24]) и в этом последнем качестве главное и разительное отличие Державина от Пушкина с его мерой и мерностью, с его собранностью и сжатостью. В осмеянном Пушкиным «Гимне лиро-эпическом» 1812 г. и в позднейшей оде «На отбытие великих князей Николая и Михаила Павловичей в армию» 1814 г. среди поэтического «свинца» есть строки, которые некиими «реминисценциями» всплывут в поэтическом «золоте» самого Пушкина, творца «Полтавы»: «И грянул бородинский гром», «Птенцы, спорхнувшие с гнезда полсветного Петрова дома». Из более раннего произведения

---

[22]) Там же, стр. 135.

[23]) Свою словесную виртуозность Державин хорошо сознавал и прямо-таки культивировал. См. его предисловие к «Анакреонтическим песням» 1804 г., где он говорит об «изобилии» и «гибкости» русского языка. Ср. также вступительные слова к «Рассуждению о лирической поэзии».

[24]) Впрочем, теоретически он понимал, что словесная расточительность «антихудожественна», и высказал это в «Рассуждении о лирической поэзии».

«На переход Альпийских гор» (1799) державинское «и тихим манием руки» появляется в «Полтаве» лишь в слегка измененном виде: «и слабым манием руки». Принято издавна (со времени Мерзлякова) относиться скептически и даже презрительно к драматическим произведениям Державина. Но какое и в них заключено огромное словесное богатство!

В специально интересующем нас отношении Державин, прямо примыкая к словесной традиции церкви, Тредьяковского и Ломоносова, поэтически уточняет и утончает ее. У него, так же как у Ломоносова, идея тишины (тихости) полна религиозного смысла и религиозно сопрягается с идеей ясности. Ведь Державин, вне всякого сомнения, самый крупный русский религиозный поэт. Как таковой, он верен церковной традиции, влияние которой ощутимо на нем не меньше, а даже больше, чем на Тредьяковском и Ломоносове. Но, наряду с православным церковным влиянием, у Державина дает себя знать и влияние западной мистики и слагавшейся, отчасти под влиянием этой мистики, какой-то новой религиозной «чувствительности». В Державине уже чувствуется, что он младший современник Жана-Жака Руссо (1712-1778) и старший современник Шатобриана (1768-1848), который был только на два года моложе ученика Державина, Н. М. Карамзина. Религиозность выливается в православно-торжественные звуки, она полна церковной истовости, но есть в ней и какой-то «сентиментальный» унтертон, который подхватит и разовьет Жуковский.

Надлежит отметить еще вот что. Понятие «тихий» («тишина») у Державина является не только понятием обще-психическим, имеющим, согласно церковной традиции, религиозно-этический и религиозно-космический смысл, но и становится категорией его эстетики, т. е. поэтики.[25]) В ней мы находим понятие «тихого» вдохновения рядом с вдохновением «грозным», «гневным», «торжественным», «радостным», «спокойным» (почему-то Державин отделяет его от «тихого»), «страстным», «нежным», «приятным», «умилительным», «унылым», «печальным», «утешительным», «забавным», «шутливым». Подобному же расчленению поэтика Державина подвергает «приступ» или «вступление», отмечая как его виды: «громкое» («смелый приступ»), «тихое» и «тихое и вдруг возвышающееся». Здесь не место ни излагать, ни комментировать державинскую поэтику, опровергающую довольно распространенное мнение о низком культурном уровне, о бедности духовного содержания Державина как поэта. Совсем наоборот: державинское «Рассуждение о лирической поэзии» есть свидетельство о высоком культурном уровне и о разнообразии духовных интересов, как его самого, так и всего его поколения — особливо тут нужно отметить плодотворное влияние немецкого почти ровесника Державина, Гердера, (вообще Державин из иностранных влияний по-настоящему испытал только немецкое).

---

[25]) «Рассуждение о лирической поэзии или об оде» впервые напечатано в чтениях Беседы Любителей Русского Слова за 1813 г. Полевой правильно заметил, что «такие заметки гения драгоценнее многих журналов словесности».

Подчеркнем лишь еще вот что. Во-первых, — то важное место, которое Державин в своей поэтике уделяет церковной лирике, как «новому роду песнословной поэзии», отмеченному «краткой» и «сильной» «животворной выразительностью» и «высокостью мыслей» в изображении Божества и «духовных ощущений», изображении, с которым не могут сравняться «ни Орфеевы, ни Омировы, ни Пиндаровы, ни Горациевы имны». Во-вторых, если я высказал выше предположение, что рассуждение Тредьяковского в «Предъизъяснении» натолкнуло Пушкина на его мысли 1824 г. о восторге и вдохновении, то, наоборот, эти же пушкинские мысли являются как бы скрытой полемикой с почти полным отождествлением восторга и вдохновения в поэтике Державина. В-третьих, в этой поэтике замечательна та степень внимания, которую классический одописец уделяет народной поэзии и, в частности, «так называемым цыганским песням» — их он сближает с вакхическими дифирамбами и тут как бы предвосхищает общую антитезу аполлоновского и дионисовского начал у Ницше. Это же внимание к народной поэзии обострило и социологическое зрение Державина: он в этом отношении предвосхищает в общей форме некоторые мысли Карла Бюхера.

[За этим следуют примеры употребления Державиным слов «тихий» и «ясный», а также «неизъяснимый» и «непостижный», занимающие стр. 290-297. К этим примерам дано следующее примечание: «Эти цитаты из стихотворных произведений Державина отнюдь не претендуют на исчерпывающую полноту (державинская проза оставлена в стороне). По случайным причинам наши цитаты из Ломоносова и Державина размещены не в хронологическом порядке, что в данном случае не имеет существенного значения. Датировка для Державина — по Гроту; произведения, напечатанные только у Грота отмечены ссылкой на его издание. — *Ред.*]

8. В. А. Жуковский (1783-1852)

В своей краткой поэтической автобиографии, в восьмой главе «Евгения Онегина», Пушкин изобразил оказанное на него Жуковским влияние:

И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец,
Ты, идол девственных сердец,
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал?

Без проникновения в Жуковского нельзя исторически знать и понимать Пушкина, который там же, связывая свою музу с Ленорой, как музой Жуковского, говорит:

Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой при луне
Со мной скакала на коне.
. . . .

Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокий вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.

«Я не следствие, я точно ученик его (Жуковского)... Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его». И тут, в этом письме 25 марта 1825 г., Пушкин повторяет эпиграмматическую характеристику, данную Вяземским Жуковскому: «в бореньях с трудностью силач необычайный».

Запас идей, образов, слов Жуковского был усвоен и освоен Пушкиным в такой мере, в какой этого нельзя сказать ни о Державине, ни о Карамзине. Именно не только усвоен, но и освоен.[26]) Это с полной очевидностью и осязательностью обнаруживается и на занимающих нас здесь речениях.

Жуковский сам восходит, как поэт, к Карамзину и через него к Державину. И в то же время в мироощущении Жуковского есть нечто свое и новое. Он так же религиозен, как Державин; он так же чувствителен, как Карамзин. Но в религиозности Жуковского чувствуется могущественный приток новой стихии, того нового космического ощущения единства человека с Миром, а через Мир и с Богом, которое составляет один из основных элементов романтизма, как он родился из своеобразного сочетании культа античности с чувствительностью, или сентиментальностью XVIII века, из того сочетания, скажем, Винкельмана с Руссо, которое всего полнее воплотил собою Гете, отец романтизма, в самом себе его, как «направление», «теорию», «школу», и как «болезнь» вполне преодолевший. В этом смысле романтизм и сентиментализм реально и исторически неотделимы. И в этом смысле романтизм искони религиозен. Эта, соединяющая космическое чувство с тягой к личному Богу, эстетическая религиозность, философским манифестом которой явились «Речи о религии» Шлейермахера (1799), есть то мироощущение, которому Жуковский с юности и до старости оставался верен. Из этой эстетической религиозности рождается и культ и изучение Средних Веков, словом, вся гамма тех ощущений и идей, которые образуют то, что можно назвать историческим составом романтизма.

Если бы мы не имели перед нашими «духовными глазами» ясной тихости и даже ясной тишины, с ее религиозным содержанием и смыслом, уже у Ломоносова и, по

---

26) Кто не знает Пушкинского «Гений чистой красоты» («Я помню чудное мгновенье», 1825)! Это словосочетание целиком взято у Жуковского, у которого оно относится к великой княгине (потом Императрице) Александре Федоровне, супруге Николая I. См. стихотворения «Лалла Рук» 1821 г. и «Я музу юную» 1823 г. (посвящение к изданию 1824 г.) Тут усвоение и даже присвоение. Но гораздо важнее — освоение.

существу, даже у Тредьяковского, мы могли бы впасть в соблазн ясную тишину Жуковского признань заимствованием из духовной сокровищницы западного и, в частности, немецкого романтизма в выше обозначенном широком смысле. Можно было бы в подтверждение этого предположения привести интересный ряд немецких поэтических текстов именно эпохи подготовки и расцвета романтизма. В особенности в этом отношении показателен и поучителен Гете. Возьмите «Zueignung» («Посвящение») 1784-89, эту беседу поэта с музою и его поэтическую исповедь. Она вся «соткана» из какого-то нежного слияния тишины с ясностью:

So sagte sie [муза!], ich hör sie ewig sprechen —
Empfange hier, was ich dir lang bestimmt!
Dem Glücklichen kann es an Nichts gebrechen,
Der dies Geschenk mit *stiller* Seele nimmt:
Aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit,
Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit

(подчеркнуто мною. — *П. С.*). В 1776 г. Гете в стихотворении «Einschränkung», превознося «настоящую меру» (das rechte Mass), хочет *«в тишине настоящего уповать на будущее»* (in stiller Gegenwart die Zukunft zu erhoffen). Ср. еще стихотворение «Verschwiegenheit» 1816 г., первая строфа которого оканчивается словами:

Leise, leise! Stille, stille!
Das ist erst das wahre Glück.

Это настроение ясной тишины прямо-таки характерно для Гете, и у него оно, конечно, имеет и свой своеобразный религиозный смысл и источник.

Но указание на влияние — в занимающем нас отношении — немецких поэтов на Жуковского заранее опорочено и осуждено теми русскими текстами, которые в представленном выше подборе изображают подлинную историю наших образов, понятий и речений в русском поэтическом языке. И потому мы можем только установить, что родство образов, понятий и слов в нашем случае объясняется той общей религиозно-космической темой, которая объединяет не только романтика-сентименталиста Жуковского, но и романтиков-пантеистов Гете и Гельдерлина [27]) с Ломоносовым, Державиным и Пушки-

---

[27]) Поразительно, в какой мере часто не только Гете, но и Гельдерлин (1770-1843), так же, как и наш Батюшков, кончивший неизлечимым безумием, в произведениях своей зрелой эпохи относительного здоровья употребляет в религиозно-космическом и религиозно-этическом смысле понятие и слово still и делает это с той подлинной и ныне общепризнанной Sprachgewalt, которая ему свойственна. Но произведения Гельдерлина Жуковский если и знал вообще, то во всяком случае не оценивал так высоко, как потомство. Впрочем, они (лирические) были впервые собраны лишь в 1826 г., т. е. когда Жуковский уже был законченным мастером «слога», несравненным «гением перевода» (подлинное выражение Пушкина).

ным. Из русских поэтов всего ближе к Гельдерлину Ф. И. Тютчев (1803-1873), который, однако, по силе и собранности философской мысли, непосредственно превращающейся в поэтическое видение, далеко превосходит немецкого поэта-безумца. Но и у Тютчева нельзя наблюсти следов настоящего знакомства с поздно оцененным Гельдерлином. С Тютчевым можно сближать еще другого великана немецкого романтизма, «божественного юношу» Гарденберга-Новалиса (1772-1801), но и Новалис в области чистой поэзии все-таки уступает нашему Тютчеву. Тютчев посвятил смерти Жуковского стихотворение, замечательное глубокой характеристикой душевного строя и духовной личности друга-учителя Пушкина. Начинаясь словами: «Я видел вечер твой», это стихотворение изображает «вечер» Жуковского классической для Жуковского и для Пушкина формулой: «и тих, и ясен». Тишина была в самом деле сродни душе и духу Тютчева. Но нельзя того же сказать о ясности, хотя он и говорит однажды о «лазурной ясности» поэзии; душа Тютчева, обвеянная «тихой полумглой» и «вещей дремотой», в «пророчески неясном сне» действительно билась «на пороге как бы двойного бытия». Такая раздвоенность была чужда и Жуковскому, и Пушкину. О ней поведать было дано только Тютчеву. Ему была действительно сродни та «божественная темная ясность» (Gottes dunkle Klarheit), о которой говорит немецкий мистик-реформат XVIII века Gerhard Tersteegen (1697-1769).[28]

[За этим следуют, на стр. 301-314, примеры из Жуковского. К ним сделано такое примечание: «Наши цитаты из Жуковского отнюдь не имеют исчерпывающего характера, но они для нашей цели достаточны и доказательны, ибо относятся к Жуковскому прежде всего как к оригинальному поэту-лирику, который был, как писатель, оригинален и в своих переводах. Цитаты и даты по изданию А. С. Архангельского (приложение к «Ниве», СПБ. 1902) — *Ред.*]

9. А. С. Пушкин

Если читатель внимательно рассмотрит приводимые ниже примеры из Пушкина, которые мы для его творчества и в стихах и в прозе постарались представить с исчерпывающей полнотой,[29] то он увидит, что Пушкин действительно и подлинно победоносно продолжает в занимающем нас отношении словесно-смысловую традицию церковной книжности, Тредьяковского, Ломоносова, Державина, Жуковского. Значение слова «тихий» и близких к нему речений представляет у Пушкина как бы целую гамму, от смысла чисто психофизиоло-

---

[28]) Ср. *Heiler*, l. с., S. 224.

[29]) Я пользовался зарубежным изданием «Слова», проверяя и дополняя текст его по другим изданиям. В последний момент я использовал для стихотворных текстов издание под редакцией М. А. Цявловского (первые два тома «Полного собрания сочинений», Москва, 1936).

гического (психомоторного: тихонько, тихохонько) до смысла утонченно душевного и тончайше духовного. То же — с соответственными изменениями — приложимо и к слову «ясный» с его производными и даже к любимому пушкинскому речению «неизъяснимый».

В этой широте Пушкинского словесного захвата, создающей в языке этого гения мерной силы исключительное соединение разнообразия, или богатства, с мерностью и точностью, или отчетливостью, изумительную слитность отвлеченной строгости с яркой образностью и разительной выпуклостью, — превосходство Пушкинского слова над языком всех его предшественников, которым, как творцам и мастерам русского слова, он так много обязан. Пушкин почти так же богат, как Державин, но он совсем не расточитель слов, а мудрый их стяжатель и хранитель. Пушкин так же тонок, как Жуковский, но он, в отличие от женственного и мягкого автора «Светланы» и «Людмилы» (она же «Ленора»), как творец-поэт, мужествен и крепок; он, пользуясь его же собственным словом о Жуковском, в поэзии гораздо более его — «с и л а ч н е о б ы ч а й н ы й»: у Пушкина, говоря классическими словами французского романтика, не только rêve flottant, но и art robuste (« l'Art » Теофиля Готье в *Emaux et camées*).

Слово «тихий» у Пушкина, когда оно не служит просто для внешней звуковой характеристики, носит почти исключительно положительную душевную или духовную окраску. «Дружбы тихий взгляд», «тихий дружбы свет»; «вера тихая»; «и тихой ясною душой»; «тихий ангел утешенья, да будет ясен жребий твой»; «мудро и тихо»; «твоя весна тиха, ясна» — вот лишь несколько показательных примеров из наших текстов. Такова же окраска и наиболее содержательных эпитетов, сопровождающих у Пушкина существительное «тишина». Как психологически тонко и в то же время выразительно употребление слова «тихий» в характеристике образа замужней Татьяны, когда Онегин «попал, как Чацкий, с корабля на бал». «Все т и х о, просто было в ней», «девицы проходили т и ш е пред ней по зале». «Был также т и х е е поклон». А затем, после получения письма Онегина: «и т и х о слезы льет рекой... и т и х о, наконец, она: довольно, встаньте!» Здесь именно мерное повторение одного признака «тихо» обнаруживает перед нами величайшее словесное мастерство в обрисовке той «благородной стройности в обращении», о которой поэт говорит в одном прозаическом отрывке 1829 г. и которую там же характеризует также и эпитетом «тихая». Какая тонкая и в то же время могущественная живопись, в которой сочетается острейшее физическое видение с душевным и духовным проникновением, — в изображении тела убиенного царевича Дмитрия («Борис Годунов»)! «Вокруг него тринадцать тел лежало, растерзанных народом, и по ним уж тление приметно проступало, но детский лик Царевича был я с е н, и свеж, и т и х, как будто усыпленный». Здесь эти два маленьких слова «ясен» и «тих» делают нас участниками некоего подлинного **ясновидения** и плоти, и духа. Здесь видение доходит до осязания, и осязание возвышается до видения, как о том в гораздо менее духовном, скорее чисто чувственном,

смысле говорит Гете в знаменитой пятой «Римской элегии»: sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand.

[За этим следуют примеры из Пушкина, расположенные в хронологическом порядке. Всего их 537 на стр. 312-335. Из них 20 примеров для слова «Неизъяснимый» — *Ред.*]

10. Кн. П. А. Вяземский (1792-1878)

Кн. П. А. Вяземский старше Пушкина. Но его словесное творчество, в занимающем здесь нас смысле нахождения и изобретения слов, восходит к тем же источникам, что и пушкинское. Вяземский влиял в этом отношении на Пушкина и сам еще больше испытывал его влияние. Пушкин указал, что дарование Вяземского было «эпиграмматическое» — в точном смысле умения в немногих обобщающих словах, в эпиграммах, т. е. в умышленно в той или иной связи написанных или непосредственно вылившихся изречениях, улавливать и смысл вещей (в широчайшем значении слова «вещь») и схватывать их образы, т. е. очертания, цвета, запахи. Это дарование предопределяло Вяземского к тому, чтобы любовно, с исключительной зоркостью, и подхватывать чужие речения и изречения, и с такой же меткостью ковать свои собственные. Надлежит отметить, что Вяземский, из всех русских писателей первой половины XIX века, был автором самым начитанным в русской литературе XVIII века — он даже сам однажды обмолвился, что изучал ее с «бенедиктинским» тщанием. Недаром Вяземский, как автор классической монографии о Фонвизине, начатой еще в 1819 г., но опубликованной почти тридцать лет спустя, в 1848 г., является подлинным основателем научного изучения истории русской литературы послепетровской эпохи.

Часть найденных или созданных Вяземским речений и оборотов пошла ко дну, часть, наоборот, навсегда вошла в сокровищницу русского слова. В истории этого слова место Вяземского — в том же славном ряду, в котором стоят Ломоносов, Фонвизин, Державин, Карамзин, Крылов, Жуковский, Грибоедов, Пушкин (этот список можно бы, конечно, продолжить, но я сейчас его обрываю на самом Вяземском).

Для пояснения этой общей оценки Вяземского приведу только несколько весьма показательных примеров, на которые, сколько я знаю, не обращали до сих пор внимания.

Ф. М. Достоевский приписывал себе нахождение и введение в русский литературный язык глагола **«стушеваться»**. Но он не знал, что впервые в русской печатной речи это слово употребил еще кн. П. А. Вяземский в статье, напечатанной в 1827 г. (т. е. когда Достоевскому было шесть или пять лет) и специально посвященной словоупотреблению (под заглавием «о злоупотреблении слов»). Эта статья заканчивается словами:

> В разговорах и книгах по большей части словами играют как шашками, которые игрок переставляет наудачу или по прихоти с места на место. Вот от чего спор о мнении может часто стушеваться спором о словах. В первом случае есть еще надежда согласить и склонить на

мировую спорщиков; в последнем нет никакой надежды. Дело в том, что о мнениях спорят люди умные и образованные; о словах упрямые невежды, или, как злоупотребление иногда величает их, ученые.[30])

Мы теперь (после Достоевского) за глаголом «стушеваться» поставили бы предлог «перед» (впрочем, может быть, тут в тексте Вяземского описка или опечатка). Но во всяком случае: самый глагол найден и употреблен впервые не Достоевским, а Вяземским.

Повидимому, Вяземскому принадлежит также, если не изобретение, то введение в русский язык слов «замашка» и «посредственность». Вяземскому, к сожалению, не удалось ввести в русский язык превосходное слово «будитель», которое он употреблял не раз и о котором теперь настолько забыли, что оно снова входит в русский зарубежный язык, как якобы заимствование из чешского.

Поэзия кн. П. А. Вяземского родственна по духовному стилю в одно и то же время поэзии и Пушкина, и Тютчева. Дух Вяземского был близок и тому и другому. С Пушкиным его объединяла ясность и отчетливость мысли и эпиграмматическая меткость слова; с Тютчевым — некое необоримое тяготение к тайне, или мистическое влечение, шедшее гораздо дальше той стыдливой религиозности, которою был охвачен дух зрелого Пушкина. Сопоставление по духовному содержанию поэта Вяземского, в эпоху его зрелости и старости, с поэтом Тютчевым представляет интересную и благодарную задачу, разрешение которой, мне кажется, откроет нечто новое и неожиданное, на что известный свет уже отчасти проливает их словоупотребление.

Переходя теперь к занимающим нас специально словам, прежде всего приведу то замечательное место из Вяземского, в котором у него при обсуждении пушкинских «Цыган» появляется словосочетание:

ясная тишина.

Легкомысленная, своевольная Земфира; отец ее, бесстрастный, равнодушный зритель игры страстей, охлажденный летами и опытами жизни трудной. Алеко, непокорный данник гражданских обязанностей, но и не бескорыстный в любви к независимости, которой предался он не после обдуманного выбора, не в ясной тишине мыслей и чувств, а также в порыве и раздражении страстей, все они выведены поэтом в подобающем им очертании и свете, с свойственными каждому мнениями, речами, движениями.[31])

---

[30]) Полное собрание сочинений. Изд. гр. С. Д. Шереметева. СПБ. 1878, т. 1, стр. 280-281.

[31]) Цыганы. Поэма Пушкина. 1827. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 317.

С этим местом следует сопоставить сравнительную характеристику Пушкина и Лермонтова, данную в 1847 г.:

Лермонтов имел великое дарование, но он не успел, а может быть и не умел вполне обозначить себя... Пушкин мог иногда увлекаться суетными побуждениями, страстями, более привитыми, чем, так сказать, самородными, но ум его, в нормальном положении, был чрезвычайно я с е н, трезв и здрав. При всех своих уклонениях он хорошо понимал истину и выражал ее. С этой точки зрения он мог уподобляться тем дням, в которые, при сильных порывах ветра и при волнении в нижних слоях атмосферы, безоблачное небо остается спокойным и светлым. В Лермонтове не было, или еще не было, этой невозмутимой ясности, которая способствует поэту верно воспринимать внешние впечатления и так же верно отражать их на других. Бури Пушкина были бури внутренние, бури Лермонтова более внешние, театральные, заимствованные и так сказать заказные, то есть он сам заказывал их себе. В природе Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина. В том и другом была в высшей степени развита поэтическая впечатлительность, восприимчивость и раздражительность, доходящая до болезненности; может быть, сближались они и в высоком художественном чувстве. Но в одном из них не было той творческой силы, того глубокого и проницательного взгляда, бесстрастия и равновесия, которые так сильно выказывались в некоторых из творений другого поэта. [32])

Эта глубокая и меткая характеристика Пушкина есть в то же время замечательное с в и д е т е л ь с т в о о нем одного из самых близких и едва ли не самого созвучного ему современника.

Неудивительно, что употребление слов «тихий» и «ясный» в поэтическом языке Вяземского всецело пушкинское — и притом и до Пушкина, и после Пушкина. Достаточно привести несколько примеров.

[Дальше следует, на стр. 338-339, несколько примеров употребления Вяземским слов «тихий» и «ясный» и два примера слова «неизъяснимый» раннего Вяземского. После этого идет раздел 11-й с несколькими примерами того же словоупотребления и трех более поздних писателей-прозаиков: Достоевского, Лескова и Писемского. Статья заканчивается разделом 12-м, который мы здесь приводим целиком ввиду его прямого отношения к Пушкину. — *Ред.*]

12. Ироническое употребление пушкинских слов у Достоевского

В начале 60-х годов, когда Достоевский, следуя за Аполлоном Григорьевым в его культе Пушкина, во многом уже предвосхищал свою речь 1880 г., он не столько критически, сколько

---

[32]) Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 385-389.

прямо одинаково иронически относился и к западничеству, и к славянофильству (как «московской затее»). Для этой эпохи и для этого настроения чистого «почвенничества» Достоевского весьма характерно и р о н и ч е с к о е употребление им таких любимых слов Жуковского и Пушкина, как «тихий» («тишина») и, в особенности, «неизъяснимый». Для иллюстрации мы приводим ниже весьма выразительные примеры из статьи о Добролюбове 1861 г. и из «Зимних заметок о летних впечатлениях» 1863 г. Тут не может быть речи о случайном словоупотреблении. Оно нарочито и преднамеренно. Оно продиктовано, я думаю, между прочим, желанием Достоевского резко отмежеваться от того культа Пушкина, главными выразителями которого в эту эпоху были умеренные и «буржуазные» западники А. В. Дружинин и В. П. Боткин — сам же Достоевский тогда был еще гораздо ближе к западному социализму, чем он оказался через двадцать лет.

В статье о Добролюбове Достоевский, пытаясь занять свою особую позицию между «утилитаристами» и сторонниками «искусства для искусства», не без иронии влагает в уста последним формулировку их взглядов специфически пушкинскими словами: «искусство должно действовать т и х о, я с н о (подчеркнуто мною. — *П. С.*), не увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность его отзовется со временем человечеству несомненной пользой...» (Г. — бов и вопрос об искусстве. «Время», февраль 1861 г. Полное собрание сочинений, изд. Маркса, т. IX, СПБ. 1895, стр. 55).

В «Зимних заметках» («Время» за 1963 г., кн. II-III; Полное собрание сочинений, изд. Маркса, т. III, ч. 2. СПБ. 1894, стр. 3-70) мы находим такие места:

> Гюстав... бежит к Сесиль... и совокупившись законным браком, начинает заводить детей, фланелевую фуфайку, bonnet de coton и прогуливаться с мабишью по вечерам возле благодетельных фонтанчиков, которые т и х и м плеском своих струй, разумеется, напоминают ему о постоянстве, прочности и т и ш и н е его земного счастья...
>
> Т и х и й призывный шопот еще робкой красавицы...
>
> Фонтанчик... однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, т и х о м, постоянном, гейдельбергском...
>
> Курчавый адвокат в мантии и в шапке говорил речь и сыпал перлами красноречия. Президент, судьи, адвокаты, слушатели плавали в восторге. Была благоговейная т и ш и н а: мы вошли на цыпочках...

Еще показательней и разительнее нарочитое, повторно-назойливое употребление в том же произведении прилагательного «неизъяснимый»:

> Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим н е и з ъ я с н и м ы м благородством....
>
> Но молодой человек самой счастливой наружности и с н е и з ъ я с н и м е й ш и м благородством в душе...

Но несмотря на то буржуа до страсти любит *неизъяснимое* благородство. На театре подавай ему непременно бессребренников, Гюстав должен сиять только одним благородством, и буржуа плачет от умиления. Без *неизъяснимого* благородства он и спать не может спокойно...

Не мог же я ручаться за всех французов. Конечно, так, я и не говорю про всех. Везде есть *неизъяснимое* благородство, а у нас, может быть, даже и гораздо хуже бывало...

Ему [буржуа] надо высокого, надо *неизъяснимого* благородства, надо чувствительности, а мелодрама все это в себе заключает...

По Гюставу всегда можно проверить все то, что в данную минуту брибри считает идеалом *неизъяснимого* благородства...

Теперь *неизъяснимое* благородство чаще всего изображается или в военном офицере, или в военном инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном и непременно с ленточкой Почетного Легиона, «купленной своей кровью»...

...Но он добр, честен, великодушен и *неизъяснимо* благороден в том акте, в котором он должен страдать от подозрения, что мабишь ему неверна...

Надо непременно, чтобы Гюстав ругался скверными словами и плевал на миллион, иначе буржуа не простит ему: *неизъяснимого* благородства будет мало, пожалуйста не подумайте, чтоб буржуа противоречил себе...

...и чувствительности выходит много, и *неизъяснимого* благородства с три короба...

Такое повторное ироническое употребление эпитета всегда бывает сознательно и намеренно. Достоевский превосходно знал пушкинское словоупотребление и в данном случае он нарочито, применительно к французам — а потому да будет позволено мне французское выражение! — его «персифлировал», или вышучивал. Двадцать лет спустя он этого не стал бы делать. Он тогда гораздо глубже и окончательно проникся пушкинским духом.

***

Предлагаемые цитаты в их совокупности составляют лишь малую долю собранных мною материалов для исторического толкового словаря как языка самого Пушкина, так и всего русского книжного (по преимуществу) языка от Соборного Уложения Царя Алексея Михайловича 1649 г. (конечно, со всеми его рукописными и печатными предшественниками и источниками) до наших дней.

ПОЧЕМУ ИНОСТРАНЦЫ НЕ ЗНАЮТ И НЕ ЦЕНЯТ ПУШКИНА?

На том воспроизведении Глинковского «Руслана», которым русскую парижскую колонию подарил А. Д. Александрович и его сотрудники, мне пришлось быть в ложе вместе с двумя француженками. Одна из них, повидимому, удивлялась тому, что предлагаемая залу русская музыка столь — «старомодна».

Глинка — «старомоден».

Не знаю, похвала это или хула, но во всяком случае Глинку, которого русские композиторы, в лице поднявших бунт «кучкистов» с Балакиревым во главе, считали своим учителем и которому они творили настоящий культ, заграницей никогда настоящим образом не ценили и не ценят.

Та же судьба постигла Пушкина.

Для нас, русских, он, и после Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, все же вершина русского духа и творчества, своеобразная и своеобразно прелестная и недосягаемая. Иностранцы — за немногими исключениями — не ценили и не ценят Пушкина. В этом отношении любопытный, хотя и отрывочный, «диалог» о Пушкине содержит переписка немца Фарнгагена-фон-Энзе с французом маркизом де Кюстином. Фарнгаген, как известно, написал статью о Пушкине, представляющую первую, кажется, на немецком языке целостную и связную оценку нашего великого поэта. Статьи этой и вообще писаний Фарнгагена у меня сейчас нет под руками. Кюстин, остроумный, но не-

основательный автор пресловутой книги о «России в 1839 г.» и его мать, Дельфина, одна из многих привязанностей влюбчивого Шатобриана были связаны с Фарнгагеном и его женой, знаменитой Рахилью (она была старше своего мужа на 14 лет) тесной дружбой, и памятником этой дружбы является их переписка, изданная в 1870 г. в Брюсселе: *Lettres du Marquis A. de Custine à Varnhagen d'Ense et Rahel Varnhagen d'Ense accompagnées de plusieures lettres de la comtesse Delphine de Custine et de Rahel Varnhagen d'Ense.*

В этой переписке, чрезвычайно интересной во всех отношениях, я нахожу следующее любопытное и характерное суждение Кюстина о Пушкине, дополняющее соответствующие страницы книги о «России в 1839 г.»:

> Перейдем к Пушкину, который меня лично интересует. Я знаю лишь слабые и немногие переводы его произведений; в них я усмотрел лишь идеи и манеру изображать, которые скорее обнаруживают подражание новой английской и немецкой школе, чем являют поэзию истинно русскую. Поэтому я не могу присоединиться к тому английскому суждению, которое Вы приводите. (Письмо из Парижа от 7 марта 1843 г. Очевидно Фарнгаген сообщил Кюстину какой-то английский отзыв о Пушкине).

Кюстин не знал русского языка, и это многое объясняет в его непонимании Пушкина. Пушкин — недосягаемая вершина русского творчества именно потому, что в нем содержание и форма, мысль и слово, чувство и язык совершенно, в обоих смыслах этого слова, т. е. вполне и до совершенства, слиты. Кто не знает русского языка, не ощущает своеобразия русского слова — тот не может ни воспринять, ни измерить всей прелести Пушкинской поэзии.

Кроме того, Кюстин, умный человек, даровитый

и подчас острый писатель, не способен был свободно обозревать и явственно видеть Россию, эту, по его выражению, «монотонную» и «колоссальную» страну, в которой все культурное казалось ему наносным и все народное было ему темно. Пушкин казался ему подражательным потому, что в Пушкине не было ничего ни от скифов, ни от гуннов, что его сюжеты часто являлись западными и общечеловеческими. Кюстин был западным человеком с евразийским взглядом на Россию, *) и потому Пушкин был ему непонятен.

Пушкина станут понимать и ценить на Западе, когда поймут, что *русское* не есть экзотика, ни этнографическая, ни историческая, и что в общечеловечности Пушкина и заключается его величайшая и недосягаемая *русскость*. Повидимому, в настоящее время изучение Пушкина на Западе приходит к этому единственному правильному пониманию, вне которого все растущее значение Пушкина для русских было бы какой-то психологической загадкой, если даже не явлением временным и болезненным. Ученый автор недавно вышедшего, хорошо составленного и приятно изданного французского томика о Пушкине, А. Лиронделль (André Lirondelle. *Pouchkine. Oeuvres* choisies. Introduction, traduction et notes — série « Les cent chefs-d'œuvre étrangers », La Renaissance du Livre), совершенно правильно отметает суждения Мериме и Вогюэ о Пушкине, как «космополите», и подчеркивает всеобъемлющий, национальный характер Пушкинского творчества.

Для такого понимания Пушкина иностранцам нужна либо способность — непосредственно слиться с русским ощущением и восприятием Пушкина, ли-

---

*) Статья Д. П. Святополк-Мирского о Пушкине в Slavonic Review есть странный, сдобренный каким-то плохо переваренным марксизмом, русский pendant к иностранным суждениям à la Custine.

бо исторически правильное понимание его национального значения, как осязаемого и непререкаемого факта русской культуры. Кюстин не имел ни того, ни другого. Человек умный и даровитый, он в отношении Пушкина стоял, приблизительно, на уровне тех немецких ценителей и ценительниц русской литературы, которые о Чехове знали только, что он « ein Freund Gorkis ». Популярность Горького, как русского писателя, на Западе в огромной мере определяется тем, что творчество Горького — в отличие от творчества Пушкина и даже Чехова — и на самом деле является, и воспринимается, как щекочущая нервы «экзотика», как нечто от Аттилы и от гуннов и скифов.

РАДИЩЕВ И ПУШКИН

Радищевым интересовался, в его писательское лицо вглядывался, его человеческую личность рассматривал не кто иной, как Пушкин. Пушкин ценил и поэтический талант и свободолюбие Радищева. Недаром в одном варианте своего «Памятника» он предвидит: «и долго буду тем любезен я народу, что вслед Радищеву восславил я свободу».

Правду, однако, сказать, — Пушкин совсем поиному любил свободу, чем Радищев, и вообще в истории русской культуры, быть может, не было людей, более различных по всей их природе, чем Радищев и Пушкин.

Радищев чувствителен, слезлив, слабонервен, психопатичен. Перечитав не так давно «Путешествие из Петербурга в Москву», я получил неотразимое впечатление, что, как автор этого произведения, Радищев уже стоял на границе душевной болезни, в припадке которой он наложил на себя руки. Я не только склонен думать, но прямо уверен, что рассказанный в «Путешествии» эпизод с отцом, который хоронит сына, павшего жертвой наследственной передачи ужасного недуга, постигшего некогда безутешного отца, что этот эпизод в его основе не подсмотрен и не выдуман Радищевым, а пережит им и имеет **подлинное автобиографическое значение.**

Наоборот, Пушкин, будучи, подобно Гете, восприимчивым ко всем впечатлениям бытия, был, как и Гете, не только физически и душевно здоров, но и исключительно крепок.

Радищев, как неврастеник, не только впадал в преувеличения, а сам есть какое-то сплошное преувеличение. Пушкин же — воплощенная мера и мерность. Пользуясь тем различением, которое так метко обозначил сам же Пушкин, отличая «восторг» от «вдохновения», можно сказать, что Радищев был человеком **восторженным,** а Пушкин — **вдохновенным.**

Радищев — отец русской интеллигенции и интеллигентщины. Пушкин, рядом с Петром Великим, самый сильный, душевно и духовно здоровый, выразитель свободного от пут учений и лжеучений, творчески мощного русского национального духа.

Когда Пушкин писал о Радищеве свои необычайно умные заметки, не пропущенные цензурой, — великий русский поэт был уже тем крепким, свободолюбивым, чутким к действительности консерватором, в которого его превратили и личный жизненный опыт, и исторические судьбы мира в эпоху великого перелома после французской революции. В суждениях Пушкина о Радищеве чувствуется непрерывный протест здорового уравновешенного человека против преувеличений развинченно-чувствительного психопата.

Зло крепостного права в России было так велико, что его злую и принципиальную зловредную суть нельзя было вообще преувеличить. Русское крепостное право, как рабство внутри одного и того же народа, принципиально было абсолютной моральной неправдой и в то же время — великой психологической несообразностью. Но было бы величайшей ошибкой видеть в Радищеве верного и точного изобразителя реальностей русского крепостного строя и быта.

В «Путешествии из Петербурга в Москву» гораздо больше декламации, чем изображения. У Радищева вообще не было ни чувства действительности, ни исторической интуиции. Любопытно и неслучайно, что он не смог достодолжным образом оценить огром-

ной исторической фигуры Ломоносова, значение и мощь которого так изумительно уловил и охарактеризовал Пушкин. Сейчас, когда мы знаем, что Ломоносов был физико-химиком, гениально предвосхитившим и идеи Лавуазье и кинетическую теорию газов, странно читать пренебрежительно-высокомерную оценку Радищевым Ломоносова, как ученого.

ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКИЕ РОМАНТИКИ

К юбилею французского романтизма

Был ли Пушкин романтиком? Вопрос этот в известном смысле праздный, поскольку романтизм вообще по содержанию неопределим, обозначая весьма разнообразные явления известной исторической эпохи, объединяемые лишь тем, что они, как некая **новизна** этого времени, противопоставляются какой-то унаследованной от другой эпохи **старине** (так понимали романтизм столь различные умы, как Пушкин и Стендаль). Есть много романтизмов и самые различные по духу писатели именовались романтиками. Но поскольку вопрос о романтизме Пушкина распадается на ряд отдельных конкретных вопросов об отношении Пушкина к **современной** ему западноевропейской (и отечественной) литературе, вошедшей в историю под **наименованием** романтизма, вопрос этот, или вопросы эти получают определенные очертания, и ответ, или ответы могут быть даны довольно точные.

Пушкин всегда, и в особенности в пору наибольшей своей зрелости, сурово относился к французским романтикам и вообще был критически настроен в отношении современной ему французской литературы. Напомню его жестокий, обрывающийся на полуслове, отзыв 1831 г.:

> Всем известно, что французы народ самый антипоэтический. Славнейшие представители сего остроумного и положительного народа: Монтань, Монтескье, Вольтер, доказали это. Монтань, пу-

тешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэле; Монтескье смеется над Гомером; Вольтер, кроме Расина и Горация, кажется, не понял ни одного поэта... Если обратим внимание на критические результаты, обращающиеся в народе и принятые за литературные аксиомы, то мы изумимся их бедности... Ламартин скучнее Юма и не имеет его глубины. Не знаю, признались ли они в тощем однообразии, в вялой бесцветности своего Ламартина, но тому лет 10 — его ставили наравне с Байроном и Шекспиром...

Не менее сурово о Ламартине, Викторе Гюго, Альфреде де Виньи отозвался Пушкин по поводу Шатобрианова перевода «Потерянного рая» Мильтона, противопоставив названным французским знаменитостям другое имя, Вальтер Скотта, имя, тоже неотъемлемое от истории романтизма вообще, и английского в частности. В этом отзыве о Шатобриане Пушкин признает Гюго, «любимца парижской публики», «второстепенным поэтом», «неровным, грубым», его драмы — «уродливыми». Альфреда де Виньи, которого «французские критики поставили без церемонии на одной доске с Вальтер Скоттом», Пушкин характеризует, как «чопорного и манерного», а его знаменитый роман «Сэн Марс» называет «облизанным».

Но Пушкин и в эту эпоху не относился огульно-отрицательно ко всей французской литературе. Об этом свидетельствует его полемическая статья 1836 г. против М. Е. Лобанова: в ней Пушкин исторически совершенно справедливо оспаривает мысль Лобанова, французский романтизм той эпохи связывавшего с духом французской революции.

Спрашиваю, — говорит в этой статье Пушкин — можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона,

> Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье; который и ныне гордится Шатобрианом и Балляншем; который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галляму противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия; ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей?

Гениальный и образованный консерватор Пушкин исторически прав, когда подчеркивает, что между развитием современной ему литературы XIX в. и политическими событиями конца XVIII в. нет такой зависимости, какую утверждал неумный и необразованный консерватор Лобанов, и что новые явления французской литературы непосредственно связаны не с революцией, а, наоборот, с реставрацией:

> В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции, литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого «восстановления» (restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своенравным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону, и забвение всяких правил стала почитать законной свободой. Мелочная и ложная

теория, утвержденная старинными риторами, будто бы **польза** есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не **нравоучение.** Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т.-е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности: награда добродетели и наказание порока были непременным условием всякого их вымысла; нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие. Такой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие.

В этих словах не назван Виктор Гюго и не упомянуто его предисловие к «Кромвелю», но по содержанию это — полемика именно с Гюго, как автором знаменитого предисловия, явившегося одним из самых громких манифестов французского романтизма. Пушкин подчеркивал в 1836 г., что

...поныне влияние ее [новой французской литературы — *П. С.*] было слабо [в России *П. С.*] Оно ограничивалось только переводами и койкакими подражаниями, не имевшими большого успеха. Журналы наши, которые, как и везде, правильно и неправильно управляют общим мнением, вообще оказались противниками новой романтической школы. Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к числу нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер-Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль-Жанен. Поэзия осталась чужда влиянию французскому: она более и более

дружится с поэзией германскою, и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики.

Тут любопытно неодобрительное по существу упоминание Бальзака, который был уже тогда автором таких вещей, как « La maison du chat qui pelote », « La femme de trente ans », « Le médecin de campagne », « Le père Goriot », « Eugénie Grandet », (вещь, которую перевел не кто иной, как Достоевский), « Le lys dans la vallée ».

В Пушкинском круге вообще Бальзака, повидимому, не ценили, о чем свидетельствует и отзыв о нем кн. Вяземского в «Записной книжке». Это интересно отметить в виду того огромного значения, которое Бальзак бесспорно приобрел для позднейшей русской литературы в лице Достоевского, а может быть, и Гоголя. Но Бальзак, личными нитями связанный с романтиками, в истории романа и повести, так же, впрочем, как и сам Пушкин, уже выходит из «романтизма», являясь творцом того нового восприятия художественной правды, которое принято именовать реализмом. Недостаточная и неправильная оценка Пушкиным и его кругом Бальзака имеет свою русскую параллель во французской литературе: один из самых умных и тонких во французской литературе ценителей Бальзака, сам блестяще одаренный и большой писатель, Барбэ-д'Орвильи, совсем не понял и не оценил русского гениального современника Бальзака, Гоголя, значение и влияние которого в русской литературе, а через нее и в мировой, по меньшей мере равняется значению и влиянию Бальзака.

Рядом с отрицательным отзывом Пушкина о Бальзаке, надлежит отметить весьма высокую оценку им г-жи Сталь, этой крестной матери французского романтизма, и восторженный отзыв об Альфреде де Мюссэ.

Между тем, как сладкозвучный, но однообразный, Ламартин готовил новые благочестивые размышления, под заслуженным названием Harmonies religieuses; между тем, как важный Victor Hugo издавал свои блестящие, хотя и натянутые, Восточные стихотворения (les Orientales); между тем, как бедный скептик Делорм [Делорм — псевдоним Сент-Бева — *П. С.*] воскресал в виде исправляющегося неофита, и строгость приличий была объявлена в приказе по всей французской литературе — вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел н е д о у м е н и е...» [Далее следуют весьма хвалебные отзывы об отдельных произведениях Мюссэ].

Созревая, Пушкин отходил и от французского классицизма, в то же время враждебно отталкиваясь от французского романтизма. Французский классицизм Пушкин всегда однако ценил выше, чем современный ему французский романтизм. Он весьма высоко ставил не только Корнеля, Расина, Мольера и Лафонтена, но даже и Буало, в котором видел «поэта, одаренного мощным талантом, резким умом». Недаром он не хотел уступать французским романтикам любимого им и почитаемого за классика Андре Шенье, которого он для русских читателей навсегда обессмертил своим чудесным стихотворением.

Ценя великих французских классиков, Пушкин, как писатель зрелый, чувствовал себя однако ближе, чем к французам — к англичанам, к Шекспиру прежде всего, к немцам, и прежде всего к Гете. Последнего он ощущал как **«великана романтической поэзии»**.

Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чайльд Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном

романтической поэзии — и остался хром, как Иаков.

Положительная оценка, данная в свое время Пушкиным значению для русской культуры германской философии, сближает зрелого Пушкина и с позднейшим западничеством (в лице Станкевича, Белинского, Боткина, Герцена), и с сложившимся именно под влиянием германской философии, ею напоенным, славянофильством.

Из всех французских писателей, так или иначе входящих в «главу» о романтизме, наибольшее значение имели для Пушкина двое.

Прежде всего нужно назвать Проспера Меримэ, блестящую подделку которого, «Песни западных славян», Пушкин так гениально перевел, превратив фальсификат в какую-то подлинную поэтическую жемчужину, и который сам переводил своего великого переводчика, усвоив таким образом французской литературе несравненную «Пиковую даму». Но Меримэ — его Пушкин признавал «острым и оригинальным писателем», произведения которого «чрезвычайно замечательны в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы», т. е. именно расцветавшего тогда романтизма (сборник Меримэ вышел в 1827 году) — имел с другими французскими «романтиками» очень мало внутреннего родства, будучи по существу близок только к Стендалю, этому «последнему пришельцу из XVIII века», внутренне тоже ничего общего не имевшему с современными ему романтиками.

А затем Пушкин несомненно испытал на себе влияние того французского писателя, который, будучи ровесником г-жи де Сталь и так же, как она, носителем германского влияния, может почитаться как бы крестным отцом французского романтизма, а именно плодовитого и разностороннего Шарля (или

как его называл Пушкин, Карла) Нодье. Нодье оказал на Пушкина влияние не только вообще как новеллист, которого много читали в свое время, и который, не будучи настоящей творческой силой, был превосходным рассказчиком и первоклассным стилистом. В особенности и в частности Нодье оставил след на Пушкинском творчестве, как автор «Жана Сбогара», произведения, по основному мотиву явившегося непосредственным прототипом «Дубровского». Об этом, до сих пор почти, кажется, не замеченном нашими «пушкинистами» соотношении, — в следующий раз.

ШАРЛЬ НОДЬЕ И ПУШКИН

Посвящается В. А. Францеву

I. Общая характеристика Нодье

Мечтатель —

« O, mes amis, quel plaisir de rêver ».

Nodier.

Стилист —

« Le mot doit mûrir sur l'idée
Et puis tomber comme un fruit mûr ».

Nodier.

Эрудит и воспитатель —

« C'est lui qui nous a tous faits ».

Francis Wey о Нодье.

Одно время, в эпоху торжества реализма и затем символизма, Нодье считали забытым. Этого теперь нельзя сказать — о нем в последние десятилетия возникла целая литература, частью носящая характер настоящих исследований по сравнительной истории литературы. И образ Нодье, для его современников-французов живой, на этом историческом фоне и для нас вырисовывается с полной отчетливостью и выразительностью.

Крестный отец французского романтизма был сам крещен в водах порожденной «классическим духом» великой французской революции и всегда оставался классиком с романтическим помазанием. Уроженец города Безансона, столицы Франш-Контэ (род.

1780, ум. 1844), он, рано созревшим мальчиком, уже ораторствовал на революционных сходбищах, затем обернулся контрреволюционером и как таковой попал в эпоху директории и консульства в «неблагонадежные» и «поднадзорные», прегрешив против Наполеона стихотворением, впрочем скорее республиканским, чем роялистским. Рано Нодье пристрастился к книгам, к языку и языковедению и в то же время — к природе, к насекомым и к растениям.

Это вообще характерно для людей XVIII и начала XIX в., — не случайно, ведь, философ Шарль Боннэ, посещение которого так мило и забавно описал Карамзин в «Письмах русского путешественника», был энтомологом и ботаником, чувствительный Руссо — не только специалистом по музыке, но тоже и ботаником, «изведавший» до конца человека и человечество Гете — всеобъемлющим испытателем «естества», тонкий поэт Шамиссо, француз по рождению, немец по национальности — настоящим зоологом, сделавшим обессмертившее его открытие, и т. д. Романтик, мечтатель и любитель фантастики, Нодье был книжным червем, библиофилом, библиографом и эрудитом-лингвистом. В нем как-то жили дружно, дополняя одна другую, две стихии: поэзии и учености, хотя, быть может, поэтому ему и было трудно быть первоклассным поэтом и полновесным ученым.

Но все-таки он был настоящим, возвышавшимся до подлинного вдохновения, художником, первоклассным стилистом и интереснейшим «эрудитом»-самоучкой (известную роль в его эрудиции сыграло платное секретарство у английского любителя филолога Крофта, бывшего в плену во Франции). Еще в ранней юности Нодье был библиотекарем в своем родном городе, потом судьба его забросила (в эпоху французской оккупации) библиотекарем и официальным редактором казенной французской газеты в столицу Словении, Любляны. Тут он воспринял славян-

ские, для француза восточные и экзотические, впечатления, давшие богатую пищу и его мечтательности и его любознательности. Затем Нодье вернулся во Францию и занял видное место в литературе и как новеллист, и как литературный критик.

Рано и сильно на его восприимчивый и доступный книжным влияниям дух стали действовать иноземные литературные влияния, английские и немецкие: Шекспир, Гете, Шиллер. Потом к этим великанам присоединились другие: Байрон, Вальтер-Скотт, Гофман. Сент-Бев метко характеризует Нодье, как «младшего брата (впрочем, чисто французского по духу) великих иностранных поэтов-романтиков». А для современной Нодье молодой романтической Франции он — по словам того же наблюдательного и умного современника — был «старшим братом и притом самым чутким и внимательным», явившимся таким образом «всеобщим предтечей».

Я не задаюсь здесь целью — дать исчерпывающую характеристику Нодье. Моя задача — лишь познакомить читателя в общих чертах с этой крупной фигурой французской литературы, у которой общим с нашим несравненно более значительным, творчески мощным Пушкиным было именно особое и редкое сочетание начала романтического, стихии мечтательности и фантастики, с началом классическим, с стихией ясности, порядка, меры. У Нодье, впрочем, в его художественных произведениях стихия классическая не была ни так ясно выражена, ни так гармонически слита с стихией романтической, как у Пушкина. Обе эти стихии скорее были у Нодье элементами многогранной индивидуальности, чем объективными началами художественного творчества. Но во всяком случае этот «романтик», как личность, был подлинным «классиком» в том же смысле, в каком ими были и Пушкин и, конечно, Гете.

Весьма возможно и даже вероятно, что Нодье,

который отчасти, но по моему мнению не исключительно по внешним причинам, одно время, как сотрудник *Journal des Débats*, нападал на романтизм, — оказал и в этом смысле известное влияние на Пушкина, также как более чем вероятно, что увлечение Вальтер-Скоттом и критическое отношение к Гюго (с которым Нодье был лично дружен) были впервые внушены молодому Пушкину именно отзывами Нодье.

По существу, в основном, точный и трезвый до сухости стендалианец Меримэ, который, унаследовав академическое кресло Нодье, не любил и не ценил своего предшественника, был, конечно, более родственен Пушкину, чем Нодье. В Пушкине, при огромной силе воображения и лирическом напряжении, вовсе не было той чувствительности, которую большинство «романтиков», и в том числе Нодье, прямо и через разные промежуточные влияния, получили по наследству от Руссо.

Следует еще отметить, что из французских писателей, относимых к «романтикам», Пушкин и князь Вяземский весьма высоко ставили Бенжамена Констана, как автора «Адольфа». Вяземский, как известно, перевел «Адольфа», а Пушкин по этому поводу написал о романе Констана восторженный отзыв. С Бенжаменом Констаном, который был старше Нодье на 13 лет, автор «Жана Сбогара», называющий Констана (в предисловии к «Сбогару») « mon illustre ami », был в довольно близких отношениях. Но Бенжамен Констан, при всей «психологичности» своего дарования, вовсе не был «чувствительным» в смысле Руссо. В нем была сдержанность, трезвенность и сухость, которые отсутствовали у Руссо, хотя оба они были швейцарцами и протестантами по рождению.

Тех, кто интересуется Нодье, я отсылаю, для общей характеристики — к статьям о нем Сент-Бева (в Portraits littéraires) и Фагэ (в сборнике новелл Нодье,

издание коллекции « Lutétia »); для историко-литературной рамки, в которую необходимо вставить Нодье — к книгам покойного Michel Salomon, *Charles Nodier et le groupe romantique* (1897) и Jean Larat, *La Tradition et l'exotisme dans l'œuvre de Charles Nodier. Etudes sur les origines du romantisme français*, Paris 1923 (страсбургская теза). Последнему автору принадлежит и критическая библиография Нодье. «Жан Сбогар», как литературное явление, всего полнее рассмотрен в капитальном исследовании о Меримэ сербского ученого Войслава М. Иовановича: *« La Guzla » de Prosper Mérimée. Etude d'histoire romantique. Paris 1911* (гренобльская теза).

II. «Жан Сбогар» Нодье и «Дубровский» Пушкина.

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный Жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар. *)

(Пушкин «Евгений Онегин»)

В 1818 г. появилась (анонимно) повесть Нодье «Жан Сбогар». В построении этого произведения нет той геометрической отчетливости, которая отличает повести «ирониста» и эрудита Меримэ и спокойно-

---

*) **Примечание Пушкина:** Вампир, повесть, неправильно приписанная Байрону. Мельмот, гениальное произведение Матюрина. Jean Sbogar, известный роман Карла Нодье.

мощного классика Пушкина. Как рассказ, повесть Нодье расплывчата и несобранна.

Содержание ее вкратце таково:

Около Триеста живут две сестры, одна вдова, другая девица, дочери итальянизованного французского эмигранта. Старшая, мечтательная, но в то же время покорная судьбе и уравновешенная, опекает единокровную младшую сестру, чувствительную, но хрупкую, подверженную припадкам слез и дрожи, склонную к одиночеству, едва ли не душевнобольную. В связи с войной в Истрии появились разбойничьи банды, и среди них «братья общего блага», во главе которых стоит пресловутый Жан Сбогар. Это — разбойники-анархисты (Нодье этого слова не употребляет, но таков смысл даваемой им характеристики), борющиеся против общественного порядка, во имя «свободы и счастья». На целом ряде разговоров и встреч читателю внушается мысль о какой-то таинственной связи, рождающейся между Антонией — так зовут младшую сестру — и Жаном Сбогаром. Эта мысль является чем-то вроде навязчивой идеи, и в то же время объективным фактом, преследующим Антонию.

Жан Сбогар — не обыкновенный злодей и главарь преступной шайки, а разбойник-мыслитель и мечтатель, аристократ какого-то неведомого, почти сказочного происхождения, легко изъясняющийся почти на всех языках. Он знает, что родился «под роковой звездой», и тайну и тяжесть своего злосчастья он носит в душе своей.

Сестры по делам уезжают в Венецию.

Венеция в это время была полна слухов и разговоров о молодом таинственном иноземце, по имени Лотарио, который появляется и исчезает так, что его не видят нигде, для того, чтобы затем увидеть повсюду, который сыплет деньгами и расточает благодеяния, защищает угнетенных, спасает несчастных, по-

павших в руки «сбиров», останавливает злодеев, успокаивает бунтующую толпу. Народная толпа ему покорствует, а сильные мира сего высоко ценят. Он избегает богатых и сильных: бедным и слабым он помогает, нисходя для них со своих высот.

Друзей у Лотарио не было, и никто его, в сущности, не знал. Известно было только, что он несколько лет назад ухаживал за одной знатной девицей, а когда он уехал, девица исчезла и лишь впоследствии в песках отмели, на которой возвышается знаменитый армянский монастырь, нашли ее мертвое тело.

В рассказах о таинственном иноземце поражало то, что, как бы далеко назад ни уводили эти рассказы, в них Лотарио являлся всегда в одном возрасте и образе — юным и цветущим.

Однажды сестры встретились с Лотарио, и Антония почувствовала к загадочно-роковому и неотразимо-властному Лотарио какое-то странное чувство, не ужас, не трепет любви: это было «что-то смутное, не очерченное, темное, не то воспоминание, не то сон, не то подкрадывающаяся лихорадка». Антония испытывала к Лотарио «какую-то нежность и в то же время — ненависть, что-то в одно и то же время — изумляющее и отталкивающее, зовущее и удручающее». Однажды Лотарио запел, и пел он ту песню о Жане Сбогаре, которую Антония слышала у себя в Истрии от старого далматинца во время одной из загадочных и знаменательных встреч, когда рождалась ее таинственная связь со Сбогаром.

Лотарио делится с Антонией своим отвращением к цивилизации и культурному обществу, своей любовью к дикой независимости.

Антония и Лотарио полюбили друг друга. Чувство Лотарио носило совершенно особую печать какой-то привязанности «важной и обдуманной, скупой на оказательства и увлечения, довольствующейся малым

и тотчас с величайшей сдержанностью уходившей во внутрь, лишь только у Лотарио являлось опасение, что его чувство обнаруживается слишком явственно». В ряде сцен и разговоров намечаются внутренние трудности этой близости, над которой тяготеет роковая тайна, объемлющая все существование Лотарио. Наконец Антония получает от него письмо, в котором Лотарио прощается с нею навсегда, идя «на смерть, которая его слишком долго щадила». В комнате, в которой Антония в последний раз видела Лотарио, она нашла в кожаном переплете листки — их Лотарио, повидимому, оставил намеренно. Некоторые из этих листков были написаны кровью. На них были, в стиле афоризмов, начерчены смелые, парадоксальные мысли.

Сестры оставляют Венецию и морем отправляются к себе. Во время этого плавания на корабль нападает банда Сбогара, убивает старшую сестру и уводит Антонию в разбойничий замок Дуино. Там она сходит с ума, но Сбогар сам заботится о ней с деликатностью и вниманием, которые не ускользнули бы от нее, если бы ее рассудок не был помрачен. Сбогар появлялся перед ней, всегда закрытый вуалью или шлемом, покрывавшим все его лицо. Но часто во сне своем и иногда как будто и наяву она видела Лотарио на месте Сбогара.

Безумная Антония проводит два месяца в замке. Но вот замок окружают французские солдаты, вторгаются в него, перебивают большинство разбойников, а остальных берут в плен. Во время борьбы происходит жуткая сцена: Антония и Сбогар обмениваются брачными лобзаниями, от которых безумная Антония испытала «неизъяснимое опьянение» и «пожирающую усладу».

В числе пленников находились Сбогар и сумасшедшая Антония. Она выздоровела и собиралась принять монашество. Во время следствия судебные

власти решили предъявить Антонии всех взятых в плен разбойников, с мыслью, что, может быть, она, единственное существо, смягчавшее в свое время суровую душу неведомого никому, таинственного Сбогара, узнает его среди других. Когда они дефилировали перед Антонией, она, увидев одного, с криком: «Лотарио!» — бросилась к нему.

И в ответ раздалось: «Нет, нет, я Жан Сбогар!»

«Лотарио, Лотарио!» — повторяла Антония и вновь услышала в ответ: «Жан Сбогар!»

И с криком: «Жан Сбогар! Боже!» — Антония пала замертво. Один из сбиров, подняв саблей ее голову, сказал:

— Девушка эта скончалась!

— Скончалась! — повторил Жан Сбогар, напряженно вглядываясь в лицо мертвой. — Идем дальше!

На этих словах кончается произведение Нодье, озаглавленное им «Исторический роман».

Анонимный роман Нодье приписывали баронессе Крюденер, знаменитой во французской литературе как автор романа «Валерия» и в русской истории — по своим отношениям с Александром I. А также — Бенжамену Констану. Об этом Нодье сам говорит в предисловии к тому изданию его «романа», в котором было раскрыто его авторство.

За «Сбогара» Нодье обвиняли в плагиате у Байрона, как автора «Пожара», и у немецко-швейцарского писателя Цшокке, как автора «Абелино». Влияния эти, в особенности Цшокке, на Нодье, как автора «Сбогара», несомненны. Сам Нодье выдавал содержание своего произведения за истинное происшествие и Сбогара за историческую личность. На самом же деле Нодье своеобразно разработал в своем «Сбогаре» популярную тему той эпохи — «благородного» и «идейного» разбойника, личность которого в ходе

действия для внешнего мира раздвояется. Ни о каком плагиате Нодье не может поэтому быть и речи. Но с другой стороны никакого Сбогара никогда не существовало: Нодье его просто выдумал. Основной мотив его произведения со времен «Разбойников» Шиллера — носился в воздухе, и этот мотив Нодье со свойственной ему восприимчивостью подхватил и оригинально использовал. Оригинальность Нодье состояла, однако, не в мнимом местном колорите, для которого у Нодье — пребывание его в славянских странах было весьма кратковременно — не было ни материала, ни знаний (славянских языков он совсем не знал), а прежде всего в своеобразной и довольно тонкой, правда лишенной красочности и рельефности, «дымчатой» трактовке трудного по своей надуманности и искусственности, хотя и занимательного психологически, сюжета. И, во-вторых, оригинален Нодье тем, что он в своем произведении чрезвычайно интересно и отчетливо ввел в идеалистически-разбойничью идеологию Лотарио-Сбогара элементы анархического мировоззрения. Кажется, до сих пор никем не замечено и не отмечено, что в «Листках» (Tablettes) Лотарио Нодье не только повторяет Руссо, но отражает и предвосхищает идеи анархии. В этом сказалась общая идейная восприимчивость, столь характерная для Нодье. Это не значит вовсе, чтобы он сам был сколько-нибудь анархистом. Наоборот, в ту эпоху Нодье весьма определенно и формально являлся консерватором-легитимистом. Но вообще у Нодье не было никогда прочных и продуманных собственных политических убеждений и философских взглядов. Он отличался лишь в весьма сильной мере способностью «перевоплощаться», усваивая или даже предвосхищая чужие мысли и настроения. Всего естественнее в «анархических» идеях Лотарио-Сбогара искать какого-то, может быть, весьма непрямого, отражения идей английского социолога Годвина и его круга.

Пушкин в своем «Дубровском», взяв тот же основной мотив, что и Нодье в «Сбогаре», — образ благородного и идейного разбойника, личность которого для внешнего мира раздвояется, — разработал эту тему совсем иначе, чем Нодье, как большой художник, и притом в лучшем смысле реалист, действительно придав ей и местный колорит, и бытовую красочность, и психологическую рельефность. Действующие лица «Дубровского» не объятые романтической дымкой тени, как Антония, ее сестра и Лотарио-Сбогар у Нодье, а настоящие живые люди, вставленные в трепещущую жизнью бытовую рамку крепостной России. «Дубровский», рядом с «Капитанской Дочкой» и «Арапом Петра Великого», свидетельствует о том, как чутко и тонко Пушкин способен был воспринимать и воспроизводить историческую действительность и как эта действительность под его гениальным пером превращалась в подлинное действие. В «Дубровском» Пушкина перед нами развивается не романтическая схема, как у Нодье, а развертывается живая драма.

Но, несравненно превосходя произведение Нодье художественной силой и красочностью, повесть Пушкина не представляет того идеологического интереса, который «Сбогару» Нодье придает **романтическое предвосхищение анархического мировоззрения.**

ОТ ПУШКИНА К БАЛЬЗАКУ

Существует черновой отрывок, вернее, незаконченный брульон французского письма Пушкина к неизвестному лицу, обычно относимый по времени, хотя этой даты на нем непосредственно, кажется, нет, к 22 октября 1823 г., а по месту, к Одессе. Это письмо предположительно приурочивают к А. Н. Раевскому, как к адресату. Но текст письма ясно показывает, что оно написано не из Одессы, и потому его нельзя датировать октябрем 1823 г., когда Пушкин был действительно в Одессе. Письмо написано, повидимому, в Кишиневе.

В указываемом письме заключается несколько любопытных упоминаний, которые имеют интерес и для биографии Пушкина и для биографии Бальзака.

Приведу этот отрывок целиком во французском оригинале:

« Je réponds à votre P. S., comme à ce qui intéresse surtout votre vanité. Comme Lara Hansky, assis sur mon canapé, j'ai décidé de ne plus me mêler de cette affaire-là. M. S. n'est pas encore de retour d'Odessa ; je n'ai donc pas encore pu faire usage de votre lettre. Comme ma passion a baissé de beaucoup et qu'en attendant je suis amoureux ailleurs, j'ai réfléchi, c'est-à-dire que je ne montrerai pas votre épître à M. de S., comme j'en avais d'abord l'intention, en lui cachant que jettais sur vous l'intérêt d'un caractère bayronique, et voici ce que je me suis proposé. Votre lettre ne sera que

citée avec les restrictions convenables. En revanche j'y ai préparé tout au long une belle réforme dans laquelle je me donne sur vous tout autant d'avantage que vous en avez pris sur moi dans votre lettre. J'y commence par vous dire : je ne suis pas votre dupe, l'aimable Job. Je vois votre vanité et votre passion à travers l'affectation de votre cynisme etc. Le reste dans le même genre. Croyez que ça fasse de l'effet. Mais comme vous êtes toujours mon maître en fait de moral, je vous demande pour tout cela votre permission et surtout vos conseils. Mais dépêchez vous, car on arrive. J'ai eu de vos nouvelles. Votre frère m'a dit que Atala Hansky vous avait rendu fat et ennuyeux. Mais votre dernière lettre n'est pas ennuyeuse. Je souhaite que la mienne puisse un moment vous distraire dans vos douleurs. Mr. votre oncle qui est un cochon, comme vous savez, a été ici, a brouillé tout le monde et s'est brouillé avec tout le monde. Je lui prépare une lettre » *).

Не может подлежать никакому сомнению, что лицо под кличкой Лара (имя героя известной поэмы Байрона) Ганский есть не кто иной как первый муж той дамы, которая через более чем 25 лет стала женой Онорэ де Бальзака, Венцеслав Ганский (некоторые французские бальзакисты ошибочно производят его в «графы»). И так же несомненно, что Атала (имя героини знаменитого произведения Шатобриана) Ганская есть именно эта самая дама, урожденная графиня Эва или Эвелина Ржевусская, вышедшая за Ганского замуж в 1820 г., как это с категорической точностью утверждает племянница Ганской-Бальзак, княгиня Екатерина Радзивилл, в разъяснениях, данных ею американке г-же Juanita Helm Floyd, автору

*) Цитирую по тексту, напечатанному в 3-м Исаковском (Ефремовском) издании, т. V (СПБ. 1881) стр. 500.

английской книги о женщинах в жизни Бальзака, переведенной княгиней Радзивилл на французский язык и снабженной ее предисловием: Juanita Helm Floyd. *Les Femmes dans la vie de Balzac*. Traduction et introduction de la Princesse Cathérine Radziwill. Avec 17 lettres inédites de Madame Hanska et trois portraits hors texte. Paris, Plon 1926 (см. стр. 192 этой книги).

Ибо из переписки Бальзака с мадам Эвелиной Ганской мы хорошо знаем, что в эпоху их окончательного сближения Бальзак и вслед за ним близкие мадам Эвелине люди называли ее — «Атала». Ср., например, письмо Бальзака к Ганской от 1-6 января 1846 г. (цитирую по *Correspondance. Oeuvres complètes*, XXIV. Paris, Calmann Lévy, 1876, p. 490) : « Pauvre chère Atala ! Pauvre chère Zéphirine ! » (первое обращение относится к Ганской-матери, возлюбленной Бальзака, второе — к ее единственной дочери от Ганского, Анне, вышедшей за Георгия Мнишка).

Княгиня Радзивилл сообщает — и в точности ее сообщения трудно усомниться, — что старшая сестра Эвы или Эвелины Ржевусской, по мужу Ганской («Иностранки» Бальзака, венчавшейся с ним в Бердичеве 14 марта 1850 г.), была замужем за Собанским. (Потом г-жа Собанская вышла замуж за Ширковича и под этой фамилией фигурирует в переписке Бальзака, а затем, чуть-чуть не выйдя замуж за знаменитого критика Сент-Бева, она в третьем браке стала женой французского писателя Жюля Лакруа).

Это указание интересно потому, что в рассказах о Пушкине некий Собанский упоминается, как его соперник по любовным отношениям с г-жей Ризнич («соперник вечный мой» Элегии 1823 г.), а некая Собанская, как лицо, в альбом которой Пушкин будто бы написал в 1823 г. стихотворение «Иностранке» (это известие, на основании которого Ефремов отнес указанную пьесу к 1823 г., опорачивается Лернером:

«Труды и дни Пушкина», изд. 2-ое, стр. 184; Лернер относит это стихотворение к 1828 г. Иногда это стихотворение приурочивается к Ризнич). Не есть ли M. S. и M-me de S. вышецитированного пушкинского черновика Собанские, муж и жена?

Но вот что еще более любопытно.

Третья сестра Ржевусская, Полина, как сообщает княгиня Радзивилл, была замужем за Иваном Ризничем, «весьма богатым человеком», «банкиром сербского происхождения, поселившимся в Одессе» (стр. 191).

Возникает вопрос: Полина Ржевусская была первой или второй женой Ивана Ризнича?

Для меня несомненно, что Полина Ржевусская-Ризнич — это вторая жена Ивана Ризнича. Она была еще жива в эпоху вдовства Эвелины Ганской и ее окончательного сближения с Бальзаком. (Ср. J. Helm Floyd, *Les Femmes* etc., pp. 272-273). Но так как более чем вероятно, что Пушкин по Югу России знал вообще всех сестер Ржевусских, а так как, с другой стороны, наше знание об отношениях Пушкина с г-жой Ризнич основано в значительной мере на позднейших воспоминаниях, рассказах и домыслах, то существенно установить, что Пушкин знал и мог знать двух госпож Ризнич. Одну он знал несомненно в эпоху ее замужества с Иваном Ризничем, другую он мог знать — до этого брака, — как незамужнюю сестру Каролины Собанской и Эвелины Ганской, рожденных Ржевусских. В позднейших чужих воспоминаниях, рассказах и сплетнях эти два лица могли иногда сливаться в одно.

Это обстоятельство необходимо иметь в виду всем биографам и биографическим истолкователям произведений Пушкина. Если в таких истолкованиях фигуры Амалии Ризнич и госпожи Собанской (которую неверно называют графиней) как-то перепле-

таются и как бы конкурируют одна с другой, то тем более необходимо учесть, что сестра Собанской и Ганской, Полина Ржевусская, сама была потом (с 1826 или 1827 г.) госпожой Ризнич, супругой того же Ивана Ризнича, и как Ризнич наверное была известна на Юге России в течение целых десятилетий.

Итак, вот какие факты можно считать установленными:

Ганский, первый муж мадам Бальзак, упоминаемый Пушкиным как «Лара Ганский», и Эвелина Ганская, рожденная графиня Ржевусская, а потом мадам Бальзак, им упоминаемая как «Атала Ганская», были кишиневскими (и одесскими) знакомыми Пушкина.

Старшая сестра Ржевусской-Ганской-Бальзак, Каролина, и ее первый муж Собанский были тоже одесскими (и кишиневскими) знакомыми Пушкина.

Их младшая сестра Полина была второй женой Ивана Ризнича.

Таким образом черновик неоконченного французского письма Пушкина к неизвестному лицу, написанный в Кишиневе в 1823 г., связывает биографию Пушкина с биографией Бальзака, и дальнейшего разъяснения некоторых любопытных подробностей биографии Пушкина следует искать в точных данных о *младшей сестре* той женщины, которая в историю французской литературы неизгладимо вписала свое имя, как «Иностранка» (L'Etrangère), «Полярная Звезда» (Etoile du Nord), «Самая Любимая» (Praedilecta) величайшего французского романиста XIX века.

P.S. Мои заметки были уже набраны, когда мне попало в руки новое издание «Писем» Пушкина под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского (т. I, 1815-1825, Труды Пушк. Дома Акад. Наук) Москва-Петроград 1926 г. В этом издании на стр. 55-56 напечатан с «дипломатической» точностью приведен-

ный выше текст французского чернового письма Пушкина. В примечаниях (стр. 281) правильно раскрыто, кто были «Лара» и «Атала» Ганские, с ссылкой на недоступные мне сейчас «Архив Раевских» т. II, стр. 314 и 562, и «Исторический Вестник» № 10, 1899 г., стр. 283-288. Повидимому, однако, и до сих пор нашим пушкинистам оставались неизвестными, из выше мною устанавливаемых фактов, два, а именно, что г-жа Собанская и вторая жена Ивана Ризнича были сестры мадам Ганской-Бальзак, урожденные графини Ржевусские.

ПУШКИН И Е. М. ХИТРОВО

Санктпетербургские пушкинисты выпустили замечательное издание вновь найденных писем Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово, иначе Хитровой, дочери фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова, светлейшего князя Смоленского (библиографическую заметку об этом издании см. ниже).

Елизавета Михайловна, родившаяся в 1783 г., вышла замуж за графа Ф. И. Тизенгаузена, павшего при Аустерлице, и затем вторично за генерал-майора Н. Ф. Хитрово(а), который умер в 1819 г. русским поверенным в делах во Флоренции. От брака с Тизенгаузеном у Елизаветы Михайловны были две дочери, погодки: Екатерина, родившаяся в 1803 г., оставшаяся незамужней и в глубокой старости скончавшаяся в СПБ. в 1888 году, и Дарья, родившаяся в 1804 г. вышедшая замуж за австрийского генерала и дипломата французского (лотарингского) происхождения, графа Фикельмона, который был последовательно австрийским посланником в Швеции, Тоскане, обеих Сицилиях и, наконец, послом в России, где он оставался до 1839 г. с тем, чтобы стать ближайшим помощником Меттерниха, а затем в бурный революционный 1848 год, на короткое время, его преемником. После этого возвышения, Фикельмон удалился от дел и в 1857 г. 80 лет скончался в Венеции. Пять-шесть лет спустя скончалась гр. Дарья Федоровна (Фердинандовна).

В переписке Д. Ф. Фикельмон и ее мужа с графиней Е. Ф. Тизенгаузен первая пишет второй:

22 октября 1840 г.: « Je voudrais avoir une gravure

de Pouchkine en souvenir de l'affection que maman avait pour lui (я хотела бы иметь гравированный портрет Пушкина, на память о привязанности мамы к нему) » и 3 декабря 1842 г.: « On m'a montré hier le portrait de Pouchkine, il m'a fort attendrie, en me rappellant toute son histoire, l'intérêt que maman y a pris et comme elle aimait Pouchkine (Мне вчера показали портрет Пушкина, он меня сильно растрогал, так как напомнил всю его историю, то участие, которое проявляла к ней мама и как она любила Пушкина) ». (Ср. « Lettres du Comte et de la Comtesse de Fiquelmont à la Comtesse Tiesenhausen », publiées par Comte F. de Sonis. Paris 1911, pp. 7, 37).

Итак, по свидетельству ее дочерей, овдовевшая в 1819 году и скончавшаяся в 1839 г. Елизавета Михайловна Хитрово любила Пушкина.

Елизавета Михайловна любила Пушкина, как женщина, ценила его, как великого поэта, почитала, как русскую славу. Со стороны Пушкина это чувство не встречало полного ответа. Известно, что он относился заведомо иронически к обожанию, которым его дарила Елизавета Михайловна, бывшая его старше на 16 лет. Ироническое отношение Пушкина и его друзей к Е. М. Хитрово и ее влюбленности доходило до издевок. Но в то же время Пушкин все-таки как-то, и высоко, ценил дружбу этой образованной, умной и доброй русской женщины.

Вновь открытые письма Пушкина к Е. М. Хитрово не разъясняют до конца их чисто личных отношений. Но если в таких вопросах интимной биографии великих людей есть место внутреннему проникновению в прикровенный смысл внешних отношений, то, мне думается, самое естественное решение этого вопроса пушкинской биографии вот каково. Е. М. Хитрово любила Пушкина, как женщина. Пушкин до своей женитьбы временами терпел эту любовь, и между ними существовало то, что называется «связью» — связь

хрупкая и обидно-неравная, как любовь, и в общем прочная и привлекательно-равная, как дружба. Именно так я толкую недатированные письма Пушкина к Елизавете Михайловне, быть может, самые ранние по времени, но напечатанные на последнем месте в издании Пушкинского Дома Академии Наук. Приведу их полностью во французском оригинале (все письма Пушкина к Е. М. Хитрово написаны по-французски) и русском переводе:

Mon Dieu, Madame, en disant des phrases en l'air, je n'ai jamais songé à des allusions inconvenantes. Mais voilà comme vous êtes toutes et voilà pourquoi les femmes comme il faut et les grands sentiments sont ce que je crains le plus au monde. Vive les grisettes. C'est bien plus court et bien plus commode. — Si je ne viens pas chez vous, c'est que je suis très occupé, que je ne puis m'absenter que tard, que j'ai mille personnes que je dois voir et que je ne vois pas.

Voulez vous que je vous parle bien franchement ? Peut-être suis je élégant et comme il faut dans mes écrits ; mais mon cœur est tout vulgaire et mes inclinations toutes tiers-état. Je suis soul d'intrigues, de sentiments, de correspondances etc., etc. J'ai le malheur d'avoir une liaison avec une personne d'esprit, maladive et passionnée qui me fait enrager, quoique je l'aime de tout mon cœur. En voilà bien assez pour mes soucis et surtout pour mon temperament.

Ma franchise ne vous fachera pas ? Pardonnez moi donc des phrases qui n'ont pas le sens commun et qui surtout ne vous regardent en aucune manière.

(Боже мой, бросая слова на ветер, я никогда не помышлял о неуместных намеках. Но вот ка-

ковы все вы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, — это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Если я не прихожу к Вам, так это оттого, что я очень занят и могу выходить из дому лишь весьма поздно. Мне нужно было бы видеть тысячу людей, а между тем я их не вижу.

Хотите ли вы, чтобы я говорил с Вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д. Я имею несчастье быть в связи с особой, умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я и люблю ее всем сердцем. Этого более, чем достаточно для моих забот и особенно для моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность? Не так ли?

Простите же мне слова, которые не имели никакого значения и никоим образом не относились к Вам.)

Я думаю, что та « liaison », связь, о которой говорится в первом из этих писем, есть именно связь между Пушкиным и Е. М. Хитровой самой. Именно потому, что эта связь была все-таки серьезна хотя и неравноценна для каждого из участников, Пушкин в своем письме говорит о ней как бы со стороны, и, может быть, все его письма к Хитрово в эпоху самой связи, т. е. до сближения с Гончаровой, были намеренно написаны так, чтобы распознать из них смысл и содержание их отношений было невозможно. Весьма понятно, что интимную сторону своих отношений к Хитрово Пушкин сознательно затушевывал и скрывал. Второе из указываемых мной писем вполне согласуется с таким толкованием. Вот оно:

D'où diable prenez vous, que je sois faché? mais j'ai des embarras par dessus la tête. — Pardonnez mon laconisme et mon style de jacobin.

Mercredi.

(Откуда, чорт возьми, Вы взяли, что я рассердился? Но у меня хлопот выше головы. Простите мой лаконизм и мой якобинский слог.

Среда.)

Мое истолкование смысла цитированного выше письма № XXVI сборника и объяснение отношений между Пушкиным и Хитрово совсем расходится с тем, которое дает Н. В. Измайлов в большой статье «Пушкин и Е. М. Хитрово» в приложении к сборнику «Писем» (стр. 184).

Конечно, Пушкин был внутренне искренен в отношении Е. М. Хитрово: между ними было неравенство не только возрастов, но и чувств. Права была и А. П. Керн, отмечавшая «равнодушие», в котором признавался ей Пушкин в отношении женщины, «которая его обожала». Керн имела тут очевидно в виду Е. М. Хитрово. Она воспринимала вообще отношение Пушкина к женщинам «как слишком невысокое понятие о женщине». Но в формы напускного пренебрежения к grands sentiments, «большим чувствам», и демонстративного предпочтения гризеток порядочным женщинам, — у Пушкина выливалось, мне кажется, необыкновенно острое ощущение неравенства в чувстве между ним и Хитрово, того неравенства, которое представляло и психологические, и бытовые неудобства; ощущая их, Пушкин ссылался на то, что он tiers-état (мещанин) и bonhomme (добрый малый). Указание Пушкина на связь с «особой болезненной и страстной, которая его бесит, хотя он и любит ее всем сердцем», указание, которое я отношу к самой Е. М. Хитрово и толкую в смысле полушутливой откровен-

ности с женщиной-другом, в него влюбленной, Н. И. Измайлов расшифровывает как иносказание: тут имеется в виду не женщина, но Муза поэта, «которой он служит, — творчество, мучительное для него и любимое им». Это толкование до последней степени натянуто; другое объяснение дает В. В. Вересаев, указывая на А. Ф. Закревскую, на связь с которой будто бы намекает Пушкин в своем письме к Е. М. Хитрово.

Пушкину было в пору его первой встречи с Хитрово приблизительно столько же лет, сколько Гете, когда он познакомился с г-жей Штейн. Но Гете был влюблен в Штейн (хотя она была старше его на семь лет), а Пушкин к Хитрово, как к женщине, был равнодушен. И в Пушкине совсем не было ни той сентиментальности, через которую прошел «великий старец», ни той величественности, которая недаром вознесла Гете до тайного советника и министра. Вот почему связь Пушкина с самой доброй, живой, образованной и вдохновенной женщиной, которую он встретил в своей жизни, была так непохожа на одиннадцатилетний роман Гете с самой значительной и содержательной женщиной, которую он знал. Но и Е. М. Хитрово, эта, по отношению к Пушкину, по ее собственному признанию, «кроткая, безобидная и покорная» женщина, сама не была вовсе похожа на ревнивую Штейн. Хитрово покорно приняла брак Пушкина, тогда как Штейн Гете, когда он ушел от нее, мстила, даже как писательница.

Ключ к дружбе между Пушкиным и Е. М. Хитрово, нежной с ее стороны и крепкой, несмотря на видимую иронию и даже отталкивание, с его стороны, дает, быть может, следующее тонкое психологическое замечание Сент-Бева, писателя, высокую оценку которого, как поэта, кстати сказать, Пушкин высказал именно в одном из писем к Е. М. Хитрово.

В беседе со своим секретарем, когда возник вопрос: возможна ли искренняя, крепкая, прочная друж-

ба между мужчиной и женщиной? — Сент-Бев заметил, что он верит в возможность такой дружбы, но лишь при одном условии: чтобы хоть на один, самый краткий, самый преходящий миг, в таких отношениях заговорила страсть, и слабейшая сторона отдалась другой. (Ср. A. I. Pons. *Sainte-Beuve et ses inconnues*. Paris, 1879, p. 183). В другом месте Сент-Бев такой миг называет «золотым гвоздем дружбы» (clou d'or d'amitié). (См. Sainte-Beuve. *Le clou d'or*. Avec une préface de Jules Troubat. Paris, 1921).

Конечно, часто бывают отношения, когда для дружбы между мужчиной и женщиной вовсе не нужен «золотой гвоздь» Сент-Бева. Но в нашем случае дело, думается мне, обстояло психологически именно так, как говорит Сент-Бев.

ПУШКИН О СТЕНДАЛЕ И БАЛЬЗАКЕ

Е. М. Хитрово (см. № 21 «России») снабжала Пушкина произведениями французской литературы, и они в письмах делились своими оценками. Благодаря этому обстоятельству, мы располагаем теперь некоторыми новыми отзывами Пушкина о французских писателях его времени.

В письме, которое издатели датируют «между 19 и 24 мая 1830 г. Москва», мы находим суждение Пушкина о Гюго и Сент-Беве:

> Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за «Эрнани». Это одно из произведений современности, которое прочел я с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бев бесспорно единственные французские поэты нашего времени. Особенно Сент-Бев, и потому, если возможно достать в Петербурге его «Утешения» («Consolations»), сделайте, ради Бога, доброе дело, — пришлите их мне.

Во второй половине мая 1831 г. (Петербург) Пушкин дает такой отзыв о знаменитом романе Стендаля « Le Rouge et le Noir » и о романе Сю « Plock et Plick ».

> Вот ваши книги, умоляю Вас прислать мне второй том Rouge et Noir. Я от него в восторге. Plock et Plick жалок, это куча противоестественной чепухи, пошлостей, лишенных даже оригинальности. Свободна ли уже Notre Dame? До свиданья.

Отзыв о романе Стендаля по существу повторяется в письме, датируемом издателями «концом мая или началом июня 1831 г.» (Петербург):

> Вот книги, которые Вы были добры мне одолжить. Ваше восхищение Notre Dame вполне понятно. Во всем этом вымысле много изящества. Но, но... я не смею сказать всего, что об нем думаю. Во всяком случае, падение священника великолепно со всех точек зрения, от него просто кружится голова. Rouge et Noir хороший роман, несмотря на фальшивую риторику, встречающуюся в некоторых местах, и на несколько замечаний дурного вкуса.

В октябре-ноябре 1831 г. Пушкин дает положительный отзыв о ныне совершенно забытом романе Бюра де-Гюржи « La Prima Donna et le garçon boucher ». Наконец, по датировке издателей, осенью 1832 г. Пушкин пишет Елизавете Михайловне о Бальзаке (привожу отзыв во французском оригинале и в переводе):

> Comment n'avez-vous pas honte d'avoir parlé si légèrement de Karr. Son roman a du génie et vaut bien le marivaudage de votre Balzac.
>
> Как Вам не совестно было так легко отозваться о Карре: в его романе есть дарование, и он стоит изысканности вашего Бальзака.

Пушкинские отзывы о Стендале, Бальзаке и Карре любопытны и характерны. Высокая оценка Пушкиным романа Стендаля, который удостоился такой же оценки и со стороны Гете, неудивительна. Это суждение вполне согласуется с тем высоким мнением, которое имел Пушкин о Меримэ. Родственные друг другу, как писатели-«беллетристы», Стендаль и Меримэ были близки, по манере и стилю, к Пушкину-прозаику. Недаром Меримэ был *другом Стендаля* (хотя

их личные отношения, как известно, были довольно сложные и со стороны Мериме, быть может, не вполне искренние, ср. историю его брошюры 1850 г. о Стендале у Paupe, *Histoire des œuvres de Stendhal*, Paris, 1904, pp. 300-301; в качестве курьеза следует отметить, что в число тех писателей, у которых Стендаль совершил свои ныне знаменитые «плагиаты», должен быть занесен и Мериме!) Недаром Мериме был переводчиком Пушкина — рядовому французу «Пиковая Дама» известна как произведение Мериме!

Отзыв Пушкина о Бальзаке и Карре есть любопытный пример ошибки великого писателя в суждении об его современниках. Альфонс Карр, сын переселившегося во Францию из Баварии немца-музыканта (род. 1808, † 1890), третьестепенный писатель, наиболее прославившийся, уже после смерти Пушкина и Хитрово, как памфлетист своими периодическими «Осами» (les Guèpes), теперь как романист почти забыт, хотя еще в 60-х и в особенности 70-х годах он был и во Франции и у нас в России весьма популярен: его произведения были почти во всякой частной русской библиотеке французских книг того времени; я помню томики Карра в библиотеке своей матери. Бальзак же несомненно — один из величайших в мировой литературе писателей, оказавший, в особенности в лице Достоевского, большое влияние на русскую литературу.

Но не случайно Пушкин ощущал известное отталкивание от Бальзака, который был его ровесником — оба они родились в 1799 г. Пушкин был *прирожденным писателем*, Пушкин был *воплощенной мерой*. Бальзак, как неоднократно указывалось, упорным и количественно огромным трудом *сделал себя* писателем. В 1829 году Пушкин был уже зрелым гением, а его французский ровесник — после многолетнего периода анонимно-рыночного писательства и неудачного типографски-издательского предпринимательства —

только в этом году становится настоящим писателем, выступая впрочем еще лишь как подражатель Вальтера Скотта в романе *Le Dernier chouane* и затем, правда, быстро развертываясь в того большого аналитика души и изобразителя социальных типов, каковым он себя прославил.

Пушкин был весь — мера. Бальзак был и по своей форме, или стилю, и по содержанию, столь же *воплощенной чрезмерностью.* Величие Бальзака было так же тесно связано с его чрезмерностью, в том числе и с его поразительным многописанием — Бальзак буквально выписался в великого писателя, между прочим являя разительное доказательство того, что *настоящие творцы выписываются, но никогда не исписываются* — как величие Пушкина неразрывно с его мерой, с его самообузданием, т. е. с суровою строгостью к самому себе. Пушкин и Бальзак — примеры двух психологически полярных типов великих писателей, примеры, быть может, в своей полярности наиболее яркие во всей мировой истории литературы. Кстати, когда Пушкин говорит о «мариводаже» Бальзака, он, думая уязвить последнего, бессознательно произносит о своем великом французском современнике в общем верное и весьма меткое историческое суждение. Бальзак на самом деле как-то родственен своему соотечественнику XVIII века, Мариво. Он сближается с ним двумя чертами своего творчества: широким реализмом, почти натурализмом, отмечаемым у романиста Мариво Брюнетьером, и чувствительностью.

И обе эти черты, и натурализм и чувствительность, были чужды ясному и мерному классику Пушкину, которого только горение подлинного гения избавляло от холодности Стендаля и Меримэ.

Сказать, как это сделал Пушкин, что Альфонс Карр (современные любопытные характеристики и оценки Карра можно найти у Клеман де Ри, Clément

de Ris, *Portraits à la plume.* Paris 1853, у Теофиля Готье; Théophile Gautier, статья 1839 г., перепечатанная в *Portraits contemporains,* Paris 1874, у Э. Миркура: Eugène de Mirecourt, *A. Karr.* Paris 1856, в серии « Les contemporains ») стоит или даже превосходит Оноре де Бальзака, сказать это — приблизительно то же самое, что сейчас таких писателей, как Н. Ф. Павлов или А. В. Дружинин, автор «Полиньки Сакс», поставить в один ряд с Гоголем, Достоевским или Львом Толстым. Правильные оценки писателей-современников часто даются с трудом даже гениальным людям, и Пушкин в данном случае не составляет исключения.

Пушкин, конечно, не подозревал, в какой мере и политические взгляды его зрелого возраста во многом совпадали с идеями не оцененного им великого французского романиста, который, впрочем, был еще больше консерватором, чем Пушкин в эпоху его умственной зрелости (религиозно-общественные и политические мысли и максимы Бальзака еще в 1854 году из его сочинений извлек не кто иной, как Барбэ д'Орвильи, см. H. de Balzac. *Pensées et maximes receuillies et classées par I. Barbey d'Aurevilly,* Paris 1909, Lemerre).

Ибо ведь Пушкин, как его охарактеризовал его друг, кн. П. А. Вяземский, «на историческом поприще, если бы оно открылось перед ним, без сомнения был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом».

Словосочетание «либеральный консерватизм», как я уже указывал однажды, в русской литературе было вычеканено кн. Вяземским и им же применено к Пушкину. Это нелишне запомнить. В отличие от Пушкина Бальзак был едва ли не просто консерватором или же консерватором социальным, с налетом или предвосхищением идей и мотивов т. н. «католического социализма».

СОБОЛЕВСКИЙ И МЕРИМЭ

Русское культурное общение с Западом многообразно и многозначительно для обеих сторон.

К интереснейшим его страницам принадлежит взаимное литературное влияние Меримэ и Пушкина. Неизбежно сопоставление этих имен, хотя интересный и блестящий французский новеллист, художественное творчество которого постепенно иссохло и сморщилось, несравним, по значению и значительности, с исполином русской литературы, с личностью и творчеством которого связано все последующее развитие нашей литературы и культуры.

Своеобразное дарование Меримэ из всей современной Пушкину французской литературы было наиболее ему сродни. Доходивший до жадности, универсальный литературный и культурно-исторический интерес Меримэ, который возобладал в нем, в конце концов, над чисто художественным восприятием, был близок той не знавшей пределов, могущественно объемлющей и покоряющей «всечеловечности» Пушкина, которую в знаменитой своей речи 1880 г. так восславил Достоевский, но которая ему самому была скорее чужда (настолько чужда, что еще в 60-х годах он над «всечеловечностью» едко посмеивался).

« La Gouzla » — эта блестящая подделка Меримэ — вдохновила Пушкина на создание целого мастерского цикла «Песен западных славян». А знакомство Меримэ с другом Пушкина, С. А. Соболевским, раскрыло перед французским новеллистом-эрудитом величие и

своеобразие Пушкинского гения и стиля, хотя понять и оценить Пушкина вполне не было, быть может, дано даже и Меримэ.

В Москве недавно появилось замечательно интересное издание: А. К. Виноградов. *Меримэ в письмах к Соболевскому.* Московское Художественное Книгоиздательство. Москва 1928. Стр. 275.

Книга эта, прекрасно изданная, снабжена портретами и иллюстрациями и, главное, воспроизведениями оригинальных писем Меримэ к Соболевскому, впервые печатаемых.

Над этим материалом, извлеченным из собрания писем и рукописей самого Соболевского, после его смерти перешедшего в собственность графа Шереметева, а теперь «национализированного» витает как бы дух самого Пушкина.

Соболевский был оригинальной фигурой образованного человека, любившего пожить, отличавшегося исключительной духовной жадностью и индивидуальной одаренностью, умевшего распознавать и оценивать людей. Он не производил, а потреблял, не творил, а воспринимал. Но у него, как ценителя людей и произведений, был зоркий взгляд и способность к подлинной дружбе. Незаконный отпрыск богатого дворянского рода, Соболевский вложил деятельную сторону своей личности не в литературу, а в промышленные дела, явившись основателем Самсоньевской мануфактуры на Выборгской стороне в Петербурге и вообще «дельцом» в подлинном и хорошем смысле слова. Свою воспринимательную, рецептивную способность, свой духовный интерес, руководимый естественно тонким и в большом потребительском опыте изощренным вкусом, Соболевский вложил в литературу и искусство, исторически прикрепив себя и свое имя к исполинской фигуре Пушкина.

Г. Виноградов правильно оценивает Соболевского, так характеризуя его личность и роль:

> Он принадлежал к типу тех исключительных фигур, к которым история бывает всегда неблагодарна. Человек огромного вкуса (почему только огромного, а не тонкого? *П. С.*), широкого и многостороннего образования, он был «другом литературы», но не был сам литератором; он давал яркие мысли, свежие образы, тонко схваченные рифмы, сложные замыслы многим писателям, с которыми дружил... Он был организатором тех соприкосновений, контактов разнообразных литературных школ, направлений и течений в Европе, которые зачастую без посредства не могли бы соприкоснуться. Он с любопытством следил за теми искрами, которые получались в результате этих контактов и вот одним из таких контактов явился *пушкинизм* Проспера Меримэ, осуществившего перевод Пушкина, которым Соболевский в шутку угрожал когда-то своему русскому другу в письмах из Италии 1829 г.: «О, Пушкин, Пушкин! Пиши мне... я тебя здесь хвалю и величаю; не то — напечатаю *свой* перевод тебя, и горе, горе посрамленному».

А. К. Виноградов прослеживает отношения между Соболевским и Меримэ до почти одновременной их смерти и стремится установить смысл и результаты этого редкостно-примечательного и плодотворного духовного общения, в центре которого стоял великий русский поэт и его творчество. Автор новой русской публикации о Меримэ приходит к выводу, что Соболевский оказал влияние на суждения Пушкина о французских романтиках (см. об этом мои заметки в №№ 4, 5 и 22 «России») и внушил ему интерес к произведениям самого Меримэ. Г. Виноградов полагает, что, с другой стороны, Соболевский был и первым по вре-

мени и главным посредником между Меримэ и русской литературой. Таким образом, первое знакомство с нашим языком знаменитый французский писатель получил от друга Пушкина, и все значение Пушкина и вся мощь его гения раскрылись Меримэ через Соболевского.

Но самое интересное в публикации г. Виноградова не его выводы, суждения и сопоставления, а документальный материал писем, извлеченных им из архива Соболевского, и факты, раскрываемые этим документальным материалом*).

Высокая оценка Пушкина и его творчества Меримэ, ставшая известной в России через Соболевского, повела в 1862 г. к избранию знаменитого французского писателя почетным членом Общества Любителей Российской Словесности — в протоколах Общества, записанных М. Н. Лонгиновым, значится: «В почетные члены принят известный французский писатель, член Французской Академии Проспер Меримэ — знаток и страстный любитель русского языка и литературы, провозгласивший нашего Пушкина величайшим и первым из современных европейских поэтов».

---

*) В книге г. Виноградова есть странные суждения. Из них некоторые определяются его пристрастиями, положительным — к Стендалю, мнению которого о романтизме он придает совсем не оправдываемое, преувеличенное значение, отрицательным — к Э. Т. А. Гофману. Другие суждения, быть может, определяются вынужденным или полувынужденным приспособлением к большевицкой идеологии и ее пошлому ультра-радикализму.

Есть досадные ошибки: на стр. 21, Сегюр-отец, французский посол в Петербурге при Екатерине II, смешивается с его сыном, адъютантом Наполеона и потом генералом, автором знаменитой книги о войне 1812 г., дожившим до крушения Второй Империи и до Коммуны (отец и сын были писатели). В чтении французского текста писем и в его переводе встречаются тоже странные ошибки: так на стр. 186 (письмо № XXVI) читать следует не Senatus-Concille, а Senatus-Consulte и сенатюс-консюльт есть не «сенатское совещание», как переводит г. Виноградов, а постановление или мнение сената; на стр. 255, в записочке Мицкевича Соболевскому, « du pain à discrétion » значит не «хлеба на выбор», а — «хлеба вволю» и т. д. и т. д.

Этот отзыв Меримэ о Пушкине известен нам еще и из передачи И. С. Тургенева в его речи 1880 года о Пушкине. Знаменитый русский романист рассказывает, что Меримэ в беседе с ним «не обинуясь, называл Пушкина величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго». «У Пушкина, — говорил Тургеневу Меримэ, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собой из самой трезвой прозы» — суждение удивительно тонкое и разительно меткое. Из произведений Пушкина Меримэ выше всех ставил «Пиковую Даму» и «Цыган».

Суждение свое о Пушкине Меримэ в чрезвычайно интересном контексте повторил незадолго до смерти в письме к Александре Дмитриевне Лонгиновой, жене М. Н. Лонгинова. Уцелевший отрывок этого письма г. Виноградов приводит в заключительной главе своей книги (стр. 227-228):

> Уступая желанию и настоянию некоторых русских знакомых, я прочел «Преступление и Наказание» Достоевского; мне говорили, что это лучшее из его произведений. Скажу вам откровенно: несмотря на большой талант, Достоевский мне не нравится, в нем есть какая-то напряженность и экзальтация чувства, а это вредит ясности художественного созерцания. Он вышел скорее из Виктора Гюго, чем из Пушкина. Можно ли и достойно ли русскому писателю, имеющему такой высокий образец [т. е. Пушкина *П. С.*], следовать по стопам Гюго и вдохновляться им?

На это суждение Меримэ о Пушкине и Достоевском, наверное, будет написан ряд толкований и размышлений, ибо — даже совершенно независимо от проблем соотношения между Виктором Гюго и Достоевским — в отзыве Меримэ поставлен огромной важности вопрос о двух стихиях в русской культуре и ли-

тературе, выражаемых и символизируемых фигурами и именами Пушкина и Достоевского.

Я далеко не исчерпал всего значительного и интересного в публикации А. К. Виноградова. Укажу только еще, что в приложении к своей книге г. Виноградов останавливается на отношениях трех друзей, Адама Мицкевича, Александра Пушкина и Сергия Соболевского, и публикует пять неизвестных доселе писем Мицкевича к Соболевскому, давая их французские факсимиле.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПУШКИНУ»

Историк переворотов, связанных с мировой войной, если он будет внимательно изучать события в их подлинном сцеплении, с изумлением установит в отношении России, что то, что часто хочет выдавать себя или быть выдаваемо за *«завоевание* революции», имеет на самом деле свои положительные корни и основы в том огромном творческом процессе, который совершался в исторической России, в Российской Империи, совершался неуклонно, без насильственных перерывов, без человеческих жертв, без нравственно омерзительных отступничеств и надругательств. Нам приходилось встречать иностранцев и даже беззаботных по части истории или легкомысленно о ней судящих русских, которые думали, что и русский пушкинизм, с половины прошлого века любовно культивируемый, сначала в Москве, а потом в Петербурге, и пристальное русское изучение Достоевского суть «достижения»... большевицкой революции!

Это странное и, пожалуй, забавное заблуждение весьма характерно для того глубоко невежественного и в то же время насквозь проникнутого тенденциозностью умоначертания, которым слишком часто бывает отмечено и поражено отношение многих иностранцев, и в том числе — увы! — и славян, к проблемам русского культурного развития

Эти мысли естественно пришли мне в голову при просмотре и чтении заключительного тома советского издания «Полного собрания сочинений» А. С. Пушки-

на, тома, являющегося своеобразным путеводителем по Пушкину и так и озаглавленного [1]).

Мысль — составить и издать такую книгу, которая в сжатом и собранном виде давала бы то, что накоплено русским пушкиноведением и отложилось, как в сборнике «Пушкин и его современники», выпускать который начала в 1903 г. Императорская Академия Наук, так и в разнокачественных, но в общем хорошо составленных статьях капитального *венгеровского* издания Пушкина, и в «аппарате» *академического* его издания, и в изумительно прилежно и в то же время осмысленно составленных примечаниях образцового издания писем Пушкина, принадлежащего покойному Б. Л. Модзалевскому, и вообще во всей сейчас уже нелегко обозримой литературе о Пушкине, — эта мысль заслуживала бы полного признания и одобрения.

Выпущенный ныне «Путеводитель по Пушкину» лишь в весьма малой мере отвечает заданию и смыслу такого издания. Он и в самом своем замысле, и в плане, и в исполнении этого плана испорчен «марксизмом» в его самом пошлом, прямо-таки глуповатом варианте. Правда, эта примесь, в общем и целом, оказалась механически пристегнутой к пушкинизму и, как таковая, выпячивается из пушкиноведения какими-то оскорбительно-назойливыми, марксистски-ленинистскими ослиными ушами. В некоторых серьезных статьях всякий мало-мальски образованный и вдумчивый читатель сможет легко отмести эту примесь. Но глупо-«марксистское» задание оказалось вредным не только и не столько тем, что оно примешало к словарю, к произведениям Пушкина много ненужностей — ибо этот марксизм есть именно механическая примесь, — сколько тем, что оно помешало вработать в такой «Путеводитель» по Пушкину, действительно ценный и нужный

---

[1]) Путеводитель по Пушкину. Москва. 1931 г., 400 стр.

материал. Преследуя цели просвещения «пролетарского» читателя [2]), составители смешали задания специального предметного словаря к Пушкину с заданиями общего элементарного энциклопедического словаря, а также объяснительного словаря иностранных и вооб-

---

2) «Цель **Путеводителя** — сказано в предисловии редакции — приблизить Пушкина к широким массам, сделать его доступным для читателя из рабочих и крестьян, для каждого учащегося. Как ученик французской культуры, тесно связанный в своем творчестве с различными сторонами западной социально-литературной жизни, Пушкин, действительно, нуждается в такой маленькой энциклопедии, поясняющей и толкующей огромное количество слов, имен и понятий, сейчас уже устаревших, отошедших в прошлое, намеков, над разъяснением которых иногда долго трудятся даже специалисты... Путеводитель пытается комментировать не только текст Пушкина, но и пояснить ряд проблем общего характера статьями специалистов. В январе 1930 г.... при общей редакции сочинений Пушкина была создана опытная бригада [sic ! — *П. С.*] из рабочих-читателей в числе 12 человек. Эти лица были отобраны и выделены профсоюзными библиотеками. В бригаде участвовали металлисты, текстильщики, строители, пищевики и совторгслужащие. Представители были подобраны так, чтобы отражать различные возрасты. Бригадники индивидуально проработали тексты Пушкина, отметили непонятные слова и места, требующие разъяснения. Эти отметки и помогли в значительной степени при составлении **Путеводителя**. Кроме того, каждый бригадник давал отзыв по поводу прочитанного произведения. Так впервые к работе над Пушкиным подошел коллектив из подлинных массовых читателей».

Все это было бы очень хорошо, если бы не оказалось весьма вредным и для плана составления «Путеводителя» и для его выполнения, как мы показываем и доказываем в наших заметках.

По поводу предисловия заметим еще, что извращенное представление о действительности получается у читателя, который поверит автору цитируемого предисловия, что только «теперь» сочинения Пушкина «брошены в очень широкие читательские массы». На самом деле это случилось почти 50 лет тому назад, в 1887 году, когда по случаю истечения издательского права на произведения Пушкина целый ряд издателей — с незабвенным Ф. Ф. Павленковым во главе! — выпустил дешевые однотомные издания Пушкина по цене 1 р. 50 коп. за большой и компактный том. Замечательно и характерно, что эти однотомные и дешевые частные издания реально, т. е. в порядке свободной продажи, распространившиеся в огромном количестве экземпляров, стояли в типографическом отношении, по качеству и печати и бумаги, гораздо выше шеститомного советского государственного издания, ныне выпускаемого, которое в указанном отношении производит — увы! — самое жалкое впечатление.

ще малопонятных слов [3]). Нельзя сочинения Пушкина брать поводом и исходной точкой для такого словаря, каковы бы ни были — по существу — его задания и даже тенденции. Статьи (хотя бы они занимали несколько строчек): *аврора, акафист, албанцы, алоэ, алтын, алхимия, Аристотель, Бентам, скифы, статистика, топаз* и целый ряд других — были бы уместны в общем энциклопедическом словаре и в словотолкователе иностранных или вообще не общежитейских речений, но совершенно не нужны и неуместны в «Путеводителе по Пушкину». С другой стороны, в специальном словаре к Пушкину, конечно, необходимы статьи на слова: *«сентиментализм»* (или *«чувствительность»*), *«славянофилы»* (или *«словенофилы»*), *«любомудры»* (слово это встречается в статье «Архивные юноши», но там ни по существу, ни этимологически не объяснено). Между тем, отношение Пушкина к сентиментализму вообще, карамзинскому в частности, есть интересная и важная проблема духовного содержания и душевного тонуса пушкинского творчества. Можно думать — и я держусь этого взгляда, — что Пушкин был всегда далек от сентиментализма, но в литературе о Пушкине проводится и другое воззрение, не так давно резко выраженное г-жей В. И. Бутаковой (в статье «Карамзин и Пушкин», *Пушкин и его современники,* вып. XXXVII, 1928 г., стр. 127-135), которая даже утверждает, что «сентиментализм, как идейное течение, определяет круг важнейших тем произведений Пушкина».

---

[3]) Объяснение иностранных слов бывало и в нашей и в иностранной литературе формой социалистической пропаганды — напомним только о русском фурьеристском «карманном словаре иностранных слов» Кириллова, выпущенном в С.-Петербурге в 1845-1846 г. г. (об его содержании, авторах и судьбе см. в посмертном труде В. И. Семевского, изданном В. В. Водовозовым в Москве в 1922 г. — «М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, Часть I, глава 11, стр. 58-83) и о « Volksfremdwörterbuch » Вильгельма Либкнехта-отца, как о, быть может, исторически самых значительных примерах подобного социалистического использования словарного задания и словарной формы.

Слово «словенофил» у Пушкина и для Пушкина имело, как известно, совсем другое значение, чем оно получило в 40-х гг. и в позднейшую эпоху. Теперь смысл, придававшийся слову «словенофил» в Пушкинскую эпоху, с легкой руки в особенности г. Тынянова, передается выражением «архаист» — этот последний термин новейшего пушкинизма встречается в тексте «Путеводителя», но в нем тоже не объясняется, хотя ни «пролетарскому», ни просто рядовому читателю он, конечно, без объяснений не может быть понятен. Вообще, принцип просвещения «пролетарского» читателя, положенный в основу разбираемого «Путеводителя» в примечании к пушкинскому тексту, совершенно игнорируется составителями этого пособия — что, впрочем, вполне понятно, — поскольку они сами пользуются понятиями и словами, «пролетарскому» читателю недоступными. И я утверждаю, что статьи составителей «Путеводителя», поскольку они не являются просто «словотолковательными», для всякого читателя, и в том числе для «пролетарского», гораздо труднее и малопонятнее, чем текст самого Пушкина и даже Белинского, как истолкователя Пушкина.

Поражают в «Путеводителе» некоторые пробелы. Так, отсутствует статья об Е. М. Хитрово; нет также той клички, которую в пушкинском кругу носила эта незаурядная женщина: «*Лиза голенькая*». Вообще, нельзя не сказать, что с словарной точки зрения «Путеводитель» составлен несколько халатно: укажу для примера, что имя «*Сбогар*» отсылает к имени «*Нодье*», но этого последнего имени (т. е. соответствующей статьи) на месте не оказывается, что, конечно, является существенным пробелом, так как сам Пушкин в примечаниях к «Евгению Онегину» называет Нодье. Непонятно, почему, дав статью о *Бальзаке*, которого Пушкин не понимал и не ценил, составители «Путеводителя» не дали статьи о *Стендале* (ни под этим именем, ни под его действительной фамилией — Бейль), между

тем как Пушкин Стендаля читал и ценил. Нет также заметки о *Жозефе де Мэстре,* хотя Пушкин его читал и упоминает не раз давая этой фамилии транскрипцию «Мейстр» или даже «Мейстер», транскрипцию, за которой даже относительно образованный читатель не сразу, может быть, узнает знаменитого сардинского дипломата и французского философа-публициста.

В «Путеводителе» есть несколько весьма недурных статей. К ним относится, например, умная и, при всей ее краткости, обстоятельная статья старого и тонкого критика А. Г. Горнфельда «Гете». Интересна статья Д. П. Якубовича «Иностранные влияния и заимствования», но написана эта статья весьма трудно и в литературном отношении неудачно. По существу же, в ней много интересных и ценных, подчас даже тонких, указаний, отчасти почерпнутых автором в богатой литературе пушкиноведения, отчасти принадлежащих ему самому. Напрасно только г. Якубович не отмечает встречающихся у Пушкина *бессознательных* заимствований, как совершенно особого рода припоминаний (реминисценций), заслуживающего специального изучения, причем необходимо иметь в виду, что такие *заимствования* и *припоминания* (лексические и фразеологические) возможны только у русских же авторов. Кроме того, ставя вопрос о заимствованиях, вообще нужно строго различать форму и содержание, а в последнем — материал и душевную окраску (форма и материал Вальтер-Скотта влияли на Пушкина, но по душевной окраске или по тональности Пушкин и Вальтер-Скотт были весьма далеки друг от друга).

Интересна по материалу статья г. Д. Благого «Критика о Пушкине», но в ней заемные, а может быть собственные, «марксистские» уши уж очень назойливо выпячиваются. «Социологическая» точка зрения тут извращает историческую перспективу и поглощает вечное эстетическое существо поэзии. Тут «марксизм-

ленинизм» явно опускается еще ниже того уровня, на котором стояла плоская публицистическая критика 60-70 гг. XIX века (Добролюбов, Писарев и их подголоски). Исторически неправильно в статье Д. Благого разъединение — в истории восприятия Пушкина русской критикой — А. В. Дружинина, с одной стороны, Аполлона Григорьева и, через него, Н. Н. Страхова, с другой. Это, по существу, — один поток, и его единство еще в 50-х г.г. объясняет исторически огромный общественный триумф Достоевского в 1880 г.

Превратив словарь к Пушкину в значительной мере в какой-то кургузый, ибо весьма неполный, энциклопедический словотолкователь, редакция и составители 6-го тома советского издания сочинений Пушкина без всякой надобности и пользы утопили большую работу русского пушкиноведения, восходящую к благородному почину таких людей, как Анненков, Бартенев, Гаевский, Яков Грот и Тихонравов, в какой-то каше, составленной из весьма примитивного словотолкования и навязчиво и надоедливо-тенденциозной марксистской «социологии», лишенной всякой научной ценности.

Очень жаль!

Белград, декабрь 1932 г.

О ПУШКИНИЗМЕ И ПУШКИНЕ

О ПЕРВЫХ ПУШКИНИСТАХ (ГАЕВСКОМ, АННЕНКОВЕ, БАРТЕНЕВЕ И ДР.). ПОГИБШИЙ ТРУД В. П. АВЕНАРИУСА. ВЕРЕСАЕВ И МОДЗАЛЕВСКИЙ.

Посвящается памяти
А. Н. Пыпина и С. А. Венгерова

Пушкинизм, как особая специальность, превратившаяся чуть ли не в спорт какого-то изощренного и в то же время тенденциозного «гробокопательства», есть явление относительно новое. Это тот пушкинизм, о котором один из новейших лучших исследователей жизни и духа Пушкина привел чью-то нижеследующую насмешливую характеристику, представляющую, конечно, шарж, но шарж, удачно схватывающий черты действительности.

> Современный комментатор любого из стихотворений Пушкина ставит совершенно определенно свой тезис: он задается целью доказать, что Пушкин был похож на покойного С. А. Венгерова: был политическим радикалом, как Венгеров; гуманен и демократичен, как Венгеров; и антимилитарист, как Венгеров [1]).

Однако, подлинное внимание и серьезный интерес к Пушкину, добросовестно-исследовательское от-

---

1) П. К. Губер. **Дон-Жуанский список Пушкина**. Главы из биографии с 9-ю портретами. Издательство «Петроград». СПБ. 1923, стр. 254.

ношение к великому русскому поэту, к его жизни и творчеству проявилось и дало плоды довольно давно. А именно — уже совершенно явственно — в начале 50-х годов XIX века. Т. н. «приоритет», или первенство во времени в истории этого живого и существенного внимания к Пушкину следует решительно приписать Виктору Павловичу Гаевскому (род. 1826, † 1888 г.), которого этюд о Дельвиге в «Современнике» за 1853 г. есть первое крупное «пушкинистское» исследование.

За Гаевским — во всяком случае, видимо для широкой публики — следует Павел Васильевич Анненков (род. 1812, † 1887 г.), выпустивший в 1855 г. знаменитые и составившие эпоху в изучении великого поэта «Материалы для биографии Пушкина», представлявшие в их первом издании дополнительный том к собранию сочинений Пушкина.

Первоначальный пушкинизм, в лице В. П. Гаевского (за которым гораздо позже на поприще пушкиноведения последовал другой лицеист, значительно старший его, ученый языковед и историк литературы, академик Я. К. Грот, род. 1812, † 1893 г.), есть явление, если можно так выразиться, *лицейского* происхождения, есть обнаружение *культа Пушкина не только как поэта, но и как лицеиста.*

Имена Гаевского и Анненкова вызывают во мне невольно одно воспоминание детства. В. П. Гаевского я видел в конце 70-х г.г. в доме своих родителей — он был товарищем моего отца по Александровскому лицею. Мне на всю жизнь запомнилось умное лицо Гаевского, с бородой, делавшей его весьма похожим на Некрасова: это сходство тогда же бросилось в глаза всей нашей семье — ведь лицо Некрасова по портретам было в те времена известно всему образованному русскому обществу. Запомнилось мне еще и то, что родители мои отзывались с величайшим почтением о

литературных трудах и интересах В. П. Гаевского, именно как лицеиста, посвятившего себя изучению Пушкина и его эпохи, и что не кто иной как Гаевский присоветовал моей матери в качестве подарка моим старшим братьям купить «Материалы для биографии Пушкина» П. В. Анненкова и «Историю русской литературы» П. Н. Полевого. Гаевский был женат на сестре Полевого. П. Н. Полевой, родившийся в 1839 г. и скончавшийся уже в XX столетии, одно время был профессором Варшавского Университета. Но его академическая карьера не удалась. П. Н. Полевой был сыном знаменитого журналиста, издателя-редактора «Московского Телеграфа» Николая А. Полевого, к которому Пушкин сначала относился сочувственно, а потом враждебно (и, нужно сказать правду, довольно несправедливо!), и племянником оставившего о Пушкине ценные воспоминания, тоже журналиста, Ксенофонта Полевого, которого Пушкин называет в своих письмах «Ксенофонтом Телеграфом». В свое время названная выше книга Полевого-сына была лучшим общедоступным обзором истории русской литературы. Эти две книги, вместе с первым изданием (казенным) собрания сочинений Пушкина, столь памятным своей превосходной бумагой и великолепным шрифтом, стали любимым чтением в нашей семье и утвердили в ней сознательный культ Пушкина.

Говоря о Гаевском и Анненкове (странные и несостоятельные приемы последнего в качестве издателя Пушкина не умаляют его огромных заслуг в области пушкиноведения!), как о зачинателях пушкиноведения, я должен сделать оговорку: рядом с ними и, быть может, перед ними надлежит поставить еще коллективного пушкиниста — журнал «Москвитянин» Погодина. Кто в нем нарочито культивировал «пушкинизм» — сам Погодин, или С. П. Шевырев, который, вместе с Погодиным же, Бестужевым, Плетневым и Вяземским, принадлежал к числу первых, понявших нацио-

нальное и историческое значение Пушкина[2]), — об этом я не берусь сейчас судить без специального обследования. Повидимому, оба, и Погодин и Шевырев, тут сыграли значительную роль, причем отчасти и, может быть, в значительной мере, посредничеству первого и влиянию второго пушкиноведение обязано тем, что пушкинистами сделались два воспитанника Московского Университета и ученики С. П. Шевырева, Петр Иванович Бартенев и Николай Саввич Тихонравов, знаменитый впоследствии профессор и ректор Московского Университета.

И Погодин, и Шевырев были современниками и друзьями Пушкина. Таким образом, в лице коллективного пушкиниста «Москвитянина»[3]) пушкинизм примыкает не к петербургской лицейской традиции, а к той московской журналистически-ученой традиции, которой первым выразителем был «Московский Вестник» Погодина и Шевырева. Известно, какое важное значение для этого, впрочем неудавшегося, журнала имело сочувствие и сотрудничество самого Пушкина.

Рядом с Гаевским, который в жизни был сперва чиновником Министерства Народного Просвещения, испортившим себе карьеру сношениями с Герценом, а потом удачливым адвокатом, присяжным поверенным округа СПБ судебной палаты, и Анненковым, в истории изысканий о Пушкине и его времени следует поставить П. И. Бартенева (род. в 1829 г.), упорного и суетливого собирателя исторических материалов, редакто-

---

[2]) Это Шевырев в 1828 г. сказал об «Евгении Онегине»: «Онегин есть феномен в истории русского языка и стихосложения».

[3]) Для этого раннего коллективного пушкинизма весьма характерен отдел «Исторические материалы» в мартовской книжке «Москвитянина» за 1854 г. (вышедшей, конечно, как всегда, с огромным запозданием). Эти материалы все, за исключением одной вещи, посвящены Пушкину и сообщены Погодиным, Тихонравовым и Шевыревым.

ра-издателя, или, как он сам называл себя, «составителя» «Русского Архива».

Бартенев, прямой ученик Шевырева, всецело примыкает к погодино-шевыревской московской или, точнее, «москвитянинской» традиции пушкиноведения. В качестве пушкиниста, он заявил себя в кругу друзей Пушкина одновременно с Анненковым и почти, я бы сказал, как его конкурент, — роль эта для Бартенева была вполне естественна, ибо Анненков, как известно, довольно случайно, о чем он сам рассказал в своих воспоминаниях, стал редактором собрания сочинений Пушкина и его биографом, тогда как гораздо более молодой Бартенев еще студентом (в Московский Университет он поступил в 1847 г.) замыслил стать биографом и истолкователем Пушкина и за это дело принялся даже раньше Анненкова [4]). Некоторые (неполные) указания на Анненкова и Бартенева, как первых пушкинистов, можно найти во вступительной статье и примечаниях М. Цявловского к изданию «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851-1860 годах» (издательство М. и С. Сабашниковых, Москва, 1925 г.). Нет, однако, у г. Цявловского указаний на *непререкаемый приоритет* по «пушкинизму» лицеиста В. П. Гаевского. Между прочим, Гаевский в своем, напечатанном в «Отечественных Записках» (1853 г., июль) разборе «биографического известия» о Пушкине его брата Льва Сергеевича («Москвитянин», 1853 г., май), отметил, что инициалы П. Б., под которыми печатались в то время пушкинистские статьи Бартенева, принадлежат, «как говорят, одному из молодых любителей русской литературы, занимающемуся специальным изучением Пушкина». В это время Бартеневу было 24, а самому Гаевскому 26 лет!

Повидимому, вследствие изумительной беспоря-

---

[4]) Это можно показать на основании точной хронологии их публикаций.

дочности Погодина, как редактора, и других его неприятных свойств [5]), Бартенев еще в 1853 году перенес свои публикации в «Отечественные Записки», где и появилась в ноябрьской книжке его известная работа «Род и детство Пушкина», которую в следующем году, в январской книжке того же журнала, нарочито отметил Гаевский, сказав, что только указанной статьей Бартенев «является впервые на этом поприще с подписью имени и трудом, составляющим нечто целое.... можно ожидать самых полезных результатов для истории русской литературы от деятельности г. Бартенева». Так один молодой пушкинист почти 80 лет тому назад поощрял другого! Близость В. П. Гаевского к «Отечественным Запискам» и умелое ведение дела редакцией петербургского журнала имели своим результатом то, что центр этого раннего пушкинизма из Москвы переместился в Петербург, и первенство в нем от журнала Погодина к журналу Краевского. К пушкинизму, по существу, относятся и некоторые ранние самостоятельные труды известного составителя учебников и хрестоматий А. Д. Галахова, прежде всего его превосходная монография о Жуковском («Отечественные Записки», 1852, ноябрь, и 1853, июнь и декабрь), замечательная, между прочим, своей библиографией. Но, поскольку «пушкинизм» есть лишь особая область истории новой русской литературы, а первым настоящим ее историком был не кто иной, как князь П. А. Вяземский, в качестве автора замечательной, образцовой для своего времени, монографии о Фонвизине, то нельзя не сказать, что непосредственно и в общем смысле именно этот соратник Пушкина и участник

---

[5]) Эти неприятные свойства привели к тому, что в это же время Н. С. Тихонравов **совершенно порвал с Погодиным**, поместив в связи с его работой о Ф. В. Ростопчине резкую отповедь Погодину, напечатанную в «Библиографической Хронике» «Отечественных Записок» (ноябрь, стр. 49-52 этого отдела).

его жизни и творчества является как бы родоначальником «пушкинизма».

❦

Из относительно ранних, по сравнению с нашим временем, пушкинистов мне хотелось бы назвать еще покойного *В. П. Авенариуса.*

В литературе о Пушкине он известен своими замечательными, превосходно написанными повестями для юношества из жизни Пушкина: этими произведениями русское подрастающее поколение 80-х и 90-х г.г. XIX века прямо зачитывалось. Но мало кому известно и, может быть, даже совершенно забыто, что эти беллетристические произведения были как бы «стружками» от огромной биографической работы о Пушкине, над которой Авенариус трудился много лет и богатые материалы для которой, кажется, почти совершенно разработанные, сделались жертвой пожара, уничтожившего деревенскую усадьбу или дачу Авенариуса (где-то, помнится, в Новгородской губ.). Я живо помню рассказ об этом несчастье моего покойного старшего брата Василия Бернгардовича, у которого я встречал Авенариуса и который был сослуживцем его по учреждениям Императрицы Марии — мой брат слышал от самого Авенариуса печальную повесть о пожаре, истребившем его широко задуманную биографию Пушкина.

❦

В новейшей литературе о Пушкине совершенно особое место занимают два капитальных издания.

Это, с одной стороны, собрание подлинных показаний о Пушкине, составленное известным писателем В. В. Вересаевым: «Пушкин в жизни» (Систематический свод подлинных свидетельств современников.

Вып. I, Изд. 3-ье, М., 1928. Вып. II, изд. 2-ое, М., 1927. Вып. III, изд. 2-ое, М. 1927. Вып. IV, М. 1927. Издательство «Недра»). Хрестоматия Вересаева — труд действительно капитальный, исполненный чрезвычайно внимательно и умно и прямо неоценимый для всякого, кто хочет изучить и знать жизнь Пушкина по первоисточникам.

Но в эту поучительную и почти исчерпывающую хрестоматию не вошли поэтические свидетельства Пушкина о самом себе. Выдержки же из писем самого Пушкина входят в вересаевскую хрестоматию, но эти выдержки, конечно, не могут заменить собрания писем великого поэта. Письма самого Пушкина собраны — кроме академического издания, содержащего и письма к Пушкину — в образцовом специальном издании, сделанном лучшим, бесспорно основательнейшим и добросовестнейшим из новейших пушкинистов, не так давно скончавшимся Б. Л. Модзалевским. Это издание, два тома которого доходят до 1830 года [6]), в своих изумительных по богатству содержания и точности данных примечаниях, есть самый основательный труд во всей вообще литературе русского пушкиноведения. Примечания Модзалевского к письмам Пушкина можно — mutatis mutandis — сопоставить с примечаниями Карамзина к его «Истории Государства Российского». Жаль, что указатель к изданию Модзалевского не стоит на высоте рецензированного когда-то Пушкиным Строевского «Ключа» к «Истории» Карамзина! Как бы то ни было, примечания Модзалевского — неоценимый кладезь сведений и справок по истории русской литературы Пушкинской эпохи, без внимательного «штудирования» которого впредь не может обойтись никто, желающий действительно изучить эту эпоху.

---

6) Пушкин. **Письма.** Под редакцией и с примечаниями **Б. Л. Модзалевского.** Том I. 1815-1825. Стр. XLVIII+530. Том II. 1826-1830. Стр. IV+579. Москва 1928.

Хрестоматия Вересаева, как свод показаний, нуждающихся в внимательнейшей и перекрестной проверке и намеренно не сведенных ни к какому единству, и богатейший материал примечаний Модзалевского к его критическому изданию писем Пушкина, конечно, не по зубам среднему рядовому читателю, не задающемуся целями изучения. Для такого читателя полезное и приятное чтение дает занимательно и бойко написанная книга известной писательницы А. В. Тырковой-Вильямс «Жизнь Пушкина», том первый: 1799-1824, стр. 431. Париж 1929. Несколько критических замечаний об этой книжке я предложу читателям в следующей статье.

Белград.

Сентябрь 1931 г.

ОБ ОДНОМ АЛЬБОМЕ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ

Кн. П. А. Вяземский написал в 1830 году в альбом поэтессе Каролине Яниш, приобретшей известность под фамилией Павловой (она была замужем за новеллистом и публицистом Н. Ф. Павловым):

С стесненным чувством я смотрю на ваш альбом;
Кидает он меня и в жар и в трепет.
Вхожу в него, как входит в знатный дом
Простолюдин...

Это была для Вяземского напускная и преувеличенная скромность: в 1830 году Вяземский был уже довольно известным поэтом и писателем, мишенью вражеских хулений и предметом дружеских похвал. Недаром Пушкин о нем без всякого преувеличения написал в том же 1830 г.: «Критические статьи кн. Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но он заставляет мыслить».

То была эпоха, когда в моде были салоны и альбомы. Об одном, особо избранном, альбоме этого обильного дарованиями времени, за три года до написания своего стихотворения в альбом К. К. Яниш, русским читателям поведал тот же Вяземский. В 1827 г. он в «Московском Телеграфе» Полевого напечатал специальную статью об альбоме замечательной виртуозки,

польки Шимановской, придворной пианистки Императора Всероссийского [1]).

К этой статье были приложены факсимиле автографов Томаса Мура и Гете и подписей Александра Гумбольдта и Казимира Делавиня, а в тексте самой статьи были напечатаны вписанные в альбом стихотворения Байрона (Т. Мур вписал посвященные ему стихи автора «Чайльд-Гарольда»), Гете («Die Leidenschaft bringt Leiden — wo beschwichtigt»), Казимира Делавиня, Карамзина («Мы видим: счастья нет в мечтах земного света; есть счастье где-нибудь: нет тени без предмета»), Дениса Давыдова («Гусар»), И. И. Дмитриева («Таланты все в родстве, источник их один; для них повсюду мир; нет ни войны, ни грани; от Вислы до Невы, чрез гордый Аппенин, они взаимно шлют приязни братской дани» — характерная profession de foi поэтического пасифизма!) и Н. И. Гнедича.

Я вспомнил об этом альбоме, когда стал рассматривать интересный и с любовью составленный сборник «Статьи и материалы. Из чтений в кружке любителей русской старины» (Берлин, 1932 г. 94 стр.), где Н. В. Яковлев точно описывает известный уже раньше и, к сожалению, сохранившийся до нашего времени только в, так сказать, ощипанном виде замечательный альбом Елизаветы Алексеевны Карлгоф (по второму браку — Драшусовой). Это была талантливая женщина, первый муж которой был довольно известным в свое время писателем и кончил жизнь в Одессе в 1854 г. помощником попечителя учебного округа. Вторым браком Е. А. была замужем за профессором астрономии Московского Университета А. Н. Драшусовым. Она оставила любопытные воспоминания, напечатанные в 80-х гг. в «Русском Вестнике»; в этих

---

[1]) Я наткнулся на эту статью при просмотре «Московского Телеграфа», где она напечатана без подписи. Перепечатана она в томе II «Полного собрания сочинений» князя П. А. Вяземского, содержащем его статьи 1827-1851 гг.

воспоминаниях описан данный в 1836 г. супругами Карлгофами званый обед в честь партизана-поэта Д. В. Давыдова, обед, на котором присутствовала вся литературная «аристократия» С. Петербурга: кн. Вяземский, В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, Пушкин, бар. Е. Ф. Розен (драматург, автор либретто к «Жизни за Царя»), Тепляков (автор «Фракийских элегий»). Вообще у Карлгофов в Петербурге второй половины 30-х гг. был салон, в котором перебывало не только много людей, но куда заглядывали самые выдающиеся люди того времени. Такое же живое и интересное общение с выдающимися современниками Карлгофы поддерживали и заграницей во время своих поездок туда, и в Киеве, а затем в Одессе, куда их занесла служебная карьера В. И. Карлгофа. Но и после его смерти — в 1841 г. — в особенности до своего второго замужества — Е. А. Карлгоф продолжала живо общаться с выдающимися людьми разных профессий, интересов, направлений, национальностей. Памятником этого живого общения, продолжавшегося, повидимому, не менее 12 лет (первая запись в альбоме относится к 1832, а последняя к 1844 г.), и является недавно обнаруженный в Берлине альбом Е. А., составляющий собственность члена названного берлинского кружка Ю. С. Вейцмана и ныне, как мы уже сказали, с «дипломатической» (в научном смысле) тщательностью и точностью описанный и с знанием дела комментированный другим членом того же кружка, Н. В. Яковлевым. В этом альбоме нет уже некоторых ценных записей, в нем когда-то виденных теми, кто его раньше держал в руках: исчезли стихотворения и рисунки Лермонтова, нет записи Мицкевича — они исчезли, по-видимому, бесследно. Нет записи Мишлэ, но ее Е. А. Карлгоф-Драшусова воспроизвела в своих записках. Запись Пушкина (известное из публикаций М. Цявловского письмо к бар. Е. Ф. Розену, ср. в особенности «Письма Пушкина и к Пушкину», изданные Цявловским, Москва 1925, стр. 16 и 44) была теперешним

собственником альбома выделена из него и подарена покойному С. П. Дягилеву. Тем не менее и теперь альбом представляет весьма интересное и разнообразное собрание автографов: русских — В. Г. Бенедиктова, Н. В. Берга, декабриста А. А. Бестужева-Марлинского (письмо к брату П. А. из Геленджика, 15 марта 1836 г.), Ф. В. Булгарина, А. Ф. Вельтмана, П. А. Вяземского, Ф. Н. Глинки, Е. П. Гребенки, Н. И. Греча, Э. И. Губера, М. Д. Деларю, П. П. Ершова, В. А. Жуковского, А. К. Жуковского-Бернета, И. А. Крылова, И. И. Лажечникова, М. А. Максимовича, кн. В. Ф. Одоевского, Н. А. и К. А. Полевых, бар. Е. Ф. Розена, В. И. Соколовского, адм. А. С. Шишкова и др.; иностранных: принцессы Амалии Саксонской, Вяч. Ганки, бар. Августа фон Гакстгаузена, В. С. Караджича, Эдгара Кинэ, кардинала Меццофанти, гр. А. Пшездецкого, Людвига Тика, Л. Торвальдсена, Филарета Шаля, Павла Иосифа Шафарика, барона И. Х. Цедлитца (автора «Ночного смотра» и «Воздушного корабля»).

Жаль, что Н. В. Яковлев в своем превосходном по точности описании альбома Е. А. Карлгоф-Драшусовой не привел целиком всех вписанных в альбом стихотворений второстепенных и третьестепенных русских поэтов эпохи. Возможно, что некоторые из них нигде не были напечатаны. Так, по крайней мере, в томе IV «Полного собрания сочинений» кн. П. А. Вяземского, содержащем его стихотворения 1818-1855 гг. (СПБ., 1880), нет стихотворения из альбома Е. А. Карлгоф, помеченного 28 ноября 1837 г. и значащегося по описи Н. В. Яковлева под № 60 [2]).

Между тем, теперь мы научились исторически интересоваться всеми произведениями второстепенных, третьестепенных и т. д. поэтов и писателей, зная, как часто в них можно найти — я бы сказал — духовные

---

[2]) У меня, к сожалению, нет под руками позднейших томов «Собрания сочинений» Вяземского, где напечатаны позднейшие и позже обнаруженные стихотворения поэта.

толчки и словесные внушения, передававшиеся самым крупным творцам эпохи и вылившиеся затем в произведения, образующие знаменательные вехи литературного развития. Так, Пушкина нельзя *исторически* понимать, не зная, *что* и *как* его предваряют не только В. Л. Пушкин (дядя), Жуковский и Батюшков, но даже Милонов, Катенин и тот же Вяземский. «Реминисценции» или «припоминания» из этих трех последних авторов, сознанные или несознанные, наличествуют в творчестве нашего величайшего поэта.

Перепечатка всех заведомо не напечатанных еще или даже всех малодоступных русских стихотворений, вписанных в альбом Карлгоф-Драшусовой, не взяла бы много места, была бы весьма полезна для исследователей русской литературы и русского языка пушкинской эпохи и представила бы даже занимательное чтение просто любознательным читателям. Очень жаль, что г. Яковлев не дал такой перепечатки.

Как бы то ни было, весьма приятно отметить не только интересный вклад, сделанный Н. В. Яковлевым в изучение нашей поэзии и нашего литературного быта пушкинской эпохи, но и вообще появление в Берлине опрятно и даже изящно изданного содержательного сборника «Кружка любителей русской старины». К другим статьям этого сборника мы еще вернемся [3]).

---

[3]) Перечислим здесь лишь вошедшие в него статьи: **Л. С. Багров**. Приоритет открытия Амура, Татарского пролива и Сахалина; **Ю. С. Вейцман.** Речь Вл. Соловьева, сказанная... по поводу смерти Ф. М. Достоевского; **А. Г. Гаккель.** Образ трехглавой Троицы; **Л. С. Левенсон:** Национальная карта России XVII в. и ее автор — русский переводчик Великого Курфюрста, Э. Г. фон Берге; он же. Русское празднество в Берлине по случаю коронования Императрицы Елизаветы Петровны; **А. И. Лясковский.** Русские колонии в Германии; **С. О. Якобсон.** Письма К. П. Победоносцева к В. Ф. Пуцыковичу; **Н. В. Яковлев.** Альбом Е. А. Драшусовой (Карлгоф); **Перечень докладов,** сделанных в «Кружке любителей русской старины».

ГЕТЕ И ПУШКИН

Посвящается С. Л. Франку (Берлин)
и Г. А. Острогорскому (Бреславль)

Были ли они радственны по самой основе их поэтического творчества? — вот вопрос, который естественно поставить в год столетия смерти великого немецкого творца и на который я попытаюсь ответить в кратком очерке, родившемся из чтения и перечитывания за много лет и Гете, и Пушкина.

Поэтическое творчество таких писателей, как Гете и Пушкин, конечно, связано с их жизнью и с их личностью, как людей, а не только творцов. Оно как-то, в конечном счете, рождается из личных переживаний. Но было бы совершенно превратно это творчество — *целиком* выводить по содержанию из личных переживаний и по душевному типу сводить к остальным свойствам творца, как человека. Гете и Пушкин были творцами в подлинном смысле слова именно потому, что они, творя, свое личное победоносно переводили из области личных переживаний в область чего-то не безличного, которое всегда без-óбразно и потому поэтически безобразно, а в область общего, несомненного для неопределенного множества людей, этому множеству тоже дорогого, ими тоже, хотя и не так же, переживаемого.

Необычайно ярким и показательным примером такого перемещения из личной субъективной области в общую, или предметную, такой объективации пере-

живания является у Гете знаменитая вторая «Ночная песня Путника» («Ueber allen Gipfeln ist Ruh»), чисто личное, субъективное происхождение которой стало вполне ясно, когда сделалось известным письмо Гете к Карлотте фон Штейн из Ильменау от 6-го сентября 1780 г. и передача которой на русском языке Лермонтовым («Горные вершины спят во тьме ночной») являет едва ли не высочайший образец переводческого искусства во всей русской литературе. В этом переводе перед нами как бы двухстепенная объективация: объективация первичного восприятия, как оно дано у Гете, и объективация этого гетевского восприятия у Лермонтова.

У Пушкина мы имеем еще более разительный пример первичной объективации, в области совершенно, казалось бы, субъективной — чисто любовной лирики. Я имею в виду столь популярное, как романс, стихотворение: «Я помню чудное мгновенье». Теперь мы знаем, что тут перед нами не просто А. П. Керн и встреча с нею Пушкина, а совершенное *преображение* реального образа этой женщины и весьма земных отношений с нею Пушкина-человека в подлинное духовное ви́дение Пушкина-поэта.

Поэтическое перевоплощение, или преображение, художническая «объективация» как непосредственно личных, субъективных переживаний, так и всякого рода восприятий и созерцаний, до исторических включительно, есть основная черта творчества и Гете и Пушкина[1]).

Белинский, который, поскольку он не поддавался внушениям «общественной», тенденциозной идеологии,

---

1) Эту черту пушкинского творчества с его субъективно-психологической и в то же время национально-психологической стороны ярко изобразил Достоевский в своей знаменитой речи. Но как чисто эстетическое наблюдение и обобщение, эта характеристика пушкинского творчества была всецело предвосхищена и предначертана Белинским.

нередко изумительно чутко воспринимал и поэтическую красоту литературных произведений и художническую личность их творцов, подчеркнул однажды однородность поэтических гениев Шекспира и Пушкина — именно в усматриваемом мною смысле.

«Оставляя в стороне вопрос о превосходстве (которого мы и не думаем отрицать или оспаривать) Шекспира перед Пушкиным» — писал он в рецензии 1840 г. на № 3 «Пантеона русского и всех иностранных театров» — «можно смело сказать, что только слепые могут не видеть, что оба эти великие творения творческой силы принадлежат к одному разряду, суть явления родственные».

Белинскому же, давшему в свое время классическую по чуткости характеристику гения Гете, которая есть как бы истолкование в прозе лучшего в мировой литературе поэтического портрета Гете, начертанного в образцовом (так его и оценил Белинский) стихотворении Баратынского на смерть Гете[2]), принадлежит и сближение Гете и Пушкина: «Если с кем из великих европейских поэтов Пушкин имеет некоторое сходство, так более всего с Гете». И тут же Белинский, поясняя свою мысль, говорит: «Гете не просто изображал природу, а заставлял ее раскрывать перед ним ее заветные и сокровенные тайны... Для Гете природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была полная

---

[2]) Эта характеристика находится в столь известной, вернее, столь ославленной статье 1840 г. «Менцель, критик Гете»: «Гете был дух, во всем живший и все в себе ощущавший своим поэтическим ясновидением, следовательно — неспособный предаться никакой односторонности, ни пристать ни к какому исключительному учению, системе, партии. Он многосторонен, как природа, которой так страстно сочувствовал, которую так горячо любил и которую так глубоко понимал он». Статья эта одно из лучших, если не лучшее вообще, произведение Белинского, как художественного критика.

невыразимого, но безмолвного очарования живая картина» [3]).

Особенность пушкинского дара перевоплощения, которое у нашего великого поэта было подлинным поэтическим преображением, заключается не только и не просто в художнической способности, но и в том свойстве — возвышаться над собственной человеческой личностью, которое, будучи присуще Пушкину в такой исключительной мере, представляло изумительный феномен душевной жизни. Чудесное стихотворение «Поэт» («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон») есть подлинное признание, в котором поэт не только изображает некую объективную реальность, но также характеризует, описывает, точно до беспощадности, самого себя. Здесь — полное совпадение художественного объективизма с субъективной психологической правдивостью, и это литературное произведение является первостепенной ценности автобиографическим свидетельством, не заключающим ни малейшей натяжки, не то что преувеличения: вся жизнь Пушкина есть сплошной комментарий к этому стихотворению. Здесь не было раздвоения личности; это было именно — возвышение творца над самим собою, как человеком.

Не это ли свойство Пушкина прочел в его мертвом лике Жуковский, о чем он свидетельствует в бесподобном стихотворении, внушенном ему смертью великого ученика и друга?

Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив; голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза;

---

[3]) 1844 г. (в той рястянувшейся на время с 1843 по 1846 г. в «Отечественных Записках» монографии о Пушкине, которая составляет самый систематический и формально законченный труд знаменитого критика).

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслию, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним... И спросить мне хотелось:
что видишь?

Это же свойство Пушкина-творца, которое, видимо для других, проступило в его лице после смерти, было присуще и Гете. Иначе, чем Пушкину. Человеческая личность Гете была, даже в «забавах суетного света», быть может, менее удалена от высших творческих видений и помыслов поэта, чем то было у Пушкина. Она была во многих отношениях гораздо богаче, чем пушкинская, и более уравновешена при этом богатстве, являя в истории человеческого духа, рядом с Лейбницем, совершенно исключительный пример необъятного захвата, «мирообъемлющего», по выражению Белинского, дарования. Гете был не только поэт, но некий ни в какие рубрики не укладывающийся, универсальный творческий дух. Может быть, Пушкин приблизился бы к такому же захвату — в области человековедения по крайней мере — если бы он, физически совершенно здоровый человек, прожил столько же, сколько Гете, т. е. дожил до 1882 г. (значит, на год пережил бы Достоевского! В этом случае он все-таки не дожил бы до возраста, в котором скончался его друг, кн. П. А. Вяземский, родившийся в 1792 и умерший в 1878 году!).

Белинский упрекал Пушкина в том, что он, разбрасываясь, не весь и не сразу отдался поэтическому творчеству, как главному делу жизни, что он был «ленив», а потому сравнительно немного написал. Факт установлен правильно: по сравнению с Гете,

Гюго, не говоря уже о Вальтер-Скотте и сложившемся под его влиянием Бальзаке, Пушкин был автор — мало писавший и написавший. Но эта относительно незначительная количественная производительность стояла в связи с указанным мною свойством Пушкина — творчески возвышаться над собственною личностью. И в связи с этим свойством стоит то обстоятельство, что, с момента весьма рано наступившей зрелости, Пушкин больше уже не писал слабых вещей.

У Гете с его поразительной производительностью гораздо больше абсолютно и относительно (т. е. в отношении к вершинам его собственного творчества) слабых вещей, чем у Пушкина. Творчество великого немецкого поэта было гораздо богаче, но менее равномерно, и потому в целом менее сосредоточенно.

Этот характер пушкинского творчества объясняет нам, почему суд отдаленного потомства для Пушкина оказался гораздо более благоприятным, чем суд современников и, если можно так выразиться, — ближайших потомков. Достоевский вслед за Аполлоном Григорьевым и Н. Н. Страховым, в этом отношении решительно на него повлиявшими, ценил Пушкина выше, чем его ценил не только Иван Киреевский, но и Белинский (не говоря уже о таких тенденциозно-пошлых оценках, какую дал Кюстин). А мы (т. е. наши поколения), быть может еще выше, чем Достоевский, ценим и любим Пушкина.

Не только психологически-эстетически Пушкин сродни, «конгениален» Гете. Можно установить с полной несомненностью притяжение Пушкина к Гете и влияние последнего на нашего великого поэта. Пушкин ощущал «великого Гете» (подлинное выражение в заметке к стихотворению «Демон» 1824 г.), рядом с Шекспиром, как творца «исторической драмы» (разбор «Истории русского народа» Полевого, напечатанный в «Литературной Газете» 1830 г.) и как «романтического великана», дважды, по словам Пушкина, по-

разившего в «единоборстве» Байрона (напечатано при жизни Пушкина без подписи в «Северных Цветах» на 1828 г.), «другого властителя дум» того времени (кстати, это выражение, ставшее крылатым словом и — увы! — ходячей монетой, вычеканено Пушкиным в применении к Наполеону и Байрону — «К морю», 1824 г.).

Мы знаем теперь, как и когда Пушкин сознательно воспринял и отчетливо ощутил Гете. Это совершилось через московский круг любомудров, таких, как Веневитинов и В. Ф. Одоевский, тот круг, к которому духовно примыкали Погодин, Киреевский, Шевырев. Свидетельств об этом влиянии на Пушкина молодых московских писателей, среди которых процветало не только изучение немецкой философии, но и культ Гете (Веневитинов писал, что «новейшая философия в Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который одушевлял истинных ее поэтов, того же стремления к высокой цели, которое направляло полет Шиллера и Гете»), немало. Из них, кроме уже приведенных суждений Пушкина о Гете, несомненно внушенных великому поэту общением с московскими друзьями [1]), отметим лишь два.

Это, во-первых, общая оценка «московской словесности», данная в «Мыслях на дороге» (1833 г.):

> Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты, неоспоримо, на стороне Москвы.

---

[1]) Любопытно, впрочем, что лицейский товарищ Пушкина Дельвиг, по свидетельству самого же Пушкина, еще в школе «Клопштока, Шиллера и Гете прочел», с одним из своих товарищей, «живым лексиконом и вдохновенным комментатором». Из этого же источника мог и Пушкин почерпнуть свое первое знакомство с Гете.

Московский журнализм убьет петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке, о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частью неосновательно и поверхностно.

Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения.

Другое свидетельство, — это послание Веневитинова к Пушкину, в котором молодой московский поэт-любомудр, кстати один из первых переводчиков гетевского «Фауста» на русский язык, призывал автора «Бориса Годунова» к «хвалам» Байрону и Шенье присоединить поэтический привет Гете, которого Веневитинов, обращаясь к Пушкину, сознательно и демонстративно характеризует так: *«наставник наш, наставник твой»*.

И, конечно, Пушкин, как творец «Бориса Годунова», своим наставником имел не только Шекспира, но и автора «Гетца фон-Берлихингена» и «Эгмонта». Примечательно, что тот же Веневитинов во французской (не напечатанной при жизни) рецензии на первую опубликованную сцену из «Бориса Годунова» писал, в 1827 г.: « Cette scène frappante de simplicité et d'énergie peut être placée sans crainte au rang de tout ce que le

théâtre de Shakespeare et de Goethe nous offre de plus parfait».

Тут Веневитинов, так же точно как Пушкин, ставит Гете рядом с Шекспиром.

Приведу теперь целиком послание Веневитинова к Пушкину:

Известно мне: доступен Гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа,
И снисходительного слуха
Младую Музу удостой.
Когда пророк свободы смелый,
Тоской измученный поэт,
Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет,
И тень всемирныя печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи ему вослед [5]).
Ты дань принес увядшей силе
И славе на его могиле
Другое имя завещал [6]).
Ты тише, слаще воспевал
У муз похищенного Галла.
Волнуясь песнею твоей
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья [7]).

---

5) Тут речь идет о Байроне. — *П. С.*
6) Тут имеется в виду Шенье. — *П. С.*
7) Тут и дальше речь идет о Гете. — *П. С.*

Их ждет еще один певец:
Он наш, — жилец того же света,
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас,
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой.
И, может быть, тобой плененный,
Последним даром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
И к небу с песнею прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

Влияние Гете на конгениального ему великого русского поэта входит в общую историю взаимодейст- вия между немецкой и русской духовной культурой и есть один из ее интереснейших и значительнейших эпизодов в области литературной. Любопытно, что смена французских влияний на русскую литературу и культуру немецкими, отчетливо обозначившаяся именно к моменту окончательного созревания оригинального гения Пушкина и ранее и решительнее отразившаяся на таких писателях, как Жуковский, Веневитинов и В. Ф. Одоевский, этот русский Жан-

Поль-Рихтер (по характеристике Белинского), не ускользнула от внимания современных французских наблюдателей, как ни поверхностны были их наблюдения и как ни недостаточны были их знания русской действительности. Любопытный след этого мы находим в известных любопытных письмах о России, написанных в 1826 г. Ансло (Ancelot) *Six mois en Russie* (Париж, 1827), в том письме 33-м, где дается перевод «Светланы» Жуковского, «Кинжала» Пушкина (по рукописи и, конечно, без указания имени автора) и «Черепа» Баратынского [8]). Тут мы находим такие строки:

> До сих пор она (русская литература) с большой верностью (fidèlement) воспроизводила формы, физиономию и даже предрассудки нашей. С некоторого времени русские поэты, повидимому, желают оставить пути классицизма, для того, чтобы искать себе образцов в Германии и в этом отношении они опять-таки подражают нам самим (ils ne font encore que nous imiter). Первая из предлагаемых здесь пьес («Светлана» Жуковского) составлена в стиле немецких баллад; но автор весьма разумно заимствовал свой сюжет в суевериях Московии и если форма этого произведения иностранная, то, по крайней мере, содержание его национально.

Замечания поверхностного француза, в сущности, устанавливают факт рождения, под немецкими (английских он не заметил) влияниями, русского «романтизма».

И, конечно, хотя Гете не был «романтиком», но та немецкая литература, которая, прежде и больше всего в лице Шиллера, так могущественно влияла на Жуковского, была немыслима без Гете, так же как —

---

8) Повидимому, Ансло смешивал фамилии «Баратынский и «Барятинский». Автора «Черепа» он называет «le jeune prince Bariatinsky».

по верному замечанию Белинского — «без Жуковского мы не имели бы Пушкина». А благодаря Жуковскому — скажем опять-таки с тем же Белинским — «немецкая поэзия — нам родная, и мы умеем понимать ее без того усилия, которое условливается чуждою национальностью». И хотя Жуковский был проводником, главным образом, поэзии Шиллера и затем Уланда, но — через общее влияние Жуковского — на Пушкина, несомненно, влиял и Гете. Влиял именно потому, что он по своему духу был более, чем Шиллер, конгениален нашему великому поэту.

Правда, между ним и великим олимпийцем была разница возрастов ровно в 50 лет. Эта разница имеет реальное духовное значение, которое можно выразить в такой формуле:

Гете был еще, и в немалой степени, человеком XVIII века, чем Пушкин вовсе не был, хотя он духовно вырос в значительной мере на французской литературе XVIII века.

По своему духу Пушкин был всецело человек XIX в., чуждый совершенно и рационализма и сентиментализма XVIII века. В особенности разительно и примечательно — именно в виду личной и духовной связи Пушкина с Карамзиным и Жуковским — отсутствие в пушкинском духе всякого сентиментализма, который, как одна из стихий (и притом могущественная), вошел, конечно, в необъятно богатое духовное содержание Гете. В этом отношении Жуковский был ближе Пушкина к Гете, но именно — историческому содержанию Гетевского духа, а не к его вечному ядру, к способности и дару художнического перевоплощения, покоящегося на перемещении духовных содержаний из области личного, субъективного и спорного в сферу общего, объективного и неотразимого.

В этом Пушкин сродни и близок Гете.

Париж, 20 октября 1932 г.

II

СТАТЬИ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII и XIX века

РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ОКЛЕВЕТАННЫЙ ВЕК

К 200-летию рождения Екатерины II и к 100-летию кончины А. С. Грибоедова

Общераспространенный взгляд рассматривает и обычное понимание воспринимает русский XVIII век, как век преобладания иностранных влияний, как некое противоположение, антитезу национальному направлению в быте, в культуре, в политике.

Скороспелое суждение, основанное на пристрастных обличениях современников и коренящееся в незнании подлинной истории. Этому суждению должно быть противопоставлено совершенно обратное утверждение, что русский XVIII век был веком глубоко и сознательно национальным, положившим основу и русской литературе, и тому великому, свободному и могучему языку, в какой сложился язык Крылова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева.

Самым ярким доказательством, если можно так выразиться, навсегда *живым памятником* притягательной и образующей силы русской культуры является Екатерина II. Екатерина II была изумительной работницей — на ее рабочую силу с завистью взирал даже «великий Фритц», Фридрих II Прусский. И вот, умная и до гениальности одаренная немочка, волею судеб и своей неукротимой тяги к властвованию работой и к работе властвованием, погрузившись в русскую государственность и в русский быт, вышла из этой бани водной не только великой Императрицей,

но и русским по всему своему душевному и духовному облику человеком. Русская культура усвоила и покорила себе Екатерину II.

Но это не единичный факт. Это — грандиозный символ национального призвания и национального творчества русского XVIII-го века.

Этот век вовсе не означает разрыва со всем тем, что было великого и сильного в Московской Руси, вовсе не означает обиностранивания высших классов и их удаления от народа и народного быта!

Совсем наоборот!

Здесь есть одно безошибочное мерило, один непререкаемый показатель: язык.

До XVIII-го века не существовало русского национально-литературного языка: было два письменных языка — книжный и приказный. Второй был гораздо ближе к языку народному или разговорному всех классов населения, чем первый, который представлял юго-западную, пронизанную полонизмами, обработку церковно-славянского языка.

И вот, если вы возьмете Тредьяковского (род. 1703, † 1769) и даже Ломоносова (род. 1711, † 1765) и сопоставите их язык с языком Екатерины II, вы будете поражены, в какой мере в общем живее, проще, народнее пишет по-русски Екатерина II, чем эти ученые академики, чистые русаки, из которых Ломоносов был вторым русским академиком (первым был математик В. Е. Ададуров, потом куратор Московского Университета), а Тредьяковский — четвертым (перед ним, но после Ломоносова вступил в Академию ботаник Г. Н. Теплов, потом сенатор и член Коммерц-Коллегии).

Это было у Екатерины II сознательным достижением. Недаром она запечатлела следующие правила в своем фантастическом литературном завещании:

Писав думать не долго и не много, наипаче не потеть над словами. — Краткие и ясные изражения предпочитать длинным и кругловатым. — Кто писать будет, тому думать по-русски. — Иностранные слова заменить русскими, а из иностранных языков не занимать слов, ибо наш язык и без того довольно богат. — Красноречия не употреблять нигде, разве само собою на конце пера явится. — Слова класть ясные и, буде можно, самотеки. — Ходулей не употреблять, где ноги могут служить, то есть надутых и высокопарных слов не употреблять, где пристойнее, приличнее, приятнее и звучнее обыкновенные будут.

Писательница Екатерина II в истории русской литературы имеет значение не как большое дарование, не как пролагательница новых путей, а именно как показательный пример, многозначительная веха огромного национального дела, совершенного XVIII веком, дела освоения и претворения народных элементов в живую ткань русской образованности. Этим Екатерина II вдвигается в ту цепь духовно-культурного развития, которая от Тредьяковского и Ломоносова, через Сумарокова, Лукина, Фонвизина, Хемницера, Крылова, Богдановича, Чулкова, Новикова, Карамзина, Жуковского, Батюшкова ведет к Пушкину, Грибоедову, Гоголю, Сергею Аксакову.

Русский XVIII век любил и любовно возделывал народность, как глубинную национально-культурную стихию языка и слова, и он ввел эту стихию в духовный оборот образованного русского человека. В начале 70-х г.г. XVIII века, в расцвет Екатерининской эпохи, выходили небольшого формата книжки, носившие скромное название: «Собрание разных песен».

Таких книжек вышло четыре. Их издателем был М. Д. Чулков, актер, образованный и живой журналист, историк-компилятор, но совсем средний человек,

которому было далеко до таких людей, как Ломоносов, Державин, Фонвизин, И. Н. Болтин, Радищев.

Но *это издание было, в культурно-историческом отношении, самым важным печатным произведением, появившимся в России XVIII-го столетия.* Оно знаменовало, с одной стороны, обретение образованным классом подлинной стихии народности, с другой стороны, нисхождение новой образованности, новых вкусов, в народную толщу. В самом деле, мы не знаем, кто был автором песни «Вниз по матушке по Волге», и не знаем, был ли у этого произведения, такого, каким мы его имеем, индивидуальный автор, но напечатано оно было впервые и распространилось среди миллионов русских людей во 2-й части Чулковского «Собрания» (под № 190). Эта и множество других песен, любовно собранных и изданных Михаилом Чулковым, знаменует запас образов, мыслей, характеристик, слов, которые стали о б щ и м и для всех слоев населения, общенародными, или национальными. Конечно, в одних песнях больше, в других меньше этого абсолютно общенародного словесного капитала, но его наличность и значительность во всем «Собрании» разительна. Вот где, прямо или косвенно, гений Пушкина черпал народность своего творчества, своих образов и своего языка, и, конечно, «Собрание» Чулкова в развитии русского литературного языка и даже стиля сыграло неизмеримо большую роль, чем все, написанное Державиным и Карамзиным, как бы высоко ни оценивать значение их деятельности.

Но и по историческому содержанию и колориту это «собрание» раскрывает перед нами национальное лицо ославленного за свою безнациональность русского XVIII века. Соборное народное творчество Чулковских сборников отразило в себе и былинные воспоминания о древней Киевской и Московской Руси, и героическую эпоху Петра Великого, и полную национальной значительности Екатерининскую современ-

ность. Здесь и Киев, и Москва, и Санктпитер («как во городе во Санктпитере»), и Иван Грозный с Малютою, и Стенька Разин, и боярин генерал Борис Петрович Шереметев, и гр. П. А. Румянцев («как возговорил Румянцев Граф»), и Долгоруков-Крымский («где ни взялся Долгоруков Князь»), и гр. Фермор, и гр. Н. И. Панин («О ты крепкий, крепкий Бендер град / Ты разумный, храбрый Панин Граф»).

Собрание Чулкова имело такой успех, что физически пало жертвой своей популярности. Читатели читали первое издание этого сборника так основательно, что истребили его экземпляры — 3-ей части сохранился один экземпляр, 4-й, до 1912 г., по крайней мере, не было найдено ни одного экземпляра.

Дело Чулкова продолжал Новиков, издательская деятельность которого есть в области книгоиздательства явление беспримерное во всей мировой истории и в истории русской культуры прямо составила эпоху по тому огромному образовательному материалу, который Новиков пустил в оборот. Культурное значение Московского Университета в XVIII-м веке определяется в значительной мере тем, что в связи с Университетом, опираясь на него и умственно питая его, действовал Новиков-издатель.

Печальна судьба, постигшая Новикова и его дело в последние реакционные годы царствования Екатерины II, но этот финал не мог ни парализовать, ни умалить огромного Новиковского дела, ставшего возможным благодаря относительной свободе книгопечатания, установленной писательницей-императрицей, и ее же интересу к издательству Новикова.

Московский Университет, при самом его основании, имел в своем составе несколько русских профессоров, и сразу же его глава гр. И. И. Шувалов принял меры к образованию дальнейшего кадра преподавателей, кровно-органически связанных со страной. Это он

послал в Великобританию учиться юристов Третьякова и Десницкого, ставших учениками Адама Смита в Глазго, а когда они вернулись на родину, Екатерина в 1768 г. установила в принципе, что преподавание должно в русском университете вестись на русском языке. В 1767 г., когда в Москве заседала Комиссия о сочинении проекта Нового Уложения, Екатерина II указала, что «в Университете пристойнее бы читать лекции на русском языке, а особливо юриспруденцию», и предписала «о том стараться». Эту задачу Десницкий, повидимому, блистательно осуществлял в течение своего почти 20-летнего профессорства, и он же «по всевысочайшему повелению великой законодательницы» перевел с небольшими, но весьма интересными примечаниями, Блэкстонов комментарий к английским законам. Так, возделывая народную стихию и воспитывая национальное самосознание, XVIII век смело черпал из богатой сокровищницы общечеловеческой культуры — перевод Блэкстона отнюдь не является единичным фактом и есть только яркий случай из целой огромной культурной, совершавшейся тогда и властью и обществом, работы.

Современники видели в этом здоровом культурном национализме особенность Екатерининской эпохи, в отличие от эпохи елизаветинской и предшествующих царствований. В этом они ошибались. Национально-культурно и государственно-строительно Екатерина II всецело стояла на плечах своих предшественников. Она только с бóльшим личным блеском и, как позже пришедшая на историческую сцену, с большей силой и зрелостью творила главное дело XVIII века, дело культурно-национального собирания русской стихии, взаимодействующей со всем богатством европейской образованности и в то же время любовно обращенной к прошлому. В царствование Екатерины II Россия просто духовно выростала и крепла, познавая свое прошлое и осознавая свое настоящее. В царство-

вание Екатерины II любовное обращение к национальному прошлому и ответственное осознание настоящего стало громко провозглашенным кличем, отчетливо начертанной программой.

Этот клич бросила сама Императрица, эту программу с разных концов и разных сторон осуществляли такие люди, как Чулков и Новиков, как Болтин и Мусин-Пушкин, как враждовавшие между собой Лукин и Фонвизин, как Державин и Богданович, как Десницкий и практический юрист Московского Университета Горюшкин.

Русское сознание крепло и оборачивалось на себя. Так в Екатерининскую эпоху зародилась осмысленная и деловая национальная реакция против обезьяннического западничества, реакция, главным выразителем которой был и историк-генерал Болтин. Заботясь о чистоте русского языка, Болтин продолжал, быть может, того не сознавая, дело враждовавших между собой Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова. В 1788 г. он писал:

> В царствование Елисаветы введено было в язык русский множество слов французских, не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что называется французским, но лет с двадцать странный сей вкус начал выходить из употребления... Не взирая, однако же, на всеобщее осмеяние и укоризну, довольно еще осталось таких, кои, будучи воспитаны в руках французских и научась от них от юности все русское презирать, не хотят узнать природного своего языка и, не умея на нем объясняться, мешают в разговоре своем половину слов французских. Знающие же природный свой язык, кроме необходимости, иностранных слов в разговоре не употребляют, а на письме и того меньше.

Рядом с Болтиным действовал граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, открывший и издавший «Слово о Полку Игореве», составивший для Екатерины II карту Польши с описанием границ древней России, враг «вредной галломании».

Для того, кто, зная XVIII век, читает «Горе от ума» Грибоедова, в тирадах Чацкого-Грибоедова бросается в глаза не новизна какая-либо, а наоборот, старина XVIII-го века, традиция этой глубоко критической и в то же время националистической эпохи.

Грибоедов, столетие со смерти которого совпало с двухсотлетием рождения Екатерины II, принадлежит к числу тех немногих русских писателей, которые, стоя на плечах XVIII века, духовно как бы перешагнули из XVIII прямо в XIX. Этим он, автор *единственного* произведения — «Горе от ума», отличается от Карамзина, Жуковского и Пушкина и этим он сродни Крылову и С. Т. Аксакову. Как творец этого произведения, Грибоедов подхватывает нить, идущую от Екатерины II, Лукина, Фонвизина, Капниста, Болтина, Мусина-Пушкина. Слащавому сентиментализму и слабонервному романтизму начала XIX века он бросает в лицо свою гениальную патриотическую сатиру и, подобно Екатерине II и подлинным екатерининским птенцам, перо литературное, не колеблясь, но не случайно, а сознательно меняет на перо государственного деятеля.

Так в национальном делании, словесном и государственном, смыкаются две великие эпохи: Екатерины II и Николая I.

Грибоедов — живое воплощение этой связи.

Белград

30 мая 1929 г.

ЛИЦО И ГЕНИЙ ГРИБОЕДОВА

Речь, произнесенная на грибоедовском вечере Белградского Союза Русских Писателей и Журналистов

Лицо — это человек, как человек, как личность, совершенно независимо от того, что и как эта личность творила и творит.

Гений — это творящий и творческий «демон» человека, то, что он воплощает, в чем он вовне воплощается.

Можно быть лицом, и очень крупным, и никогда ничего не сотворить, ни во что не воплотиться.

И, с другой стороны, гений человека может быть единственно *ярким,* единственно интересным и прочным во всей его личности, в его лице, и вне своего творчества человек может быть скуден и скучен, убог и бледен.

Великие творцы всегда ясно ощущали, что лицо и гений как-то в них различествуют, хотя как-то друг на друга и опираются, и указуют. У них, у великих творцов наибольшее расстояние между лицом *живущим* и гением творящим, между пустотою жизни и наполненностью творчества. Это не значит, что всегда их жизнь скудна. Наоборот, и жизнь великого творца может быть, даже должна быть иногда насыщена и до краев наполнена, и, живя, творец вовсе не всегда в «забавы суетного света» «малодушно погружен». Но все-таки в своем «Поэте» Пушкин оставил нам истин-

ный (т. е. объективно-верный) образ двойственного бытия в одном человеке лица и гения, и правдивое (т. е. субъективно-верное) признание двойственности собственного бытия: «Меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» — это Пушкин сказал не только о поэте, но и о себе, и именно о себе. Лицо творца часто живет той жизнью, которую тот же Пушкин в другом, менее популярном, но не менее замечательном, стихотворении назвал *«пустынной»* и от которой он со «святым волненьем» уходил, оставляя «людское стадо», чтобы «беседовать один с самим собой» и вкушать в этой беседе «часы неизъяснимых наслаждений». В этом глубочайший смысл пушкинского завета «чтить самого себя». Это значит — в своем многоликом «я» отстаивать и блюсти свой творческий гений, живущий в «небесной глубине» и лелеющий «несмертные таинственные чувства».

Лица Грибоедова мы имеем два поэтических изображения.

Одно, в стихах, принадлежит Баратынскому, и так и озаглавлено: «К портрету Грибоедова»:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет.
Но нам на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Другое изображение, в прозе, принадлежит не кому иному, как Пушкину.

«Мы ленивы и не любопытны». Это крылатое слово обличения и самообличения заключает тот рассказ о встрече с телом Грибоедова, который мы находим в «Путешествии в Арзрум» и в который вставлена неза-

бываемая по благородной силе и сияющей меткости характеристика автора «Горя от ума».

«Меланхолический характер», «озлобленный ум», соединенный с «добродушием», «слабостями и пороками», с «холодной и блестящей храбростью», с «честолюбием», которое стояло «на уровне большого дарования», — вот как рисует лицо Грибоедова Пушкин.

Ум, холод, воля.

Такими свойствами был отмечен этот *«необыкновенный человек»*, как его охарактеризовал Пушкин, сам «умнейший человек в России». (Кстати — кто назвал так Пушкина? Николай I, которого хамская и лживая легенда до сих пор изображает мучителем Пушкина).

Но холодный ум, в котором оледенел «ярый ток» страстей, не только не принижал и не понижал душу необыкновенного человека. Наоборот, закалившись и отвердев, эта душа возвысилась. Совладав со страстями, она приобрела способность глубоко и прочно любить. Вряд ли Пушкин был прав, говоря о «добродушии» Грибоедова. Но мы знаем его *доброту*, которую познали его друзья, доброту стойкую и твердую, которую испытали такие люди, как декабристы Кюхельбекер и князь Александр Одоевский.

Явившись участником сложной любовной истории и, повидимому, действительным совиновником последовавшей за ней дуэли, имевшей смертельный исход, этот холодный человек, которого обуревали страсти, не просто «остепенился», не просто рассчитался с увлечениями молодости и отделался от них. Он испытал целый душевный переворот, из которого вышел не только закаленным, но и очищенным. Его воля овладела страстями, подчинившись высшему началу — *религии*. Его честолюбие из узкого себялюбивого чувства и неосмысленной бытовой привычки среды превратилось в настоящее патриотическое горение.

О *религиозности* Грибоедова сохранилось трогательное свидетельство, письмо декабриста Кюхельбекера к нему, тайком посланное из Дюнабургской крепости и кончавшееся так: «Прости! До свиданья в том мире, в который ты первый вновь заставил меня верить». Письмо это было перехвачено, Кюхельбекера допрашивали, и он в показании подтвердил, что Грибоедову «одолжен в особенности величайшим благодеянием, о коем он говорит в конце письма».

О *патриотизме* Грибоедова, запечатленном его трагической гибелью на посту стража русской мощи и русской чести, сохранилось свидетельство другого современника: «Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию».

Таков был этот человек, в котором жила суровая верность долгу, который ясно видел — это его собственные слова, — что «*нас* цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно».

И вот мы видим тут, как из-за лица офицера, чиновника, литератора выступает гений патриота и писателя.

Я, быть может, удивлю вас, если скажу: не как человек, не как лицо, а как патриот и деятель — а таковой является всегда творцом и всегда внушаем гением — Грибоедов был гораздо больше и сильнее, чем как писатель.

Но для потомства гений Грибоедова все-таки воплотился в его писательстве, и потому мы с вами должны теперь обратиться к Грибоедову как к писателю.

Но тут-то мы и испытываем странное затруднение и недоумение.

Собственно говоря, Грибоедов вовсе не был писа-

телем, писателем-художником, как другие русские великие писатели.

Он был прежде всего — *умным человеком.*

И тут, как ко многому другому, ключ дает ясновидение Пушкина.

Прочтите письмо к А. А. Бестужеву (из Михайловского, конец января 1825 г.), где Пушкин говорит: «В комедии “Горе от ума” кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли что́ такое Чацкий? Пылкий, благородный молодой человек и добрый малый, проведший несколько времени с *очень умным человеком* (именно с Грибоедовым) и напитанный его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями... О стихах я не говорю, половина должна войти в пословицы».

В чем в самом деле состояло писательское дарование Грибоедова, единственным памятником которого осталось «Горе от ума»?

Оно состояло прежде всего в искусстве *меткого слова,* — эпиграммы, в первоначальном историко-литературном смысле этого слова, и затем в изумительной передаче *виденного и слышанного.*

В истории нашей литературы, кроме Грибоедова, есть еще два исключительных мастера меткого слова, в творчестве которых это искусство разительно преобладает над всеми другими: И. А. Крылов, к которому из всех крупных русских авторов всего ближе Грибоедов, и кн. П. А. Вяземский — недаром его эпиграмматические стихи Пушкин брал эпиграфами к своим произведениям.

Грибоедов был писатель-*эпиграмматист* и писатель-*наблюдатель,* творец насыщенных мыслью слов и — мыслей, заостренных в меткие слова, — и в то же время сатирик-портретист. Ему не был дан дар ни творить образы, ни выражать в художественных образах чувства. Словом, он не был художником в том под-

линном смысле слова, в каком художниками были Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский. У него не было вдохновения, не было фантазии, или воображения. Но зато у него был меткий ум и острый взор.

Неслучайно в том, что осталось от Грибоедова, как его литературное наследие, нет ничего сколько-нибудь значительного, кроме «Горя от ума». И замечательно: нет даже метких слов и нет подмеченной и подслушанной жизни.

Это также неслучайно, ибо «Горе от ума» не есть плод вдохновения. Это плод мысли и напряженного, редкостного в истории литературы вообще, труда. Нельзя труд, который Грибоедов употребил на писание «Горя от ума», приравнивать к труду Пушкина, Толстого, Флобера — я беру как раз авторов, которые особенно много и упорно работали над своими произведениями — это труд совершенно особого порядка: труд, от которого *отдает*, правда, не потом, но *огромной*, не знающей себе пределов, *волей умного человека*, решившего воплотить свой ум в изображение виденных им людей и слышанных им речей.

Ум и воля преодолели в Грибоедове, авторе «Горя от ума», его литературную серость и посредственность и дали изумительное произведение, значение и место которого исключительны в истории русского словесного искусства.

Для того, чтобы понять, что это так, нужно вдуматься в «Горе от ума», как в произведение.

Действующие лица «Горя от ума» — художественные образы только потому и в том смысле, что это — мастерские *портреты*, написанные *умнейшим* человеком и истолкованные *метчайшим* словом.

Что такое Грибоедовская Москва с исторической точки зрения? Мы теперь знаем ее по живым свидетельствам, по письмам, по дневникам, наконец по ге-

ниальной живописи Льва Толстого, который был близок к этой эпохе и все-таки находился от нее на расстоянии, позволявшем видеть то, чего не было видно вблизи. И потому мы созерцаем эту старую Москву тем историческим ви́дением, которое дается на расстоянии и которое не было дано современникам, и самому Грибоедову в том числе. Мы знаем, что Грибоедовская Москва это та же Москва, которую изобразил Лев Толстой в «Войне и мире». Но Грибоедов изобразил эту свою Москву, как сатирик и обличитель. Он не только изобразил, но истолковал, упростил, «стилизовал», окарикатурил ее.

И вот тут произошло подлинное *эстетическое чудо!*

Это чудо произвел огромный ум, соединенный с волей. Он возвысил сатиру и карикатуру до художества, преобразил обличение в искусство, портреты превратил в образы.

Как и когда это случилось?

Тут прежде всего сказалась *волшебная сила,* подлинная магия *меткого слова.*

Меткое слово Грибоедова вдохнуло в портреты и карикатуры какую-то пребывающую жизнь, придало их временным и случайным чертам неумирающее значение.

Но в этом участвовала еще другая сила.

Пушкин по поводу Грибоедова сказал, что мы, русские, «ленивы и нелюбопытны». Современное Грибоедову общество, да и его потомство, в отношении именно к нему — правду сказать, — не заслужило этого упрека. Ни к одному великому литературному произведению русское общество, т. е. сами читатели, не проявило такого живого и любовного интереса, как к Грибоедовской комедии. Об этом красноречиво говорит то обстоятельство, что она получила еще в рукописях такое распространение, с которым вряд ли

могли соперничать печатные произведения той же эпохи.

Но дело не только в этом.

Читатели не только читали «Горе от ума». Это и они вдохнули в него пребывающую жизнь. Это они — конечно, вместе с автором — портреты, карикатуры, шаржи подняли до высоты и красоты образов.

Волшебство писательского слова соединилось с любовным восприятием читательской массы, и получился *богатейший кладезь ума, метким словом преображенного в красоту,* — наше бесценное «Горе от ума».

ПРОРОЧЕСТВА О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Предсказание М. Ю. Лермонтова, которое должен знать всякий русский человек

ПРЕДСКАЗАНИЕ

(Это мечта)

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать;
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек...
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь, — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя! Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, черно в нем,
Как длинный плащ с клонящимся пером.

Бунт военных поселений, холерные беспорядки и июльская революция 1830 года произвели сильное впечатление на умы образованных русских людей. Как ча-

сто бывает, отдельные яркие факты дали пищу обобщениям, а обобщения о настоящем, перенесенные на будущее, часто превращаются в исторические — прозрения.

М. Ю. Лермонтов отдал дань и свободолюбию образованных русских людей своего времени, и тому особому отношению к фигуре низложенного и сосланного, но не развенчанного французского императора, которое выразилось в своего рода почитании, или культе, великого полководца-властелина.

Так родилось вышепечатаемое замечательное Лермонтовское стихотворение. Оно, наверно, известно далеко не всем нашим читателям. Напечатано оно было впервые в 1862 г. в заграничном издании, а в России могло появиться только после 1905 года[1]).

Первая часть этого стихотворения — именно теперь, после революции 1917 и последующих годов — производит огромное впечатление, как историческое прозрение, потрясающее своей правдой. Вторая часть, начинающаяся стихом: «В тот день...» и т. д., навеяна легендой и культом Наполеона, преображенного в какое-то романтически-ужасное существо. Эта часть риторична и ходульно-холодна.

Но в целом стихотворение Лермонтова есть все-таки изумительное поэтическое «предсказание», знать которое — так же, как образ самого Лермонтова, этого «неведомого избранника» и «гонимого миром странника... с русскою душой», — должен всякий русский человек.

2. Пророчество Жозефа де Мэстра

В статье «Россия», напечатанной на английском языке в «Slavonic Review» и по-русски в пражской

---

[1]) Перепечатываем по академическому изданию Лермонтова под редакцией и с примечаниями проф. Д. И. Абрамовича, т. 1, СПБ. 1910 г., стр. 144. В 1919 г. я писал об этом пророчестве Лермонтова в « Mercure de France ».

серии «Русской Мысли» (1922 г. кн. III), я уже приводил замечательное пророчество Жозефа де Мэстра о русской революции. Один из самых глубоких и проницательных писателей богатой крупными талантами эпохи реставрации, Жозеф де Мэстр (род. 1753 г., † 1821 г.), будучи французом по происхождению и сардинским дипломатом по положению, в течение 14 лет с 1803 по 1817 год был посланником своего правительства в России, а его брат, беллетрист Ксавье де Мэстр (род. в 1763 г.), которому по жене своей не кто иной как А. С. Пушкин приходился племянником, был эмигрантом в России, поступил на русскую военную службу, участвовал в боях, был ранен, дослужился до русского генерал-майора, и скончался в Санкт-Петербурге в 1852 г.

Впервые пророчество Ж. де Мэстра о русской революции формулировано в письме, помеченном «С. Петербург, 15-27 августа 1811 г.»:

> Если какой-нибудь Пугачев, вышедший из университета, станет во главе партии; если народ окажется поколебленным и вместо азиатских походов примется за революцию на европейский лад, то я прямо не нахожу выражения для того, чтобы высказать свои опасения:
>
> Bella, horrida bella!
> Et multo Nevam spumantem sanguinem cerno.
>
> (Войны, ужасные войны!
> И я вижу Неву, обильно пенящуюся кровью!)

В такой перефразировке слов латинского поэта де Мэстр изливает свои опасения.

Это предвидение 1811 г., впервые опубликованное в 1851 г., получило дальнейшее развитие в «Quatre Chapitres inédits sur la Russie», написанных для Ми-

нистра Народного Просвещения графа Разумовского и увидевших свет лишь в 1859 г.

Тут, исходя из мысли, что и для общественно-государственной жизни скрепляющей силою является религия (« jamais un grand peuple ne peut être gouverné par le gouvernement, j'entends par le gouvernement seul »), Ж. де Мэстр воспроизводит и развивает мысль цитированного письма.

Отмечая внезапное и ничем не подготовленное проникновение разрушительной и богохульной французской литературы XVIII века в Россию и приводя этот факт в связь с вопросом об освобождении крестьян от крепостной зависимости, Ж. де Мэстр говорит:

> Эти крепостные, по мере того, как они получат свободу, окажутся между более чем подозрительными учителями и духовенством, бессильным и не пользующимся уважением. В таком положении, очутившись без подготовки, они неотвратимо и сразу перейдут от суеверия к атеизму и от пассивного повиновения к необузданной действенности. Свобода на все эти темпераменты окажет действие пьянящего вина на непривычного к нему человека. Одно уже зрелище этой свободы опьянит тех, кто ею еще не пользовался. Допустите, что при таком состоянии умов является какой-то вышедший из университета Пугачев (а он легко может оказаться налицо, ибо фабрики, изготовляющие таких людей, уже открыты), прибавьте к этому безразличие, неспособность или честолюбие некоторой части дворянства, интриги скверной секты, которая никогда не дремлет и т. д. и т. д., — тогда, по всем правилам вероятности, государство в буквальном смысле сломится, как слишком длинная балка, держащаяся только своими концами.

Ж. де Мэстр в подробностях своего пророчества ошибся. Он ждал крушения государства непосредственно от освобождения крестьян — кстати, его « Quatre Chapitres » появились как раз в эпоху подготовки великой русской крестьянской реформы.

Но Ж. де Мэстр, которого Барбэ д'Орвильи (именно в статье, посвященной только что изданным « Quatre Chapitres », ср. его *XIX' Siècle*. Deuxième série. Les œuvres et les hommes. Les philosophes et les écrivains historiques. Paris, 1887, p. 91), метко охарактеризовал, как *«гений исторический по преимуществу»*, действительно гениально уловил ту духовную и душевную почву, на которой, более чем через сто лет после его пророчества, родилась русская революция, как культурное и политическое явление. Я не буду здесь сейчас распространяться об этом, отсылая читателей к цитированной выше статье своей «Россия», где пророчество де Мэстра вдвинуто в мою собственную историческую философию русской революции.

3. Мишлэ о русской революции и о России

О русской революции в пророческом духе и — увы! — высокопарном стиле говорил другой знаменитый французский писатель XIX века, Ж. Мишлэ (1798-1874), больше поэт, чем историк, больше ритор, чем философ. При этом — на пространстве примерно восьми лет! — Мишлэ писал о России прямо противоположные вещи.

В 1855 г., когда Герцен задумал издание своей «Полярной Звезды», Мишлэ написал Герцену письмо, в котором, говоря о подаренном ему Герценом, нарисованном еще умиравшей женой последнего, Натальей Александровной, портрете сидевшего тогда в заключении М. А. Бакунина, французский историк писал знаменитому русскому лондонскому изгнаннику:

Святое изображение, таинственный талисман, который всегда оживляет все мои взоры, который всегда наполняет мое сердце волнением, мечтами, целым океаном мыслей. Это — Восток, это — Запад, это — слияние миров.

Дальше Мишлэ, все в том же восторженно-патетическом духе, говорит о Бакунине и затем поет целый гимн — грядущей русской революции:

Души самые простые чувствуют слишком хорошо, что освобождение русских будет освобождением всей земли.

Умы размышляющие понимают, что вопросы, которые остаются темными и неразрешимыми на Западе, находят в восточной революции полное разъяснение. Проблема социализма в большой семье освобожденных наций разрешится только вступлением в нее самой молодой, которая инстинктивно нашла решения, всюду у других народов являющиеся искусственными!

Слава вашему Пестелю за то, что он понял, что в безграничном разнообразии потребностей народов и их призваний ваша страна представляет идею, симметрически противоположную идее западного общества, и за то, что он почерпнул революцию и будущее из самых недр древней России! Как первичный элемент и первоначальную молекулу Республики, к которой Россия, говорил он, более естественно призвана, чем к татарскому царизму или к немецкому цезаризму, Пестель взял общину.

Поверьте же, дорогой друг, мы знаем хорошо, какие новые откровения, рано или поздно, мир должен получить от русской революции. «Звезда», которая взойдет с северного полюса, будет свер-

кать нам тем блеском, будет давать нам тот столь чистый, девственный свет, который, более, чем свет солнечный, кажется, является дневным светом мысли [2]).

Все это было бы очень сильно и трогательно, если бы не было так напыщенно и вздорно.

Но вот что замечательно! Пропев в 1855 г., в год русских поражений и унижений, гимн грядущей освободительнице всего мира, русской революции, Мишлэ в 1863 г., в год подавленного польского восстания, публикует книгу, которая по *очернению* России, и притом не только ее правительства, но и всего русского народа — есть, вероятно, одно из самых омерзительных произведений западно-европейской литературы о России. Изданная в 1863 г. книга Мишлэ « La Pologne Martyre. Russie — Danube », того Мишлэ, который в 1855 г. пропел такой гимн будущей русской революции, прямо дышит ненавистью к России, как к таковой.

Это действительно *сплошное очернение* России знаменитым французским писателем, конечно, так же нелепо, как и его *наивное восхваление* грядущего, якобы освободительного для всего мира, русского переворота.

Русским недостает существенного атрибута человека: нравственной способности, чувства добра и зла. Эти чувства и эта идея есть основа мира. Человек, который ими не обладает, несом ветром, он еще моральный хаос, только ожидающий творческого акта.

---

[2]) Письмо Мишлэ к Герцену, опубликованное зятем Герцена Габриелем Моно в парижской «Revue» от 1 июня 1907 г., я цитирую по книге James Guillaume. *Documents et souvenirs*. Tome quatrième. Paris, 1910, в которой это письмо целиком воспроизведено на стр. 45-46.

Мы не отрицаем того, что русские имеют приятные свойства. Они мягки и доступны, хорошие товарищи, нежные родители, человечные и милосердные. Только искренности, нравственности у них совершенно нет.

Они лгут невинно, воруют невинно, лгут, воруют — всегда.

Сверху донизу Россия обманывает и лжет. Россия — фантасмагория, мираж. Это — царство иллюзий.

Начнем снизу, с элемента, который кажется еще более прочным, с того, что в России носит черты своеобразия и народности, с семьи и общины.

Семья не есть семья. Принадлежит ли женщина мужчине? Нет, она прежде всего принадлежит хозяину. От кого ребенок? Кто это знает?

Община не есть община. На первый взгляд это маленькая патриархальная республика. Всмотритесь лучше, вы увидите, что это — жалкие рабы, которые только распределяют между собой крепостное бремя. Простой куплей-продажей можно как угодно сломить эту республику. В ней ничем не обеспечена ни община, ни индивид... (и т. д. и т. д.).

Для Мишлэ, по сравнению с Россией, «песок прочен и вода не обманывает».

Россия есть ложь. Она такова в общине, фальшивой общине. Она такова в барине, в священнике, в царе. Это некое crescendo (нарастание) лжей, мнимостей, призраков.

Россия в самой своей природе, в подлинной жизни своей есть — сама ложь.

России, этой разлагающей силе, этому холодному яду, мало-помалу растекающемуся, яду, ко-

торый уничтожает жизненный нерв, деморализует будущие жертвы, делает их беззащитными, было дано глубокое, удивительное определение: «Россия это — холера».

И тот же самый Мишлэ, который в 1855 г. ожидал мирового освобождения от русской революции, черпающей свою силу в древней и самобытной общине, в 1863 г. об этой самой общине говорит не только с пренебрежением, но и с отвращением: «Одно слово объясняет все, и в нем содержится Россия. Русская жизнь это — коммунизм».

И характеристику русского общинного строя, именуемого Мишлэ коммунизмом, французский историк в 1863 г., опираясь на того же Гакстгаузена, который, конечно, вдохновлял его и в 1866 г., дает прямо *убийственную*.

Когда же был прав Мишлэ?

В своей крайней и романтической тенденциозности он ни в 1855, ни в 1863 году не был прав.

То, что он писал о России, было напыщенной революционно-истерической болтовней. Эта болтовня интересна лишь как характерный образчик той западноевропейской легенды о России, которая складывалась веками и до сих пор часто закрывает даже для умных иностранцев — подлинное лицо живой России.

ДОПОЛНЕНИЕ И ПОПРАВКА К «ЗАМЕТКАМ ПИСАТЕЛЯ»

Когда я писал в моей статье в «Заметках писателя» о Мишлэ, у меня под руками не было сочинений Герцена, в которых помещено его произведение «Русский народ и социализм. Письмо к Мишлэ», вышедшее по-французски первым изданием в 1851 году (в Ницце), а по-русски — в 1858 году (в Лондоне — перепечатано в томе V женевского издания сочинений Герцена, стр. 173-216). «Заметки писателя» настоящего номера были уже отпечатаны, когда я успел навести справку в этом письме Герцена к Мишлэ, общее содержание которого я хорошо знал, но дату и ссылки которого я точно не помнил. Справка с названным произведением Герцена показала, что та, перепечатанная в вышедшем в 1863 году сборнике статей Мишлэ « La Pologne Martyre », злая характеристика русского народа, о которой я говорю в своих «Заметках писателя», хронологически предшествовала письму Мишлэ к Герцену от 1-го июля 1855 года, а именно — первая появилась в августе 1851 года в фельетонах парижской газеты « L'Evénement ».

Таким образом, Мишлэ в 1855 году изменил свою прежнюю точку зрения на Россию для того, чтобы, по существу, именно к ней вернуться в 1863 году. В предисловии к сборнику этого года Мишлэ говорит: «Не несчастье польского восстания побуждает меня излить все это. Я все это питал в себе уже давно и я должен был говорить. Но "Колокол" [Герцена], этот "Колокол" меня смущал, смущали также любимые имена

русских мучеников, чарующий дух Герцена, его благородство, смущал героизм Бакунина».

Очевидно, Мишлэ в 1855 году поверил на время Герцену и Бакунину, как глашатаям грядущей русской революции, и — в нее самое, а в 1863 году снова разуверился и дал полную волю своей ненависти к исторической России. Впрочем, эту же слепую ненависть в общем питал и сам Герцен: у него она только несколько смягчилась знанием и ви́дением живой России.

Однако, именно Герцен, с русской стороны, есть все-таки один из творцов злобной и ложной легенды об исторической России, в течение десятилетий отравлявшей сознание русской интеллигенции и, быть может, более чем что-либо другое, повинной в великом несчастии и позоре русской революции, утвердившей *безбожное и жестокое иго коммунистической черни над русским народом.* Это суждение не посягает на большую и положительную роль Герцена в истории русской гражданственности, ту роль, которая — вопреки злобной легенде о «царизме» — ставит имя редактора «Колокола» рядом с именем Александра II, Царя-Освободителя и Преобразователя.

ДВА РУССКИХ ЯСНОВИДЦА

Влеки меня к себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир, да, свершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого представляя день и ночь перед мысленные мои очи. Сделай, да пребуду нем в мире, да обесчувствует душа моя ко всему, кроме единого Тебя, да обезответствует сердце мое к житейским скорбям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущенье духа моего, да не возложу моей надежды ни на кого из живущих на земле, но на Тебя единого, Владыко и Господин мой. Верю бо, яко Ты один в силах поднять меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил во мне и первую мысль о нем; Ты и возрастил ее, возрастивши и меня самого для нее; Ты же дал силы привести к концу Тобой внушенное дело, строя все во спасенье мое, насылая скорби на умягченье сердца, воздвигая гоненья на чистые прибегания к Тебе, ею же да воспламенеет и возгорится отныне вся душа моя, славя ежеминутно святое имя Твое, прославляемое всегда ныне и присно, и во веки веков аминь.

Кто и для кого сочинил эту молитву?

Николай Васильевич Гоголь для Александра Андреевича Иванова, великий русский писатель для великого русского живописца.

В истории русского духа и русской душевности

есть страницы, не только возвышающие, но и умилительные. На них записана дружба и взаимная нежность великих творцов и больших людей, например, Пушкина и Гоголя, Гоголя и семьи Аксаковых, Гоголя и Иванова.

В дружбе и расхождении Гоголя и Иванова выразилась великая духовно-душевная красота и заключено огромное содержание.

Великий писатель и великий живописец, с необычайной ясностью созерцая и с изумительной силою изображая *Плоть и Душу, тянулись к Богу и Духу*.

Особенно страдальчески-напряженно было тяготение к Духу у ясновидца *Души* и *Плоти Гоголя*. О себе Гоголь писал однажды (в письме к о. Матвею от 12 января 1848 г.):

> Я имел всегда свойство замечать все особенности каждого человека, от малых до больших, и потом его изобразить так перед глазами, что, по уверению моих читателей, человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться.

То же говорит Гоголь в письме к Белинскому в начале августа 1847 года, облекая эту мысль о себе в такую точную и великолепную формулу: *«некоторый дар ясновидения»*.

Но, в конце концов, ценою страданий и мук, утрат и жертв, Гоголь под конец *дотянулся* и поднялся на такую высоту, с которой его страдальческий лик предстает пред нами в неизъяснимом просветлении. Пусть Гоголь пред своим концом впадал в безумие, — это временное безумие его души исчезает перед окончательным доставшимся ему в удел ее растворением в Божественном духе. Бесконечно жаль ненужно, в безумии

сожженной рукописи «Мертвых Душ», но нам не только не жаль самого Гоголя, а наоборот, мы видим, что высшего сподобился он, дух которого, пламенея верой, креп и возносился в этих скорбях. Смешными и жалкими кажутся сейчас прежние суждения об ослаблении и падении Гоголевского духа в последние годы его страдальческой жизни.

Той духовной высоты и той душевной глубины, до которой дошел Гоголь, не было дано Иванову, менее глубокой и сильной в религиозном отношении натуре, чем Гоголь.

И именно в ту эпоху, когда Гоголь, пусть с великими ущербами и страшными муками для своей «эмпирической» личности, приходил к вере и возростал в ней, — Иванов переживал тяжелый кризис религиозного ущербления, из которого он при жизни не успел выйти. Тот факт, что Иванов испытал на себе сильное влияние исторического скептицизма Штрауса и что духовного окормления он искал у материалиста Герцена, свидетельствует о какой-то слабости и беспомощности его религиозного духа.

Душевная драма Иванова коренилась в этой слабости, не устоявшей перед довольно таки поверхностными духовными соблазнами современной ему эпохи.

Духовное возрастание в вере Гоголя и духовное ослабление или ущербление Иванова заслуживали бы — явиться предметом либо широкого историко-философского исследования, либо такого же художественного изображения. Тема эта — грандиозная, в которую ярко и пестро могут быть вплетены все крупные духовные движения и все большие исторические события от начала XIX века (А. А. Иванов родился в 1806 г., Гоголь в 1809 г.) до 1858 г. (год смерти Иванова, пережившего Гоголя на шесть лет).

Интересный и местами возвышающийся до подлинной художественности роман г-жи Ольги Форш

«Современники» (Москва-Петроград, 1926 г. 259 стр.) не может претендовать на такой захват. В нем нет того вйдения и ясновидения, которое необходимо для художественного изображения огромной, заключенной в сближении и расхождении двух великих русских людей, духовной и душевной проблемы.

Местами кажется даже, что эта проблема во всей своей значительности вовсе и не вставала перед умственным взором автора «Современников», когда он набрасывал свои сцены, в которых крупные и своеобразные лица Гоголя и Иванова вдвинуты в соответствующие «исторические» рамки. Если бы эта колоссальная — напомню, что, как мне уже приходилось однажды указывать, прилагательное «колоссальный» было излюбленным выражением самого Гоголя, введшим его в русский литературный язык — проблема получила в произведении г-жи Форш художественное изображение и воплощение, — мы имели бы в ее произведении не исторические сцены и даже не исторический роман, а произведение, по замыслу и захвату подобное исторически обрамленной эпопее Толстого «Война и мир» или мистически-реалистическим пророческим книгам Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы».

А так крупные, любовно вылепленные, фигуры Гоголя и Иванова какими-то изваяниями возвышаются над криминально-фантастической повестью о жизни и судьбе их современника Глеба Багрецова, замыслившего, ради получения наследства, отравить свою жену, в чем неведомо для себя он сошелся с ее сестрой, которая безумно в него влюблена, но которую он отвергает для того, чтобы потом, когда, влюбив в себя итальянскую девушку-революционерку, он своей нерешительной любовью губит и эту итальянку, сойтись на всю жизнь с некрасивой, но страстной свояченицей.

На самом же деле не муж и не сестра, в руках которых был не яд, а слабительное, но доктор по ошибке отравил жену Багрецова.

В исторических сценах г-жи Форш появляются знаменитая русская «конвертитка» Зинаида Волконская, которую Пушкин приветствовал в 1827 г. как «Царицу муз и красоты», Герцен, разрушающий (в романе) начавшую колебаться веру Иванова, и иные исторические личности эпохи (Ивановы, отец и брат, М. Ю. Лермонтов и другие).

Портреты Гоголя и Иванова удались автору, но он даже не поставил себе задачи (почему?) изобразить духовный рост Гоголя, а духовный кризис Иванова изображен им не только не художественно, а скорее в стиле плохой журнальной статьи пошловатого тенденциозно-публицистического пошиба (глава 12-я: Колизей, стр. 194-201), так что самым благоприятным для автора предположением является мысль не есть ли этот низкий уровень просто порождение гнета прямой или косвенной коммунистической цензуры. Впрочем, в романе г-жи Форш есть и другие места, досадно отдающие не столько большевицкой дикостью и коммунистическим гнетом, сколько затхлой радикальной пошлостью старых времен.

Но в общем все-таки роман Форш — *настоящая и интересная литература,* несмотря на все литературные неровности и в частности — на язык, в котором автору не всегда удается соблюсти обязательный исторический колорит. Роман, главное действие которого происходит в 30-40 годах XIX века, в котором выведены Гоголь и Иванов, должен быть написан как исторический роман и свободен от явных противоисторических модернизмов и в содержании и в языке. Местами роман г-жи Форш отдает явным подражанием позднему Достоевскому — «Пашка-химик», лицо, фигурирующее под этим именем и прозвищем «Шехерезада», по своему душевному стилю есть двойник Смердякова и говорит как Смердяков. В этом подражании нет, впрочем, никакого стилистического анахронизма: Достоевский недаром прямой выученик Гоголя! Но

когда земляки Гоголя называют в произведении г-жи Форш его и себя «украинцами», то это явная историческая и стилистическая несообразность... Слово «Украина» было — рядом с «Малороссией» — довольно обычным выражением у Пушкина, Гоголя и их современников (еще Ломоносов говорил «Украина»). Но слова «украинец» ни Пушкин, ни Гоголь, ни их современники, насколько я знаю, не употребляли, даже в тех случаях, когда они южноруссов противопоставляли другим русским племенам. В этом смысле весьма характерно следующее, вообще в высшей степени интересное и примечательное, место из письма Гоголя к А. О. Смирновой от 24 декабря 1844 г., где Гоголь в таких выражениях говорит о соотношении «украинской» и «русской» стихии:

> Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что я сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им, не похожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве.

В заключение — одно замечание, от которого нельзя удержаться. Исторический роман г-жи Форш, как почти все произведения русской печати в совет-

ской России, напечатан по новой орфографии. В таком произведении эта орфография действует особенно отвратительно и своей глубокой, я бы сказал, наглой *противоисторичностью* и своей воистину гнусной *противоэстетичностью.*

КОНСТАНТИН АКСАКОВ И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Пять лет назад (в 1923 г.), по случаю исполнившегося тогда 100-летия рождения Ивана Аксакова, я говорил об Аксаковых на публичном собрании в Праге, и потом моя речь была напечатана в «Русской Мысли», по-чешски — в «Národni Listy» и по-английски в «Slavonic Review». В этом году я имел случай на ту же тему говорить перед белградской публикой.

В истории славного трехзвездия Аксаковых чрезвычайно примечательны две стороны.

Первая — та, которую на языке современной биосоциологии принято называть *«евгенической»*. Аксаковы ведут свое происхождение от варяжского (норвежского) выходца Шилюна Африкановича, прибывшего в 1027 г. в Киев. Бабка Аксаковых-сыновей (со стороны матери) была пленная турчанка. Таким образом в создании этих блестяще одаренных писателей сыграло роль смешение трех «рас»: германской, славянской и тюркской.

Вторая интересная в истории Аксаковых сторона приводит нас к социологической проблеме поколений, о которой на французском языке некоторые существенные мысли высказал гениальный, только недавно вполне оцененный, философ и экономист Курно (Augustin Cournot, 1801 - 1877,) а автор самой обширной монографии о Курно Мантрэ написал большую и занимательную книгу (François Mentré. *Les genérations sociales*. Paris, 1920. Ed. Bossard, 470 p.p.).

Дело в том, что в истории творчества Аксакова-отца — Сергей Тимофеевич (1791-1859), как известно, обнаружил себя крупным писателем под самую старость, — огромное значение имело сближение с Гоголем, который, родившись в 1809 г., принадлежал к другому поколению, чем автор «Семейной хроники». Гоголь прямо подстрекал С. Т. Аксакова к этой литературной деятельности, которая составила его славу. 28-го августа 1847 г., когда С. Т. Аксакову было 56 лет, Гоголь писал ему из Остенде:

> Мне кажется, что если бы Вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни Вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось Вам встретиться, с верными описаниями характеров их, Вы бы усладили много этим последние дни Ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.

Значение же Гоголя было понято и оценено тем, еще более молодым, чем сам Гоголь, поколением, к которому принадлежали Аксаковы-сыновья (Константин С. родился в 1817 г.). О значении и признании Гоголя Иван Аксаков писал уже в 80-х г.г. так:

> Появление сочинений Гоголя произвело такой резкий переворот в общественном и, в частности, в литературном сознании, что сочувствие или несочувствие к Гоголю определяло степень развития и способность к развитию самого человека. Это был рубеж, перейдя через который С. Т-ч рас-

терял всех своих литературных друзей прежнего псевдо-классического нашего литературного периода. Они остались по сю сторону Гоголя *).

Таким образом литературная деятельность Аксакова-отца являет из себя замечательный, можно сказать классический, пример дружественного, а не враждебного, симпатического, а не антагонистического, взаимодействия младшего поколения со старшим, взаимодействия, в котором действенную, активную и возбуждающую, стимулирующую роль играли представители поколения младшего. Тут не отец формировал сыновей, а, наоборот, сыновья — отца.

Деятельность Константина Аксакова, и как мыслителя, и как литератора в более тесном смысле, недостаточно изучена и в частности недостаточно сопоставлена с духовным содержанием последующих поколений. Константин Аксаков, воспользовавшись специфически-русским словом *«быт»*, вычеканил из него особую социологическую категорию, которая в его уме противополагалась *государственному бытию,* обозначая существование личностей и общества вне действия начала принуждения. В этом смысле Константин Аксаков противопоставлял народы (он тут употребляет слово «племена») «бытовые» народам «государственным». Вообще нравственно-общественный идеал Константина Аксакова был *полуанархический,* и в этом отношении он в известной мере предвосхищает и возвещает Льва Толстого.

Еще одно примечательное и притом совершенно определенное предвосхищение Константином Аксаковым Льва Толстого надлежит отметить. В 1856 году Константин Аксаков напечатал комедию: «Князь Лу-

*) Отрывок из рукописи Сергея Тимофеевича Аксакова «История моего знакомства с Гоголем», со включением всей переписки с 1832 по 1852 г. Полное собрание сочинений С. Т. Аксакова, т. III. СПБ. 1886, стр. 335. (Изд. Н. Г. Мартынова).

повицкий или приезд в деревню. Комедия в двух действиях с прологом» (Москва, в типографии Л. Степановой, 88 стр.).

В этой комедии изображается приезд в деревню из-за границы барина, который хочет «сивилизовать» своих крестьян.

«Я люблю Россию, люблю этот добрый и умный русский народ. Oh, comme je l'aime! Жаль только, что мне нельзя разговаривать с ним по-французски. Хоть я и хорошо говорю свой язык [тут автор употребляет намеренный галлицизм. П. С.], по-французски я бы объяснил им это лучше. Mais que faire?» (стр. 29).

Луповицкий говорит крестьянам: «Я постараюсь устроить вам быт, передать вам плоды просвещения, роскошные плоды наук и искусств... Где ваши орудия, омраченные [орошенные — П. С.] не раз благородным потом вашим? Где соха, где пила? Дайте мне их. Моя рука не побоится прикоснуться к ним, если то нужно» (стр. 45) .

Далее следует такой разговор между крестьянами:

Андрей (Ивану): Ну, что, понял, что барин говорил?

Иван: Как не понять: велел себе подать соху да пилу.

Семен: Сходить, что ли, за ними, Антон Гаврилыч?

Староста: Полно вам; ведь это так, для примера говорится.

Семен: А, может, он и вправду пилить да пахать захотел?

Прохор: Ну, пахать-то да работать — так и быть, уж мы не будем (стр. 46).

Таким образом, в русской литературе творцом формулы «Плоды просвещения» с иронически-сатиричес-

ким смысловым оттенком является не кто иной, как Константин Аксаков. Быть может, заглавие Толстовской комедии есть даже прямо и просто бессознательное воспоминание (реминисценция) из Аксаковской комедии.

С другой стороны, Константин Аксаков, быть может, даже еще ничего не зная в 1856 г. о существовании такого писателя, как Лев Толстой (начавший печататься в 1852 г.), наперед в крестьянском диалоге, выше мною приведенном, осмеял барскую подоплеку того «опрощения», которое проповедовал в наши дни великий автор «Войны и мира». Знаменитый славянофил, предвосхищая Льва Толстого своим полуанархическим нравственно-общественным идеалом, своей «народнической» идеализацией крестьянства и крестьянского быта, в то же время, конечно, вовсе не был толстовцем до Толстого, и проблема «опрощения» в толстовском смысле им вовсе не ставилась. Константин Аксаков и все славянофилы были прежде и больше всего националистами. А толстовство родилось в значительной мере из прямой реакции против национализма.

Белград, 10 декабря 1928.

ЛЮБОВНИК ЭЛЛАДЫ

Н. Ф. Щербина (1821-1869)

Вполне понятно мне значенье
Твоей болезненной мечты,
Твоя борьба, твое стремленье,
Твое тревожное служенье
Пред идеалом красоты...

Так узник Эллинский порою,
Забывшись сном среди степей,
Под Скифской вьюгой снеговою
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей.

Ф. Тютчев

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques —

André Chénier

(Эпиграф, выбранный самим Щербиной к своим сочинениям)

Во всех великих литературах нового времени мы находим одно течение, один «мотив», который исторически-психологически всюду есть своеобразное и позднее поэтическое переживание мыслей и восторгов Возрождения или Ренессанса — сознательное обращение к классической и, в частности и в особенности, к эллинской древности, обращение и обращенность более сильные, чем простое увлечение: живая влюбленность.

Если французская «Плеяда» с Ронсаром во главе есть явление самого Ренессанса, то XVII и XVIII вв. во французской литературе являют нам именно уже такое позднее и сознательное обращение к эллинству. Через Францию, где в конце XVIII и первой четверти XIX столетия в этом роде особенно выдвигаются Парни и Андрэ Шенье, через Германию, где вся почти литература второй половины XVIII и первой четверти XIX века пронизана тягой к эллинству, где «анакреонтиками» являются даже благочестивые духовные особы обоих вероисповеданий, где Элладу с любовным мастерством воскрешает не кто иной, как Шиллер, где патриарх литературы Виланд воплощает свою влюбленность в эллинство в классическом переводе бесподобного насмешника-декадента Лукиана, — это течение проникает в Россию и находит себе лучшего выразителя в таком подлинном поэте и мастере стиха как К. Н. Батюшков. Не чужды такой обращенности к эллинству и сам юный Пушкин, создавший в этом роде непревзойденные образцы, и Баратынский с его «Алкивиадом». За Батюшковым, Пушкиным и Баратынским следуют Аполлон Майков, антологические стихотворения которого достигают почти пушкинского совершенства (достаточно напомнить «Свирель» и «Анакреона»!), Я. П. Полонский (достаточно назвать «У Аспазии»!) и Н. Ф. Щербина, со смерти которого в прошлом году исполнилось 60 лет.

Из этих трех русских сверстников, любовников Эллады, Н. Ф. Щербина (1821-1869), всех ранее скончавшийся, менее других известен и оценен, хотя его тяга к эллинству была — да будет позволено так выразиться — наиболее кровной, телесно обусловленной, наиболее органической. Если история французской литературы второй половины XIX начала XX веков знает крупнейшего поэта, который был переселившимся из Афин офранцуженным греком, Жана Мореаса (род. 1856 г., † 1910 г.), то в нашей литературе

Щербина являет образ писателя и мастера слова, который буквально чувствовал в своих жилах кипение греческой крови. Он был малоросс по отцу, но бабка его со стороны матери была природная гречанка, переселившаяся из Пелопонеса в Таганрог. Сам поэт, с восьмилетнего возраста проживая в Таганроге и обучаясь там, сблизился с греческой стихией, научился греческому языку, проникся симпатией к греческой освободительной борьбе и к новогреческой поэзии. К древней Элладе Щербина испытывал чувство поэтического восторга, доходившего до почти религиозного почитания, хотя нашему поэту никогда не удалось даже побывать в Греции и телесным своим взором не пришлось увидеть ни неба, ни моря, ни гор, ни развалин воспетой им Эллады.

Поклонение Щербины Элладе выразилось в его «Греческих стихотворениях», вышедших целым сборником в 1850 г. и позднее дополненных произведениями того же рода.

Классической является его «Эллада», написанная в 1846 г.:

Окружена широкими морями,
В тени олив покоится она,
Развалина, покрытая гробами,
В ничтожестве великая страна.

Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов —
Горела грудь, в слезах кипели очи:
Я чувствовал присутствие богов.

И видел я — усыпанный цветами,
Рельефами закрытый саркофаг:
В них грации поникли головами,
И Аполлон, и вечно-юный Вакх...

И в гробе том красавица лежала
Нетленная — печальна, но ясна:
Казалося, она не умирала,
Казалося, бессмертной рождена...

И песнь ее носилась над могилой,
Когда уже замолкнули уста —
И все вокруг собой животворила
Усопшая во гробе красота.

Глубокой тягой к любимой Элладе проникнута еще более ранняя пьеса «Отплывающему» (1843):

Корабль готов; шумят ветрила,
Распущен флаг земли родной...
Прошу тебя, пришли с дороги
Мне горсть земли, земли родной:
В часы душевныя тревоги
Я окроплю ее слезой.

Взгляни на гроб Агамемнона
В его пустынной наготе,
И у колонны Парфенона
Пропой ты песню красоте.

Скорбь по недостижимой и родной Элладе, та скорбь, которую так тонко-нежно в своем послании к Щербине почтил Тютчев (см. эпиграф), звучит в стихотворении «Путешествие в Грецию» (1853 г.):

Нет, никогда тебя не посещу я,
Любимая души моей земля.
Мне не слыхать, как море вечно стонет
Над вечною могилою твоей;
Мой жалкий взор, покоясь, не потонет
В разливе гор и голубых зыбей,
Где плещется бушующая влага
И говорит о лучших временах.
Я не склонюсь на мрамор саркофага —
Величия почиющего прах.

Интерес Щербины к новогреческой поэзии выразился в ряде переводов, и прозаических и стихотворных, новогреческих песен, которым он еще в 1843 г. посвятил большую журнальную статью, главным образом составленную из переведенных самим автором и другими лицами образцов.

В основе влюбленности Щербины в Элладу лежало не только просто чувственное органическое тяготение, но и какая-то духовная близость: Щербина был поэтом-пантеистом, влекшимся к Природе, как к Красоте, и переживавшим образы этой Природы-Красоты, как обнаружения Божества. В этом отношении Щербина был духовным родственником раннего Майкова, Фета и Полонского. Но Фет, и даже Майков, тоньше, чутче, музыкальнее Щербины, не говоря уже о том, что слуховой, а не зрительный, а потому и мистический пантеизм Баратынского, Тютчева, Владимира Соловьева и Блока совсем чужд Щербине. Щербина живет и творит линиями и красками, он лепит и живописует; в нем нет дрожи звуков и ответного на них содрогания души. Есть только одно произведение Щербины, в котором чувствуется такой ответ души на звуки — « Notturno » 1846 г. Но вообще для нашего поэта характерно обратное — превращение «хаоса» звуков в «стройный мир» изваяний: «Осязательно и ясно / Изваял в душе моей / Этот сердца голос страстный / Все несознанное в ней. / То, что в ней неуловимо, / Безразлично, глубоко, / Что незнаемо, незримо, / Близко нам и далеко: / То художника рукою / Царству мысли отдано, / То из хаоса тобою / В стройный мир возведено» («Концерт», 1847 г.).

Кроме вечной, пантеистической и в то же время древне-языческой основы, в эллинстве Щербины (и, конечно, до него Ап. Майкова) можно уловить и нечто другое: тут отразилось влияние более преходящее и случайное, но весьма могущественное. Французский

социализм той эпохи выступил в лице сен-симонистов и Фурье с «оправданием плоти» (réhabilitation de la chair), заодно и материалистическим и язычески-эстетическим. Тут, во Франции, идеологические истоки поэзии Леконт-де-Лиля, французского сверстника Майкова, Щербины и Полонского, и парнасцев, среди которых идеологически всего интереснее, как любовник Эллады, социалист Луи Менар, и отсюда же черпали свои «идеи» русские поклонники Эллады, Майков и Щербина.

Как это ни покажется странным на первый взгляд, у Щербины, как чистого лирика, как изобразителя личных любовных переживаний самого интимного свойства, есть нечто общее с Некрасовым: оба они были по существу — неудачники в любви, испытавшие от нее более муки, чем счастья. Разве не напоминает Некрасова «Ирония» Щербины (1843)?

Не гляди на него простодушно,
Прямотою сердечной любя.
Свет, поверьям отжившим послушный,
Оклевещет безумно тебя.

Совершенно особняком от основного фона творчества Щербины, эллинского культа красоты, стоит его гражданская и сатирическая поэзия. В юности своей Щербина отдал дань гражданским мотивам радикального пошиба, и в стихотворении «Поэт» (1852) он себя называет «поэтом-гражданином». Но эти гражданские произведения Щербины, как, впрочем, и его патриотические стихотворения, слабы и риторичны. Подлинного поэтического одушевления у Щербины, как поэта-гражданина, не было.

Не было у Щербины и твердого политического мировоззрения. В 60-х годах он политически сильно поправел: из «западника» он обратился в «славянофила». Но произошло это главным образом под иде-

ологически-эстетическим влиянием Герцена и его народничества, как наш поэт сам признается в своих «Путевых набросках русского ленивца и ипохондрика», в записи, сделанной в Баден-Бадене под 11 июня 1861 г.:

> Промышленная буржуазия гнусна и во Франции и в Англии; простой же народ везде хорош, выключая разве Неаполя... Поездка заграницу окончательно утвердила меня в русофильстве и славянофильстве и прибавила веру в практическую и глубоко ценную правду того, что пишет о Западе Герцен...

В Англии же он делает такую запись:

> Хороши наши западники, «староверы Запада», натолковали нам Бог знает чего о Западе... Только этим сузили наш врожденный идеал жизни. Натолковали все это московские авторитеты-профессора и распространили в поколении; а наши журналы, эти *отсталые прогрессисты, рутинные либералы,* и теперь еще продолжают толковать то же самое... Как в конце древних и начале средних веков неизвестные, молодые народы выступили в истории и обновили мир, — так *теперь,* можно думать, эта роль предстоит *славянам, грекам и евреям.*

И кончаются эти путевые наброски характерным исповеданием своеобразного (навеянного тоже, вероятно, Герценом) умеренного экономического материализма:

> Политическая жизнь — это entente cordiale желудка с головой. Не то будет, что говорит идеал и абсолютная идея, а то, что порешат эти двое господ.

Любопытно, что этот обращенный Герценом в славянофильство и русофильство вчерашний «западник», который когда-то осыпал едкими насмешками Аполлона Григорьева и А. Н. Островского, вернувшись в Россию, начал громить «нигилистов», смеяться над земством, высмеивать даже И. С. Аксакова («он в охабне социалист французский, иль в синей блузе Посошков») и обличать «реформ чуму» и поступил чиновником в Главное Управление по делам печати. Автор предисловия к его «Собранию сочинений», вышедшему в 1873 г., так характеризует последний период жизни и писательства Щербины:

> Неудовлетворенное, болезненно развитое самолюбие, тяжкая нужда, из которой Щербина вышел лишь незадолго до кончины, а всего более тягчайшая, неизлечимая болезнь, все это вместе, за несколько лет до кончины, настроило его ум и воображение самым мрачным образом. В слабых лучах света и свободы, в конце пятидесятых и в шестидесятых годах ожививших русскую мысль и русскую печать, «ленивцу и ипохондрику», каким называл себя Щербина, мерещились кровавые призраки революции, и он нападал на них с желчью и сарказмом.

На самом деле в этих шатаниях мысли и поведения Щербины было нечто более глубокое и трагическое, чем указанные его издателем личные обстоятельства и черты. Тут перед нами роковое в истории русской мысли сплетение несообразного политического реакционерства с явной слепотой по отношению к разрушительным идеям и силам социальной революции. Эти идеи облекались тогда в соблазнительную и льстившую русскому самолюбию идеологию того русского социально-революционного мессианизма, пророком которого при всем его уме был Герцен.

Но и ранние и поздние сатирические произведения Щербины, и его политические шатания представляют уже сейчас интерес и имеют значение исключительно исторические. Стихотворения же Щербины, внушенные ему его кровной любовью к «нетленной красавице», Элладе, составляют вечное достояние русской литературы и драгоценную жемчужину ее поэзии.

Белград, март 1930 г.

ТУРГЕНЕВ

Тургенев (род. в 1818 г.) уже довольно давно затенен перед литературным общественным мнением России и остального мира и отодвинут куда-то в сторону и в даль мощными фигурами своих младших современников, Достоевского (род. в 1821 г.) и Льва Толстого (род. в 1828 г.). Но я еще отчетливо помню время, когда и Россия, и весь мир считали Тургенева первым, и по дарованию, и по значению, русским писателем-художником своей эпохи.

Неинтересно и бесплодно по какой-то табели о рангах разыскивать места писателям.

Интересно и важно, однако, осознать и определить психологическое и историческое место большого писателя, как Тургенев.

Исторически, Тургенев как-то своеобразно продолжает и Пушкина, и Гоголя.

По своему эстетическому мироощущению он всецело сродни Пушкину, и неслучайно та «пушкинская реакция» против крайностей Белинского (последнего периода) и Чернышевского, с которой в 50-х гг. начинается сознательный национальный культ Пушкина в России, восходит к Тургеневу, рядом с Анненковым, Дружининым и Аполлоном Григорьевым.

Но, конечно, как бытописатель, Тургенев — при всей своей душевно-духовной отдаленности от Гоголя — не может быть исторически оторван и от последнего.

Правда, он гораздо более реалист, чем Гоголь, и

в этом опять-таки более сродни трезвому классику Пушкину, чем фантасту-романтику Гоголю.

И в то же время, у них обоих, и у Пушкина, и у Тургенева, трезвый реализм сочетается с подлинным ощущением тайн и таинственности бытия, перед которыми разум склоняется в почтительно-сдержанном, граничащем с безмолвием, недоумении, бесконечно далеком, однако, и от рационалистического упрощения, и от нигилистического отрицания.

Как у бытописателя-реалиста, как у изобразителя и истолкователя своего времени, у Тургенева в его произведениях — огромное историческое содержание: крепостное право в крестьянском и помещичьем быту, нигилизм 60-70 гг., народничество 60-70-х гг., даже народовольчество 70-80 гг., все эти крупные исторические явления отражены и изображены в богатом и тонком художественном творчестве Тургенева[1]).

В спокойном и мягком *артистическом* восприятии Тургенева указанные явления и движения русской жизни отразились гораздо полнее и ярче (крепостное

---

[1]) Литератор-революционер, народоволец П. Ф. Якубович (Мельшин) так охарактеризовал историческое содержание и значение тургеневского творчества, поскольку оно затрагивало общественное и, в частности, революционное движение: «Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, Нежданова и Маркелова — писал Якубович-Мельшин, как автор народовольческой прокламации, выпущенной нелегальной типографией партии «Народной Воли» и раздававшейся в Петербурге во время похорон Тургенева 27-го сентября 1883 г. — не только живые и выхваченные из жизни образы, но, как ни странным покажется это с первого взгляда, — это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев нарисовал своего Инсарова; по базаровскому типу воспиталось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. **Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение»**. Народовольческая прокламация, написанная покойным Якубовичем-Мельшиным, человеком чутким и честным, перепечатана в сборнике Клемана и Пиксанова «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» изд. «Академия», Москва 1930 г., стр. 1-14.

право!) и гораздо конкретнее и реалистичнее (общественно-политические направления и течения!), чем в более бурном, более жестоком и более глубоком *пророческом* восприятии Достоевского.

Но как подлинный художник, хотя и отнюдь не пророк, Тургенев сквозь быт видит человека в его, так сказать, внебытовой сути, и этот внебытовой, внутренний человек на самом деле интересует Тургенева больше, чем социальные отношения: Тургенев такой же сердцевед, как Шекспир, Гете, Пушкин, и совсем непохожие на них и на него — Гоголь, Достоевский и Толстой. Сердцеведение же дается писателю, если не в меру душевного объема и духовной силы его «сердца», то всё-таки в каком-то соответствии с природой этого «сердца», и этим соотношением художественные творения крепчайше и таинственно связуются с личностью художника-творца.

Как личность, Тургенев был натурой женственной со всеми и сильными, пленительными, и слабыми, подчас прямо отталкивающими, свойствами такой натуры. Говоря кратко и упрощенно, он был слабым человеком, в котором обитало большое художественное дарование и мягкая, лишенная упора, душа.

В Тургеневе не было и тени того самоутверждения, которое у Льва Толстого с молодости доходило до непоколебимого убеждения в своей гениальности, граничащей с богоизбранностью, и которое в повседневной жизни часто переходило даже в жестокий эгоизм. Это не значит, чтобы Тургенев был жертвенной натурой: для жертвенности он был недостаточно сильным человеком.

В подлинных глубинах своего существа Толстой был в одно и то же время и рационалист и фанатик: он верил в *разум* и притом в *свой* разум, и с юных лет мнил себя призванным к основанию новой разумной религии. Тургенев в разум не верил. Он выслеживал разум, даже в его последнем убежище, в том

«камуфляже», каковым является сплошное отрицание чужого разума во имя надуманной в таком же «разумном» порядке своей собственной системы, выдаваемой за откровение иррационализма, т. е. именно за отрицание разума. В замечательном письме Фету от 10 октября 1865 года, признавая его «большим философом, sans le savoir», Тургенев возражает против иррационализма, как системы, и говорит: «Ты поэт, ты вольная птица, и твоему гармоническому носу неприлично свистать в эту старую, Жан-Жак-Руссовскую лженатуральную и всякими пошлыми слюнями загаженную дудку. Ты чувствуешь потребность лирических излияний и детской радостной веры — качай! Главное, будь правдив с самим собой и не давай никакой, даже собственным иждивением произведенной, системе оседлать твой благородный затылок! Поверь: в постоянной боязни рассудительности гораздо больше именно этой рассудительности, перед которой ты так трепещешь — чем всякого другого чувства. Пора перестать хвалить Шекспира за то, что он, мол, дурак; это такой же вздор, как утверждать, что российский крестьянин между двумя рыганиями сказал, как бы во сне, последнее слово цивилизации» [2]).

По своему философскому мироощущению, Тургенев, не будучи ни рационалистом, ни нигилистом, был скептиком с потребностью в вере и с уважением к ней.

Но несомненно, что этот умственный скептицизм Тургенева еще более подтачивал его и без того слабую волю, лишая его душу той опоры и того упора, который и мягким и женственным натурам дается сильной верой.

---

[2]) Цитирую по тексту, впервые напечатанному в «Русском Обозрении» за 1890 г., март, стр. 43-44, исправляя явные для меня грубые погрешности. Об антирационалистическом «камуфляже» рационализма см. мою полемику в «Русской Мысли» с покойным М. О. Гершензоном, как автором «Исторических записок», перепечатанную в моем сборнике статей «Patriotica». Я тогда не знал цитированного письма Тургенева к Фету.

Не было в Тургеневе и той страсти в искании Бога, которая определяла всю душевную и духовную природу Достоевского.

Достоевский вел борьбу за Бога и из-за Бога и со всем миром, со включением самого Божества, и — еще более! — с самим собой. У него была натура подлинного борца. Тургенев не был вовсе, ни в каком смысле борцом.

Эта слабость Тургеневского «сердца» отразилась на его произведениях. В них, в отличие от творений Толстого и, еще более, Достоевского, нет никакой мощи. Они пленяют, но не потрясают...

Достоевский боролся за свою веру, иногда, как библейский Яков, вступая в единоборство даже с самим Богом и подчас, наедине с собой, изнемогая в своем безверии. В Достоевском мы созерцаем мощь в непрерывном движении, — борьбу душевную и духовное становление.

Тургенев, сквозь смутное и пассивное ощущение тайн и таинственности бытия, душевное состояние, промежуточное между верой и безверием, но лишенное силы, как веры, так и безверия, всё-таки как-то, если не касался Божества, то тянулся к нему. «Симплизм», упростительство рационалистического объяснения мира и отвага нигилистического отрицания Бога были Тургеневу так же чужды, как мучительная борьба за Бога маловера Достоевского и рационалистический фанатизм нашедшего свою веру Толстого.

Прага, 27-го августа 1933 г.

И. С. ТУРГЕНЕВ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ

Напоминание и воспоминание

I

Тургенев — мыслитель да еще политический!

Этот заголовок может кому-нибудь показаться странным.

Но тем не менее он содержит в себе правильную характеристику: Тургенев был вообще оригинальным и свободным умом, а потому и настоящим мыслителем.

Чем был Тургенев, как мыслитель?

Представьте себе поэтический дух Платона во власти или, вернее, под властью скептицизма — и вы получите Тургенева.

В процессе и своего личного развития, и какого-то могущественного коллективного заражения, во всем сомневающийся, ничего не утверждающий, Тургенев все-таки как-то проникся платонизмом (через Гегеля и гегелианство?).

Тургенев чаял высший мир идей-образцов и — целомудренно боялся верить в них и прикидывать к ним жалкие тени подлунного бытия.

Это странное сочетание стремления ввысь, в мир вечных «идей», с трезвым, а подчас и разъедающим анализом низменной действительности ярко сказалось и в художественном творчестве, и в политическом мышлении Тургенева.

Недостаточно осознано и оценено, что тургеневские «Стихотворения в прозе» являются книгой, в которой выразился *весь* Тургенев, с его двойственным ликом — платоника и скептика, художника-пессимиста, проникнутого не просто грустью, но подлинной скорбью, составленной из непреклонного идеализма и беспощадного реализма. Великие умы и большие творцы почти никогда не бывают «монистичны», выпечены из одного теста. Почти всегда в них соединено разнородное, и часто это разнородное ведет в их душах жесточайшую, явную или скрытую, борьбу.

Идеалист Тургенев ничего не идеализировал.

Из больших русских писателей, быть может, ни один, кроме Герцена, не был таким верным и страстным любовником свободы, как Тургенев. Но он с режущей ясностью видел, как далека была от «идеи» свободы историческая действительность вообще, и русская в частности.

Он эту действительность не изукрашивал и не приукрашивал никакими измышлениями лживой историософической идеализации.

Этим чарам поддался Герцен, влекомый сюда и преклонением перед якобы «русской» и якобы «народной» стихией, и отталкиванием от «буржуазного» Запада. С суровым мужеством Тургенев поборол чары народопоклоннической идеализации, под которые подпал его старший соратник и друг.

Памятником политического разногласия Тургенева со старшим и старым другом являются замечательные письма к Герцену великого художника (письма Герцена к Тургеневу не сохранились — повидимому, они были — в припадке слабости и даже трусости! — уничтожены самим Тургеневым: сохранились только немногие черновики Герцена).

В письме к NN от 8 октября 1862 года Тургенев так формулировал свое разногласие с Герценом:

Главное наше несогласие с О[гаревым] и Г[ерценом], а также с Бакуниным, состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные, или реформаторские начала в *народе;* на деле это — совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова — я бы мог прибавить: в самом широком значении этого слова — существует *только* в меньшинстве образованного класса — и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем [1]).

В письме к самому Герцену от того же числа Тургенев так разъясняет указанное им разногласие:

В столь часто повторяемой антитезе Запада, прекрасного снаружи и безобразного внутри — и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри — лежит фальшь, которая потому еще держится даже в замечательных умах, что она, во-первых, не сложна и удобопонятна, а, во-вторых, а l'air d'être très ingénieuse et neuve... Ты в течение почти четверти столетия (16 лет), отсутствуя из России, пересоздал ее в своей голове. Горе, которое ты чувствуешь при мысли о ней, горько? — но поверь, оно в сущности еще горше, чем ты предполагаешь, и я на этот счет больше мизантроп, чем ты. Россия не Венера Милосская в черном теле и в узах; это — такая же девица, как и старшие ее сестры, только что вот з... у нее будет пошире — и она уже... — и так же будет таскаться, как и те. Ну, рылом-то она в них не вышла,

---

[1]) Письма **К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену.** С объяснительными примечаниями **М. Драгоманова.** Женева, 1892, стр. 143. Опубликование этой, воистину исторической по своему значению, переписки, перла русской «эпистолярной» литературы, составляет большую заслугу Драгоманова, как публициста и историка.

говоря языком Островского. Шопенгауера, брат, надо читать поприлежнее. Шопенгауера». (там же, стр. 169-170) [2]).

Это потрясающее место, где одинаково изумительно и историческое прозрение, и глубочайшее бесстрашие тургеневской мысли, находящей себе жесточайшее символическое выражение, было через пять лет, в 1867 г., развернуто в замечательном диалоге Созонта Ивановича Потугина с Григорием Михайловичем Литвиновым. Устами Потугина говорит сам Тургенев, совопросник и друг-противник Герцена:

— Ну, а Россию, Созонт Иванович, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

— Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.

Литвинов пожал плечами.

— Это старо, Созонт Иванович, это общее место.

— Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да, вот, например, свобода и порядок — известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас: чиноначалие и безурядица? И притом, разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, souveraineté du peuple, право на работу, разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучной с ненавистью...

---

[2]) Эта ссылка на Шопенгауера у прошедшего через гегелианство Тургенева в высшей степени знаменательна. Конечно, как скептик, Тургенев был более сродни пессимисту Шопенгауеру, чем оптимистам Гегелю и Шеллингу, которых Шопенгауер ненавидел и презирал. Но и через Гегеля и через Шопенгауера Тургенев, сам того, быть может, не сознавая, как-то восходил к платонизму.

— Байроновщина, — перебил Литвинов, — романтизм тридцатых годов.

— Вы ошибаетесь, извините-с; первый указал на подобное смешение чувств Катулл, римский поэт... Катулл, две тысячи лет назад... Да-с; я и люблю, и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул: нужно было проветриться немного, после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошке.

Потугин не Тургенев, но он высказывает в «Дыме» собственные, выстраданные мысли Тургенева[3]).

И Губарев не Бакунин, не Огарев и уже совсем не Герцен (которого Тургенев любил и в полной мере ценил и как писателя, и как человека), но мысли Губарева Герцено-Огаревско-Бакунинские, и повадки его — злая карикатура на слабости Николая Платоновича (Огарева) и Михаила Александровича (Бакунина). Тут много карикатуры[4]), чего почти нет в Потугине, изображенном, как живое лицо с подлинной потугинской (= тургеневской) «правдивой, искренней печалью».

---

[3]) Однако, в скорбное изображение и личности, и судьбы, человека «священнического поколения», «бедного, желчного чудака» Потугина, дворянин, красавец и артист Тургенев вплел кое-что **свое** и притом **интимнейшее** свое. Тут есть и плен у г-жи Виардо и вообще вся горечь и сладость тургеневской личной жизни. Потугин — это классически удавшийся tour de force **«объективного»** психологического изображения, которое все соткано из подлинных глубочайших и тончайших «субъективных» личных переживаний, душевных (эмоциональных) и духовных (умственных).

[4]) Историко-социологически Степан Николаевич Губарев «сделан» из черт Н. П. Огарева, М. А. Бакунина и А. И. Кошелева. Быть может, сюда примешано еще кое-что от В. И. Кельсиева, которого, впрочем, Тургенев лично не знал. Но в отличие от выстраданного самим Тургеневым Потугина, как лицо, Губарев — карикатура.

Тургенев писал Герцену письма, Герцен отвечал письмами и статьями в «Колоколе».

Переписка эта в 1864 г. приостановилась на целых три года.

Спор вертелся вокруг основного вопроса, который в конце 1867 года (уже после появления «Дыма» в «Русском Вестнике» Каткова) Тургенев формулировал так:

> ...Это между нами старый спор: по моему понятию, ни Европа не так стара, ни Россия не так молода, как ты их представляешь: мы сидим в одном мешке, и никакого за нами специально нового слова не предвидится. Но дай Бог тебе прожить сто лет, и ты умрешь последним славянофилом и будешь писать статьи умные, забавные, парадоксальные, глубокие, которых нельзя будет *не* дочитать до конца.

Вторично посылая 7 декабря 1867 г. Герцену экземпляр отдельного издания «Дыма», Тургенев говорит: «Сама книга тебе, разумеется, не понравится». Еще раньше Герцен неодобрительно отозвался об этом произведении Тургенева, идеологически являющемся беллетристическим перифразом, или вариантом их переписки, на что Тургенев реагировал так (в письме от 22 мая 1867 г.):

> Тебе наскучил Потугин, и ты сожалеешь, что я не выкинул половины его речей. Но представь: я нахожу, что он еще недостаточно говорит, и в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которую возбудило против меня это лицо. Иосиф II говорит Моцарту, что в его операх слишком много нот. « Keine zu viel », отвечал тот. Я не Моцарт, еще гораздо меньше, чем ты, не Иосиф II, но я осмелюсь думать, что тут kein Wort zu viel.

То, что заграницей избито, как общее место,

у нас может приводить в бешенство своей новизной», (стр. 192, ср. письмо от 23 мая того же года, на стр. 195).

Еще одно место из этой замечательной переписки, ярко освещающее разногласие между двумя великими русскими писателями, любившими и ценившими один другого!

13/25 декабря 1867 г. Тургенев пишет Герцену:

> ...Ты, романтик и художник... веришь в народ, в особую породу людей, в известную расу: ведь это в своем роде тоже троеручица! И все это по милости придуманных господами и навязанных этому народу совершенно чуждых ему демократических социальных тенденций вроде «общины» и «артели». От общины Россия не знает, как отчураться, а что до артели — я никогда не забуду выражения лица, с которым мне сказал в нынешнем году один мещанин: «кто артели не знавал, не знает петли». Не дай Бог, чтобы бесчеловечно эксплуататорские начала, на которых действуют наши «артели», когда-нибудь применялись в более широких размерах!» (стр. 197-198).

В этом же письме Тургенев Герценовской вере в «самобытные» русские начала, совпадающие с социалистическим идеалом, противопоставляет свой идеал свободы и веру в *постепенную* эволюцию человеческих отношений на основе страшно трудно доступного всему человечеству, и в особенности русскому народу, начала свободы. Социалистической идее сплошного чуда преображения людей Тургенев, как убежденный «постепеновец» (самое это выражение вычеканено им!), противопоставлял проповедь культурного и политического воспитания сложными индивидуальными и государственными способами. Подлинную революцию он видел в воспитании людей свободой. «Я

отвечаю, как Скриб, — пишет Тургенев в том же письме Герцену, — prenez mon ours[5]) возьмите науку, цивилизацию и лечите этой гомеопатией мало-помалу».

II

Гораздо раньше Тургенева к трезвому и правдивому пониманию исторического соотношения между Россией и Западом пришел самый умный и, вероятно самый образованный из людей 40-х годов Василий Петрович Боткин. Его высказывания в этом смысле я 36 лет тому назад собрал в своей «марксистской» полемике с покойным Б. Н. Чичериным[6]).

К этим высказываниям Боткина, так же поражающим своей исторической проницательностью и политической трезвостью, как и письма Тургенева к Герцену, теперь можно прибавить следующее место из недавно опубликованного письма Боткина к Панаеву от 29 января 1858 г.:

> Мы уже так поставлены Судьбою, что нам принятие в себя европейского содержания требует больших усилий и самоотречения; только совершенно потерявши себя, мы снова можем найти себя; русскими мы от этого быть не перестанем, напротив — но зато не будем смотреть на Европу,

---

[5]) Ставшее у французов «провербиальным» выражение из водевиля Скриба и Сэнтина «Ourset le Pacha».

[6]) «Господин Чичерин и его обращение к прошлому» в журнале «Новое Слово» за 1897 г. (перепечатано в моем Сборнике «На разные темы», СПБ, 1902 г.).

«Марксистское» направление и, еще более, «марксистский» задор этой статьи мне теперь чужды, но она представляет первую и, повидимому, до сих пор единственную попытку обозначить историческое место Б. Н. Чичерина в развитии русской общественной мысли. В этой статье я не мог еще, по цензурным условиям, прямо цитировать «нелегальное» заграничное Драгомановское издание писем Тургенева о Герцене, но, однако, о них упомянул.

как гуси на гром. Дело не в том, чтобы окачиваться только европейской цивилизацией, а внутренне окраситься ею, и в этой-то внутренней окраске и состоит задача нашей русской жизни, да еще и многих будущих поколений. Увлекшись окружающею нас напряженною внешностью, мы не шутя вообразили себя умнее Европы и что наша жизнь сложилась совсем по другим законам, а на деле оказывается, что мы находимся только на самых низших ступенях ее развития [7]).

III

Тургеневу, как и большинству просвещенных и прогрессивных русских людей его поколения, недоставало чувства государственности. Я разумею под чувством государственности и элемент подсознательный: ощущение вещи государства, как некой непререкаемой ценности, которую можно и должно любить, не рассуждая и даже не задумываясь, и элемент сознательный: признание государства, как творческой культурной силы, стоящей принципиально вне классов и над классами.

У Тургенева было, кроме того, и какое-то странное недоверие к началу национальному. Эта черта вызывает изумление у такого все-таки глубоко национального писателя, но ее нельзя отрицать. Она отчасти связана с тем гуманитарным «просветительством», от которого Тургенев, при всем своем иррационализме, не мог никогда отделаться. Этим объясняется та национальная бесчувственность, я бы сказал, слепота, которая отталкивает современного читателя в некоторых суждениях Тургенева.

Тургенев не понимал, что в началах государствен-

---

7) **Тургенев и круг «Современника».** Неизданные материалы, Academia, Москва, 1930, стр. 434.

ности и народности присутствует некая имманентная, неустранимая мистика, пред которой индивидуальный дух не может не склоняться. В области чистой религии и отвлеченной метафизики он этот мистический «предел», повидимому, весьма отчетливо ощущал (см. письмо к Герцену от 28 апреля 1861 г. стр. 146 с цитатой из Гетевского «Фауста»: Wer dorf ihn nennen? и т. д.), и это спасало его от нигилизма и атеизма.

IV

В мое духовное и политическое развитие те историко-политические мысли И. С. Тургенева, которые были направлены против русского социально-политического мессианизма как в его консервативной, так и в его революционной редакции, вошли определяющим образом, как одно из самых важных «влияний», породивших тот строй идей, первым выразителем которого я явился в русской исторической и философски обоснованной публицистике и который стал известен под внушающим неправильные ассоциации и возбуждающим недоразумения наименованием *«легальный марксизм»*.

Оглядываясь сейчас назад, я могу сказать смело, что переписка Кавелина и Тургенева с Герценом, изданная в 1892 г. Драгомановым, для окончательного формирования моего историко-политического миросозерцания имела значение гораздо большее, чем известные полемические произведения П. Б. Аксельрода. Тургеневская интуиция разила «народническую» идеологию метче и безошибочнее, чем всякие экономические «рассуждения» и социологические «построения». На меня — и, может быть, со мною вместе и на других представителей нашего поколения — письма Тургенева к Герцену произвели огромное впечатление — трезвостью и честностью содержащихся в этих письмах историко-политических мыслей.

Хорошо известные нам афоризмы Потугина из «Дыма» явились перед нашим сознанием в их подлинном значении: развернулось во всем своем идейном драматизме столкновение таких умов, как автор «Былого и Дум» (мы ими зачитывались, как художественным произведением и общественно-политическим памятником) и автор «Рудина», «Дворянского Гнезда», «Накануне», «Отцов и детей», «Дыма», «Нови». Впечатление от посмертного, но живого голоса великого художника Тургенева, ставившего те самые вопросы, которыми жили и волновались мы, и обращавшего эти вопросы к первому русскому публицисту своей эпохи, было прямо-таки исключительно по силе. «Нелегальный» томик писем Кавелина и Тургенева к Герцену с обстоятельными и умными разъяснениями Драгоманова не только читался. Им умственная «элита» времени нашей юности, эпохи споров между народниками и марксистами, прямо зачитывалась.

ЮРИЙ САМАРИН

Опыт характеристики и оценки

Посвящается баронессе А. А. Нольде

Есть мнение, что славянам и, в частности, русским присущи беспорядочность и неустойчивость, отсутствие собранной и сосредоточенной энергии, что русские очень даровиты, но не выдержанны. Однако, все такие обобщения, именно как обобщения, не выдерживают критики.

Русские создали огромное государство, и создалось оно не только водительством социальных верхов, но и упорством народных масс.

В жизни и в творчестве образованных русских людей заметна не только блестящая одаренность, но есть и многочисленные и яркие примеры изумительной выдержки и упорства. Упорством в работе отличались Пушкин и Лев Толстой. В истории науки я не знаю столь поразительного примера сосредоточенной выдержки и упорства, как научная работа С. М. Соловьева. В 1850 г. он выпустил первый том своей «Истории России», в 1879 году — двадцать девятый и в этом году сошел в могилу. В течение 29 лет по тому «Истории»! Этот огромный труд двигал науку вперед широкими обобщениями, обогащал ее изысканиями на основе первоисточников, частью неопубликованных, и, наконец, являл образцы художественно-литературного изложения. По сравнению с С. М. Соловьевым даже такие историки, как Моммсен и Ранке, разбрасывались, а Анри Мартэн и Мишлэ компилировали.

Изумительный пример русской выдержки и упорства в духовном творчестве представляет Юрий Федорович Самарин, ум разносторонний и сильный, первоклассный писатель и государственный деятель в одном лице.

Книга бар. Б. Э. Нольде «Юрий Самарин и его время» (Париж, 1926 год), о которой я уже дал краткий отзыв, появляется весьма кстати и превосходно вырисовывает и обрисовывает этот обаятельный образ столбового дворянина, не бывшего никогда даже камер-юнкером, государственного деятеля, умершего в чине коллежского советника, и консервативного политического мыслителя и писателя, произведения которого, при его жизни, в значительной мере оказывались нецензурными и печатались заграницей .

Юрий Самарин был ученым, публицистом, государственным деятелем. Его имя связано с историей славянофильства, как духовного течения, с освобождением и устройством крестьян в России и Польше — в этой области роль Самарина была первостепенной, вдохновляюще-руководящей, с отстаиванием русской политики в Прибалтийском Крае. Во все эти вопросы он вносил присущее ему удивительное сочетание: обобщающего ума с неукротимым темпераментом, полета теоретической мысли с подлинно бюрократической точностью, вообще — холода и меры с жаром и страстью (холодность Самарина зорко подметил С. М. Соловьев) .

В области отвлеченной мысли и исторических обобщений Самарин был всецело — *славянофил,* стоявший на плечах Ивана Киреевского, Хомякова и Константина Аксакова, но самостоятельно воспринимавший и блистательно выражавший общее славянофильское учение. Лучшее, что было — в духе религиозно-метафизическом — написано против Герцена и его материалистического радикализма, это письмо к нему Са-

марина от 1864 г., опубликованное в «Руси» Ивана Аксакова за 1883 г. К сожалению, бар. Б. Э. Нольде не приводит этого классического, но малоизвестного и малодоступного письма в той его части, в которой оно, по своему основному смыслу, является предвосхищением «Вех» и всей вообще русской религиозно-метафизической критики материалистического радикализма[1]). Это очень досадный пробел в прекрасной монографии Б. Э. Нольде.

Но все-таки, в отличие от Киреевского, Хомякова и даже менее их даровитого (хотя вовсе не «тупоумного», как ядовито, но несправедливо говорил С. М. Соловьев) Константина Аксакова, ум Самарина был не философски-построяющий, а *чиновно-устрояющий* и упорядочивающий. В самом его уме была бюрократическая «прусская» складка. В том, что Самарин во время франко-прусской войны 1870 г. шутливо писал своей приятельнице, немке бар. Э. Ф. Раден, что они с ней последние немцы старого закала, —

> Il ne semble pas impossible qu'en fin des comptes il ne reste plus que deux Allemands de l'ancienne roche : Vous d'abord et puis un peu Votre très humble serviteur qui Vous baise cordialement les mains,

— в этой шутке заключалась какая-то внутренняя правда. Борец против германизма, Самарин был некоторыми весьма важными свойствами своей природы родственен («конгениален») германскому духу.

Самарин глубоко отличается от своего сверстника, гораздо менее даровитого и интересного, К. Д. Каве-

---

[1]) Насколько я помню, некоторые мысли этого письма повторены в Самаринском разборе «Задач психологии» Кавелина (по форме — тоже личное письмо). К сожалению, у меня под руками почти нет сочинений Ю. Ф. Самарина, и я пишу на память и пользуясь книгой Б. Э. Нольде, которая была написана еще в России и вряд ли могла бы быть написана заграницей.

лина. Самарин вовсе не интеллигент, тогда как из людей сороковых годов Кавелин, быть может, самый типичный русский либерал-интеллигент (именно либерал, а не радикал).

В Самарине, при всей его страстности, нет того бурного темперамента, тех чрезмерностей, а также того поэтического дара, которыми отличался Иван Аксаков, именно, благодаря сочетанию этих особенностей своего духа, ставший не только первоклассным публицистом, но и замечательным поэтом.

Чиновно-устрояющий ум Самарина был умом государственного деятеля и политического мыслителя.

В чем же заключалась основа его духа, как политика и политического мыслителя?

Живой дух человека слагается из некоторых основных свойств личности, из ее «психологических» черт и из идейного содержания или «фонда», в этой духовно-душевной личности как-то субъективно, единственно и неповторяемо, оформляемых. *Ходячие* политические *категории*, консерватизм, либерализм, радикализм только одной своей стороной выражают идеи, другой же они суть какие-то *психологические черты, душевные* уклоны, какие-то *«выражения»* живого лица.

По выражению своего политического лица Самарин был *консерватором*. В нем было почтение к быту, признание традиций, уважение к веками сложившимся иерархическим формам, к «лествичному» устроению человечества и человеческого общества.

В то же время в его христианском сознании *вера* была укоренена в *свободном* приятии. «*Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь* — стало быть я не верю — пишет Самарин. — Церковь предлагает только веру, вызывает в душе только веру и меньшим не довольствуется; иными словами: она принимает в свое лоно только *свободных*. Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не в Церкви и не от Церкви».

Вот почему, рядом с консерватизмом, другим выражением политического лица Самарина был *либерализм*, в его *исходной*, религиозно-укорененной, *сути*.

Был ли при этом Самарин тем, что мы называем консервативным либералом или либеральным консерватором?

Нет! Ибо идейное содержание Самарина, тот фонд мыслей, который усвоил себе он, как славянофил, искажал его консерватизм и не давал развернуться его либерализму. Как славянофил, Самарин при всей его практически-политической одаренности, при всем его внимании к живым реальностям политики, все-таки часто оказывался слишком мечтательным доктринером для того, чтобы быть трезвым консерватором.

И как славянофил он был часто слишком упрямым народником для того, чтобы быть последовательным и твердым либералом.

Это тем более жаль, что элементы трезвого консерватизма и твердого либерализма были крепко заложены и в психологической личности Самарина, и в его религиозном миросозерцании.

Содержательная и привлекательная книга, которую об Юрии Самарине написал бар. Б. Э. Нольде, неотразимо поставила перед моим сознанием задачу и тему другой книги, которая кем-то должна быть еще написана. Книги о другом русском политическом мыслителе, которому почти не дано было быть деятелем, о Б. Н. Чичерине. Именно потому, что в Б. Н. Чичерине психологические черты консерватора и либерала сопрягались не со славянофильством, а с другим идейным содержанием, Б. Н. Чичерин, несмотря на отдельные уклонения и ошибки, целостно и законченно воплотил в своем политическом идейном творчестве идею и построение *либерального консерватизма*, в этой целостности и полноте оказавшуюся недоступной Ю. Ф. Самарину.

Для того, чтобы показать, почему и как эта идея и это построение оказались недоступными Самарину, необходимо рассмотреть, как в его политическом мышлении ставилась проблема политического *охранения* и политической *свободы*.

Соответствующие страницы книги Б. Э. Нольде чрезвычайно содержательны, интересны и поучительны. Но проблема политического охранения в мышлении Самарина тут не вскрыта до конца и не доведена до полной ясности.

У всякого писателя есть наиболее *показательная формулировка*, есть характерный и определяющий ту или иную важную для него тему *текст*.

Таким текстом для самаринской философии политического охранения является центральное место из предисловия к «Окраинам России» [2]).

---

[2]) «Как русский, желающий посильно служить моей родине и в мое время, я не принадлежу ни к какой политической партии, даже не признаю разумной причины к образованию в современной России каких-либо партий свойства **политического**, в серьезном значении этого слова. Я не революционер и не консерватор, не демократ и не аристократ, не социалист, не коммунист и не конституционалист. Я убежден, что довлеет дневи злоба его и что далеко еще не наступило для России время думать об изменении существующей формы правления. Вижу, что самодержавная власть (что бы она сама о себе ни думала) никогда не была так сильна **нравственно** как теперь; думаю, что никакая другая власть, в настоящую минуту, не могла бы внушить такого к себе доверия, ни располагать так легко таким добровольным, единодушным и **беспритязательным** содействием народных сил; вывожу отсюда, что историческое призвание самодержавия еще не исполнилось и что ему предстоит совершить еще многое для блага России; крепко держусь той веры (все еще держусь, несмотря на все совершающееся и, по-видимому, готовящую минуту), что **по существу своему**, самодержавие отнюдь не несовместно с той свободой, в которой мы в настоящее время действительно нуждаемся, что наконец вопрос теперь не в том: какая форма правления для нас лучше, а в том: которое из двух побуждений, периодически сменяющихся в высших правительственных сферах, окончательно возьмет верх над другим: доверие или страх?

«Если восторжествует первое, то оно даст простор нашим национальным стремлениям и, тем самым, укрепит за нами наши государственные окраины, ибо Россия, развязанная у

Всякий политический вопрос ставится всегда в двух плоскостях:

Какое из различных политических решений желательно?

Какое из этих решений возможно?

Вопрос о желательности для реалистического политического мышления не может быть отделяем от вопроса о возможности.

Для пореформенной России, для России 60-х и 70-х гг., в терминах политического консерватизма государственная дилемма ставилась так:

себя дома, верная своему историческому призванию, непременно понесет и туда **действительную** свободу для всех, поставит на ноги народные массы и поднимет их дух — а на всех наших окраинах (к счастью, не вполне нами заслуженному) народные массы все еще за нас. Наоборот, второе побуждение повело бы к систематическому давлению внутри и к неразлучному с тем послаблению на наших окраинах — одно другим обусловливается. Мы это можем видеть на каждом шагу. Кто нашептывает правительству, что оно слишком далеко зашло на пути либеральных реформ, и пугает его полусвободою нашей печати, присутствием крестьян на земских собраниях и всесословным выбором мировых судей; кто проповедует необходимость подтянуть, обуздать и осадить русское общество, двинув против него аппараты полицейской власти, тот в то же время заигрывает с Польскою шляхтою и молча пасует при встрече с Балтийским рыцарством: равномерно, кто внутренно благоговеет перед Балтийской и Польской гражданственностью и лелеет про себя мысль украсить Россию, пересадив на почву ее политические идеалы, заимствованные у окраин, тот, вопреки кажущемуся либерализму своих стремлений, по крайней мере, своих фраз, оскорбляется в глубине души лепетом недавно пробудившейся Русской мысли, и, не будучи в состоянии усыпить ее вновь, по крайней мере отравляет ей полусвободу гласного выражения, только что ею полученную через его же руки. По-видимому, у этих двух людей точки отправления совершенно различные; но они приходят к одним результатам, и потому, раз встретившись, пойдут рука об руку до конца». *Окраины России*. Цитировано по первому пражскому изданию 1868 г. К читателю (предисловие это помечено: «Прага. Декабрь, 1867 г.», стр. II-IV).

Нельзя не отметить, что одного только наименования Самарин тут не отметает от себя: либерала.

Каким путем может быть Россия спасена или гарантирована от революционного потрясения, путем ли сохранения абсолютной (самодержавной) власти или путем «конституционного» преобразования, заключающегося в постепенном приобщении разных слоев населения к участию в государственном властвовании и в ответственности за государство?

Для Самарина вопрос желательности и возможности решался в первом смысле. Он был сторонником *либерального самодержавия.* В этой формуле находили удовлетворение и его консерватизм, и его либерализм.

Возможно ли было в России второй половины XIX века либеральное самодержавие?

Для Самарина этот вопрос решался положительно. Призывая к демократическому национализму на окраинах, Самарин отстаивал внутри России либеральный абсолютизм, твердо веруя, что оба эти уклона логически и реально связаны и соединимы для России. «Дома», «внутри» — развязать свободой народные силы; на окраинах — укрепить русскую государственность и русское национальное начало — такова была программа Самарина.

История ответила на выше изображенную дилемму в смысле, прямо противоположном тому ответу, который давал Самарин.

Эпоха Александра III и царствование Николая II, поскольку последний шел по стопам Александра III, сочетали «систематическое давление внутри», т. е. внутреннюю реакцию, с «националистической» политикой на окраинах, т. е. эта решающая для всего нашего внутреннего развития эпоха подготовки революции брала из схем Самарина лишь *одну* часть, отвергая *другую.* Это значит, что желательная Самарину схема оказалась исторически нереальной и невозможной.

Почему же диагноз и прогноз Самарина оказались столь ошибочными?

А потому, что у этого замечательного политического мыслителя ясность государственной мысли затуманивалась славянофильски-народнической доктриной, подновленной идеями Лоренца Штейна о социальной монархии. Самарин, возражавший против революции, как «рационализма в действии», характеризовавший ее, как «формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против свободы живого быта», не видел, что революцию в жизни, т. е. в душах, подготовляла реакция, поскольку она задерживала *постепенное*, иерархическое приобщение к государственной власти разных слоев населения, и что такое приобщение населения к власти и утверждение свободы лица составляют в живом быту развивающегося народа реально единый, нераздельный процесс.

Сторонники конституционного преобразования России в 60-х и 70-х гг. XIX века, против которых с таким упорством, достойным лучшей цели, боролся Самарин, *объективно* были и лучшими консерваторами, и лучшими либералами, и лучшими националистами, чем сам Самарин, хотя бы в свое время их выступления казались реакционными, а они сами представлялись близорукими сторонниками сословных преимуществ. Неужели после революции 1905 и 1917 гг. можно признать, что были правы братья Самарины и Иван Аксаков, когда они достойное и воистину охранительное обращение Московского Дворянства 1865 г. к Александру II: «Довершите же, Государь, основанное Вами государственное здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской, для обсуждения нужд, общих всему государству. Повелите Вашему верному дворянству с этой же целью избрать из среды себя лучших людей. Этим путем, Государь, Вы узнаете нужды отечества в истинном их свете. Вы восстановите доверие к исполнительным властям...» (Цит. по книге Б. Э. Нольде, стр. 189), — клеймили как «конституционную чесотку» и «бесплодную агитацию».

Через пять лет после этого обращения Самарин вместе с кн. В. А. Черкасским и Ив. С. Аксаковым сами внушили Московской Городской Думе адрес с требованиями свободы печати и свободы совести, т. е. с требованиями, *тоже конституционными* и по существу *даже более радикальными*, чем то привлечение выборных людей к обсуждению нужд, общих всему государству, на котором настаивали столь осуждавшиеся Самариным и Аксаковым московские дворяне.

Против замечательных мыслей об органическом конституционном преобразовании, высказанных забытым теперь и не оцененным в свое время публицистом — генералом Р. А. Фадеевым, Юрий Самарин пустил в оборот крылатое слово «революционный консерватизм». Теперь — после проделанного нами ужасного исторического опыта — это крылатое слово может быть с полным правом обращено против самого Самарина и применено к его идеям. «Консерватизм» Самарина следует post factum признать не «либеральным», а именно «революционным» по своим последствиям, ибо он оказался слеп к реальному сцеплению исторических сил и государственных идей, к тому сцеплению, вне понимания которого охранение *«России, созданной историей»* обнаружилось, как задача неосуществимая, и эту Россию действительно удалось *«напоить до потери исторического самосознания»* (последние выражения, взятые в кавычки и выделенные, заимствованы нами из того же предисловия к «Окраинам России»).

Произнося это суждение, мы в сущности устанавливаем исторический факт.

Наше суждение нисколько не устраняет, однако, того, что в Самарине перед нами обаятельная личность, которой принадлежит видное место в ряду героев русского духа. Эта нравственная сила привлекательна и этот крупный ум поучителен — даже в своих заблуждениях.

О ФЕТЕ — ПРОЗЕВАЛА ЛИ РОССИЯ ФЕТА?

Посвящается светлой памяти незабываемого старца — графа Константина Аполлинариевича Хрептовича-Бутенева.

В прошлом году исполнилось 40 лет со смерти большого русского поэта, значительного и своеобразного человека Афанасия Афанасьевича Фета-Шеншина. Читатель найдет в этом номере интересный этюд Л. М. Сухотина об отношениях Фета и А. Л. Бржесской (к ней и к ее мужу обращены, кажется, семь стихотворений поэта). В этой статье, между прочим, приводится суждение покойного поэта, беллетриста и критика Б. А. Садовского, что «Россия прозевала Фета».

С этим утверждением никак нельзя согласиться. Фет принадлежит к писателям, относительно рано имевшим успех и получившим признание. Вообще успех писателя, художника или желающего быть таковым, может быть весьма разнообразен и по захвату и по характеру и по темпу своего обнаружения. Есть писатели, сразу завоевывающие признание и становящиеся в первые ряды. Таким был Пушкин, несмотря на враждебную критику. Такими оказались — при сочувствии критики — Лермонтов и Лев Толстой. Уже гораздо сложнее был случай Достоевского: восторженно приветствованный и превознесенный Белинским, он был потом в сущности развенчан его же кругом и к признанию и славе всероссийской пробился не сразу

и не легко, а мировым писателем стал только по смерти.

Мы в юности, в гимназические наши годы пережили большой успех С. Я. Надсона, стихотворения которого одно время расходились в бóльшем числе экземпляров и читались больше, чем стихотворения Фета, Майкова, Тютчева (из них первые двое, почти ровесники, пережили бедного, сгоревшего от чахотки Надсона). Но, ведь, успех Надсона был и сознавался в свое время, как успех у гимназистов: мы сами, гимназисты и студенты того времени, читавшие и перечитывавшие Надсона, это понимали.

Я когда-то вспоминал о кружке молодежи, который в конце 80-х и начале 90-х гг. собирался у покойного К. К. Арсеньева, под его руководством, и нередко с участием других замечательных личностей эпохи (Владимира С. Соловьева, В. Д. Спасовича, А. Ф. Кони, С. А. Андреевского, А. Я. Пассовера). В этом кружке пишущий эти строки, кажется, еще гимназистом, прочел «доклад» о Надсоне. И тогда даже мне, еще вовсе не писателю, а совсем желтоперому птенцу от литературы, не приходило и в голову не то, что равнять, но даже сравнивать Надсона с Фетом или Тютчевым. Успех Надсона носил совершенно другой характер, чем успех Фета. Я отчетливо помню, что, читая и декламируя Надсона, мы *возбуждались*, тогда как «Вечерними огнями» Фета, вышедшими в 1883 году, мы *наслаждались*. В том же Арсеньевском кружке, когда я уже был студентом, мы прослушали превосходно составленный и мастерски сказанный доклад нашего университетского товарища Б. А. Никольского (потом политического деятеля крайне-правых убеждений, хорошего специалиста по римскому праву, профессора Юрьевского Университета, замученного и убитого большевиками). Этот юношеский доклад покойного Никольского был предвосхищением его позднейшей вдумчивой и любовной работы, как издателя и ценителя

Фета, навсегда связавшей имя Никольского с именем знаменитого русского поэта. Повторяю, наше поколение людей 90-х годов, родившихся около 1870 г., в той своей части, которая любила и ценила словесное искусство, не только знало и признавало Фета, оно его поэзией — *наслаждалось*.

Но Фет с первых же своих шагов приобрел любовь, захватив внимание, получил поддержку и со стороны отборных людей своего времени, тончайших ценителей словесного искусства, которые свои имена неизгладимо вписали в историю либо русской художественной литературы, либо русской литературной критики.

В самом деле, стоит только вспомнить такие факты, указанные самим Фетом. Все стихотворения, вошедшие в первый и второй его сборники («Лирический Пантеон» 1840 г. и «Стихотворения» 1850 г.), *«собраны и сгруппированы рукой Аполлона Григорьева»*, а с сборником 1856 г. («Стихотворения») ту же работу проделал кружок людей с И. С. Тургеневым во главе, кружок, к которому принадлежали Н. А. Некрасов, В. П. Боткин, А. В. Дружинин и другие видные литераторы, группировавшиеся тогда около редакции «Современника» (впрочем, уже тогда этот кружок распадался).

И тогда же с замечательной (неподписанной) статьей о Фете выступил (в «Библиотеке для Чтения») А. В. Дружинин [1]).

Роль Дружинина (1824-1864) в нашей литературно-художественной критике и — да позволено будет так выразиться! — вообще в нашей литературной об-

---

[1]) Я пользуюсь гербелевским изданием «Собрания сочинений» А. В. Дружинина, в седьмом томе которого (СПБ. 1865 г.) статья о Фете занимает стр. 115-130. Любопытна также заметка Н. В. Гербеля в его известной хрестоматии «Русские поэты в биографиях и образцах» (пользуюсь первым изданием 1873 г.).

разованности, даже после большого и превосходного этюда трудолюбивого и внимательного С. А. Венгерова, в его «Критико-биографическом словаре»[2]), недостаточно осознана и оценена. Дружинин был первым, самым образованным и самым последовательным представителем начавшейся около 1855 года «пушкинской реакции» (идея этой реакции, как «противодействия» тому «дидактизму», который развивал, опираясь, по недоразумению, на Гоголя, Белинский в последний период своей деятельности, принадлежит, кажется, Тургеневу; слово же, кажется, вычеканено именно Дружининым).

Перейдем теперь к тому, что сказал о Фете в 1856 г. этот замечательный русский критик.

«Судьба» изданных в 1856 г. стихотворений Фета — говорит Дружинин — интересует его «до крайности». «Такие книги не часто выходят из типографии, такие поэты не всякий год даются той или иной словесности, хотя бы из числа самых богатых в Европе».

Фет «дорог» критику, как поэт, который доставил ему «надолго столько истинно сладких мгновений!» «В Англии, в Германии, у нас во время Пушкина» такая книжка, «пленительная и оригинальная», «столь богатая сокровищами самой ясной, самой благодатной поэзии», выдержала бы несколько изданий в самое короткое время.

И Дружинин, бывший в свое время лучшим в России знатоком и ценителем английской литературы, задает вопрос: «Если цветистый и напряженный англи-

---

2) С. А. Венгеров, не будучи вовсе литературно одарен (в отличие от своего соплеменника, тонкого писателя и превосходного стилиста, М. О. Гершензона), был не только превосходным **организатором** научной работы, но также не просто добросовестным, а прямо честным **изыскателем**, который, насколько это было в силах его, как наивного радикала, не поддавался внушениям политической тенденции. Эта исследовательская честность очень явственно и привлекательно сказалась и в его обширном этюде о Дружинине.

чанин Альфред Теннисон выдержал десять изданий», то почему же нашему Фету не иметь столько же? «Светлое дарование Фета далеко оставляет за собой вычурное дарование Альфреда Теннисона». «Оригинальное дарование» Фета приближается к «дару импровизаторов или, вернее, древних *труверов*».

В чем сила Фета, как поэта? В «уменьи... ловить неуловимое, давать образ и название тому, что до него было не чем иным, как смутным, мимолетным ощущением души человеческой, ощущением без образа и названия». Фет «умеет забираться в сокровеннейшие тайники души человеческой. Область его невелика, но в ней он полный властелин, неспособный бояться никакого совместничества».

«Вдохновение и вера в силу вдохновения, глубокое понимание красок природы, сознание того, что проза жизни кажется прозой лишь для очей, не просветленных поэзией», т. е. «зоркость взгляда, разглядывающего поэзию в предметах самых обыкновенных» — в сочетании с «неотступным упорством в творчестве, не успокаивающимся до тех пор, пока данный и подсмотренный поэтический момент не передан с безграничной верностью» — таковы главные свойства этого исключительно своеобразного поэтического дарования.

Оно отмечено, впрочем, еще одним свойством — редким, по указанию Дружинина, в поэтах того времени, а именно — «высокой музыкальностью стиха». Говоря о том, что некоторые стихотворения Фета уже положены на музыку, Дружинин заключает, что она «при всех своих достоинствах, едва ли стоит музыки слов, написанной самим поэтом».

Примечательны в высшей степени и отзывы Дружинина об отдельных произведениях Фета:

> Под стихотворением, которым начинается книжка («О, долго буду я в молчаньи ночи тай-

> ной»), имя Пушкина не возбудило бы никакого удивления в читателе; мастерской, неслыханно-прелестный антологический очерк «Диана» сделал бы честь перу самого Гете, в блистательнейший период для германского олимпийца.

Останавливаясь на стихотворении «Степь вечером», Дружинин отмечает, что тут Фет, как изобразитель природы, и значителен, и оригинален — даже рядом с Пушкиным и Лермонтовым.

«Полуночные образы реют» — стихотворение, о котором

> невозможно не вспоминать в часы лихорадочной бессонницы, в глухую беспокойную ночь, под влиянием смутных ночных грез, иногда налетающих на человека... Содержание вещи сумрачно-неуловимо, как таинственный полумрак между рассветом и утренней мглой,

но Фет своим поэтическим даром делает его «и точным, и понятным, и сейчас только прочувствованным».

Стихотворение «Фантазия» критик называет «волшебным по... силе, оригинальности и стремительности... Подобные сны даются раз или два в жизни; подобные стихотворения редко пишутся и самыми могучими поэтами».

Стихотворение «Пчелы» («Пропаду от тоски я и лени») Дружинин характеризует как «одно из самых *фетовских* во всем собрании». «Перечитайте это стихотворение со вниманием (пишет он), и вы поймете», отчего Фету, «по преимуществу из числа всех современных нам поэтов, как русских, так и иностранных», должно принадлежать «звание угадчика поэзии».

Дарование Фета, как поэта, состоит именно в «передаче неуловимого».

Этот замечательный отзыв Дружинина о Фете, написанный и напечатанный в 1856 г., заканчивается следующими словами:

> Арабы, говорит нам Карлейль, веселятся в день рождения своих поэтов. Отчего и нам не позволить себе самого светлого настроения перед книжкою, которая делает столько чести *русской литературе и русской поэзии?*

Разве после такой оценки, данной Дружининым творчеству Фета, можно говорить, что «Россия прозевала» этого великого преемника Пушкина, Лермонтова и Тютчева? [3])

Ведь мы знаем, что Дружинин был в 50-ые годы XIX века самым образованным и эстетически чутким русским критиком. Это он в 32 года так оценил своего 36-летнего современника, поэта, которому было дано через 27 лет, в 1883 г., выпустить «собрание неизданных стихотворений» («Вечерние огни») «чудесную книжку», «листок чистого золота, появившийся среди мишуры и фольги», как тогда же сказал другой замечательный русский критик, Н. Н. Страхов. Я помню живо, как, будучи политически радикальным гимназистом, я упивался этой книжкой в лиловой обложке, найденной мною в 1888 г. в библиотеке одного близкого мне человека, очень «передового» образа мыслей. А тот, быть может, или даже — наверное, приобрел и прочел эту лиловую книжку, узнав о ней из рецензии именно Николая Николаевича Страхова. Ибо даже радикалы в 80-х годах уже внимательно прислушивались к этому «магистру зоологии» и члену Ученого Комитета Министерства народного просвещения, другу

---

3) Я не останавливаюсь на других фактах, более известных: включении стихотворений Фета в хрестоматию Галахова еще в 1843 г., рецензии В. П. Боткина в «Современнике» за 1857 г. и т. д., и т. д.

Достоевского и Толстого, как ценителю литературы и поэзии, хотя Н. Н. Страхов был тогда заведомым политическим консерватором, — правда, более умеренным, чем сам «величайший чародей, несравненный поэт», владеющий «магическим стихом» (слова Страхова), слывший заядлым «крепостником» и «ретроградом», Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин, камергер Высочайшего Двора и личный друг великого князя Константина Константиновича (К. Р.).

Для эстетических оценок нашего поколения все это не имело решительно никакого значения.

Белград, 2-го февраля 1933 г.

ДВЕ РЕЧИ О ДОСТОЕВСКОМ

1. Достоевский — великий грешник

Речь, произнесенная на собрании в память Ф. М. Достоевского в Белграде 28 января (10 февраля) 1931 г. [1]).

То поколение, к которому я принадлежу, люди, родившиеся около 1870 года, не были современниками Достоевского и в этом смысле не жили с ним. Но Достоевский принадлежит им больше, чем своим современникам-сверстникам. Достоевский начал возбуждать умы, потрясать души, становился духовной силой — незадолго до своей смерти. К моим самым ярким детским воспоминаниям чисто духовного порядка относится тетрадка «Дневника писателя» с речью Достоевского о Пушкине, разговоры и споры старших об этой речи, затем письмо, которое моя мать получила от знаменитого писателя. Я не помню содержания этого письма, наверное пропавшего. Но для меня ясно одно: моя мать была из числа тех многих, но все-таки единичных, сверстников и сверстниц Достоевского, для которых он около 1880 г. стал учителем жизни, светским духовным отцом, тем, что французы называют directeur de conscience. И, как всегда

---

1) Я воспользовался для этой речи, во многих местах — буквально, своими статьями: «Пророк русского духовного возрождения» («Русская Мысль», 1921, кн. X-XII. Софийское издание) и «Сила и ужас Достоевского» («Возрождение», № 534, 18 ноября 1926 г.). *П. С.*

бывает, в мою детскую память врезалось навсегда зрительное впечатление: своеобразный почерк Достоевского и его подпись, которую я увидел под этим письмом. А потом незабываемые рассказы отца, которому привелось быть на грандиозных петербургских похоронах Достоевского.

Значение Достоевского, как духовной силы, как писателя и учителя, после его смерти все росло и росло. В самом деле, иначе и не могло быть. Достоевский в одном лице — и великий художник и религиозный мыслитель, сочетание, если не единственное в мировой литературе, то во всяком случае единственное рядом и после Данте. Но более того: этот великий художник сам есть огромное религиозное явление.

Один английский автор, написавший интересную и серьезную книгу о Достоевском, сказал, что у Достоевского не было жизни. Трудно было произнести суждение более превратное. У Достоевского не было, быть может, **биографии,** но у него была **жизнь,** исключительная по напряженности, ибо до краев полная самым основным религиозным содержанием, жизнь вовсе не только писательская или литературная. Мы можем о многом в этой жизни только догадываться, ибо он поведал нам о многом, им пережитом и выстраданном, лишь в объективных образах и проблемах своих «беллетристических» произведений. Но их объективность не только не есть протокольность, она не есть даже чисто художественное изображение чего-то, вне их творца существующего. Личный душевный опыт Достоевского воплотился в фигуры и драмы его произведений: то, что думают и делают его «герои», этим **жил** он **сам,** над этими безднами он сам стоял, не отвлеченно, не «воспроизводя» их, как воспроизводили драмы жизни другие художники, а в самом подлинном смысле слова. Раскольников это не произведение Достоевского, это сам Достоевский.

Соберите Карамазовых, Федора Павловича, Ивана, Димитрия и Алешу, и вы получите Достоевского. Или иначе: разложите Достоевского на отдельные стороны его страшно сложной натуры и вы с изумлением, я даже скажу: с содроганием увидите перед собой Карамазовых. «Братья Карамазовы», а не «Преступление и Наказание», как думал Розанов, и являются основным произведением Достоевского: в нем он сложил и воплотил свой личный религиозный опыт, свою страшную борьбу с Богом и за Бога, свое неверие и свою веру, свое безбожие и свое благочестие, свою смрадную греховность и свою страстную жажду очищения и чистоты. Он в своей душе носил касание этих полярностей, враждебных и в то же время родственных. Но носил и переживал он это касание не как эстетическую и психологическую игру, а как религиозную жизненную реальность, из которой исход один: **Бог.** Как могут сосуществовать грех и Бог, страдание и Бог, несправедливость и Бог, — этими вопросами мучился Достоевский, в эти загадки и тайны он хотел проникнуть. Одна мысль была — начисто, совсем, отвергнуть Бога. Вне всякого сомнения, много раз Достоевский подходил к этому решению. Но он приял Бога, и это приятие Бога, трудное и в то же время радостное, есть главная тема не то что его произведений, но всей его жизни, с ее страстями и борениями, с ее муками и восторгами, с ее падениями и подъемами.

Достоевский сильнее, ярче, непосредственнее, чем какой-либо другой писатель, наблюл, уловил и изобразил не раздвоенность только, а расщепленность и сложность человеческой природы. Не трудно, конечно, было прийти к отвлеченному положению, что «человек сложная машина», как говорит один из героев Достоевского, но изобразить эту сложность, эту расщепленность мог только тот, кто ее сам

в своей душе носил и в борениях и нестерпимых страданиях переживал **так,** как носил и переживал, от душевных мук обливаясь кровавым потом, Достоевский.

Когда видишь теперь на сцене в художественном изображении Московского Художественного Театра Ф. П. Карамазова, Смердякова, Фому Фомича, то чувствуешь и понимаешь, что их душевное нестроение, мучительную расщепленность их духа Достоевский извлекал изнутри себя самого. Сам Достоевский был и Ф. П. Карамазовым, и Смердяковым, и Ф. Ф. Опискиным.

Основой всей выстраданной Достоевским веры, стержнем его религии была идея искупления или оправдания Христом, идея спасения живой верой в живого Христа. Эта религиозная идея сливалась у Достоевского с его чисто художническим ощущением основной эмпирической противоречивости и расщепленности человеческой природы, той греховности, которую могут побороть и преодолеть только вера и благодать.

Девизом своего художественного восприятия человеческой природы православный художник Достоевский мог бы взять основоположное религиозное изречение Мартина Лютера, выражающее глубочайшую религиозно-психологическую истину вселенского христианства: simul justus et peccator.

Всякий человек, приобщающийся живой веры в живого Христа, есть **одновременно и праведник, и грешник.** Достоевский, как художник, ощущал таким двуединым существом всякого живого человека и именно поэтому «высший плод» человеческого творчества, красота, представлялась ему страшной и таинственной вещью, «тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Достоевский был великим грешником в том реальном смысле, в каком ими бывали Фиваидские и

иные христианские старцы. И его писательство было послушанием. Не в переносном, а в том совершенно реальном религиозном смысле, в каком монахи налагали и налагают на себя послушание. Кто знает? — быть может, Достоевский под конец жизни так же пришел бы к подлинному иночеству, как это сделал другой великий грешник и великий религиозный мыслитель Константин Леонтьев.

Достоевский пришел трудным и скорбным путем греха и борьбы к Богу, ко Христу, к Церкви. То, что он стал верующим христианином, православным, не есть какое-либо «случайное» и несущественное «биографическое» дополнение к его художественной деятельности. Наоборот, художественное творчество в процессе душевного опыта Достоевского стало лишь своеобразным, для него лично естественным и необходимым, выражением его религиозного послушания. А это религиозное послушание было для него главным итогом его жизни, было в сущности — его жизнью.

Только так можно понять Достоевского. Его писательство и его вера тесно связаны с его жизнью и с его грехом. Алеша Карамазов, брат Ивана и Мити, рожден Федором Павловичем и благословлен старцем Зосимой — это не литературная «выдумка» Достоевского, в этом рассказе о Карамазовых он поведал нам свой религиозный опыт, опыт греха и покаяния, отвержения Бога и Его приятия.

Достоевский — громадное религиозное явление, как бы учитель веры и отец церкви в оболочке великого светского писателя многосоставной культурной эпохи. Как таковой, он гораздо больше и сложнее, а потому и труднее для понимания, чем великие пророки и учителя веры прежних времен. Но по существу и в конечном итоге он относится к ним. Его философское и политическое мировоззрение — Досто-

евский величайший борец против атеизма, материализма и социализма — может быть понято тоже только как источение его религиозной веры. Он был и националистом во имя Бога, ибо в национальном **призвании** России он видел подлинный **зов Божий.**

Католическая, протестантская, православная религиозность суть разные типы христианской религиозности вообще, и религиозность Достоевского была именно православной и притом русско-православной. В ней не было организационной суровости ни римско-католической, ни даже византийской. Недаром византийцу Константину Леонтьеву эта религиозность представлялась каким-то «розовым христианством», чуть что не гуманизмом, прикрывающимся христианством. Это было не так: в старце Зосиме, а потому и в Достоевском, больше религиозной русскости, чем в Константине Леонтьеве, хотя последний умер иноком Оптиной пустыни. Бывший последователь Фурье и поклонник Жорж Занд, Достоевский стал настоящим столпом православия с исключительной, единственной силой. Если в какомнибудь историческом явлении вообще выразилось положительное мировое значение русской духовности, как национальной и вероисповедной стихии, то именно и прежде всего в грандиозном явлении художника и мыслителя Достоевского. Будучи по духу православным и русским, Достоевский в то же время и именно поэтому получил мировое значение и признание.

Достоевского Мережковский назвал «пророком русской революции». Это верно в самом точном смысле слова. Теперь мы уже знаем, что Достоевский воистину предрек русскую революцию во всем ее духовном происхождении и существе. «Бесы» не только роман, а в некоторых частях написанная провидцем пророческая книга о России, потрясающая книга,

подобной которой нет ни в какой другой литературе. Но в какой литературе есть что-либо подобное и «Братьям Карамазовым»?!

Не является ли Достоевский, как провидец и духовный вождь, пророком не только русской революции, но и русского духовного возрождения?

Да, он таков. Ибо возвещать возрождение и подлинно возрождать могут только носители религиозного света.

А великий грешник и великий страдалец Достоевский носил в себе и высоко вознес для русских этот вечный светильник.

2. Достоевский — путь к Пушкину.

Речь, произнесенная 15-го февраля с. г. в торжественном собрании Русского Научного Института в Белграде.

Достоевский — единственный в мировой литературе после Данте и рядом с ним пример великого художника и великого религиозного мыслителя в одном лице. Собственно, по силе и напряженности религиозного мышления с Достоевским могут, насколько я обозреваю, быть сопоставлены в XIX веке следующие умы, погруженные в религиозные проблемы:

шотландец **Томас (Фома) Карлейль;**
датчанин **Серен Киркегор;**

русский **Константин Леонтьев,** уже столкнувшийся с Достоевским и с ним померявшийся силами;
немец **Фридрих Ницше,** уже испытавший на себе влияние Достоевского.

Особенно могуч, как религиозный мыслитель, датчанин Киркегор, протестант, не убоявшийся на-

помнить человечеству о подлинном аскетическом лике христианства.

Но как бы ни оценивать умственные дарования и писательскую силу этих по-разному очень больших писателей, к которым можно присоединить еще чистого француза **Леона Блуа** и немца, ориенталиста и публициста-философа, **Павла де Лагарда,** ни один из них не был художником-творцом. Всего больше, быть может, предвещали грандиозное явление Достоевского великие польские писатели **Адам Мицкевич** (род. 1798 г.) — помните, Пушкин о нем сказал: «он вдохновен был свыше и с высоты взирал на мир», — и **Сигизмунд Красинский** (род. 1812 г.), «Небожественная Комедия» которого изображает мировую революцию и кончается явлением Христа, быть может, вдохновившим нашего несчастного Александра Блока в его «Двенадцати».

Странная игра истории — не имевший никаких ни польских, ни католических симпатий Достоевский по напряженности религиозно-эсхатологического чувства всего ближе именно к великим мистикам польской литературы! Но Красинский не был художником-творцом в подлинном смысле, а Мицкевич, как художник, не сопрягся с Мицкевичем-мыслителем. Достоевский же велик органически мощным и гармоническим в своей мощи совмещением в одном лице художника-творца и религиозного мыслителя.

Это совмещение обусловило другую универсально-историческую черту значительности Достоевского.

Достоевский стал для не-русского мира самым полным, самым сильным, самым ярким выразителем русского духа. До Достоевского историки-исследователи могли знать и измерить — знали ли и измерили ли? — это другой вопрос — русское православие, как особую стихию человеческого духа, выразившую какую-то важную, неповторимую и неотъемлемую

сторону вселенского христианства, как живого и многогранного исторического явления. Достоевский ее воплотил в образах и сам явился ее живым воплощением. В лице Достоевского, таким образом, произошло вступление русской духовной стихии, как могущественной и равноправной силы, в общий круг мировой культуры. Пусть эта сила еще не понята, пусть она еще не разгадана, пусть она предстает перед остальным миром во образе какого-то рокового в своей темноте и загадочности сфинкса, но ее особое лицо признано, ее духовное своеобразие ощущено.

И это сделал Достоевский. В этом его мировое значение.

И неслучайно эта роль выпала на долю Достоевского.

Мнение замечательного русского философа-критика, друга Достоевского, Страхова, что Достоевский, как художник, есть крайне субъективный писатель, в этой категорической форме не может быть поддерживаемо. Наоборот, история произведений Достоевского показывает, что его психологический анализ не есть просто отчет об его личных, субъективных переживаниях. Конечно, его творчество есть его жизнь. Но свой огромный жизненный опыт, грешника и страдальца, Достоевский, как художник, заставил себя и сумел — объективировать. Эта черта Достоевского, как художника, стоит в связи с его основным свойством, как человека. Человек великих страстей и великих падений, Достоевский был в то же время человеком огромной воли. Он эту особенность хорошо сознавал и «объективировал» в своих творениях (между прочим, в изображении Николая Ставрогина). В этом отличие сильного волею, хотя и больного, Достоевского от слабых в волевом отношении, но физически гораздо более крепких русского барина и «баденского буржуа» Тургенева, «статского или действительного статского советника» Гончарова, помещи-

ка и «поэта и историка» помещичьего круга, по определению самого Достоевского, «психолога дворянской души» Льва Толстого. Вот почему, несмотря на удары судьбы (каторга), на жестокую нужду (вечно не было денег, бегал от кредиторов), на увлечения (страстный картежник) и искушения (его личная жизнь была сложна, и женщины в ней занимали не мало места), Достоевский мог творить так много и так энергично.

Достоевский первый и единственный гениальный представитель «разночинца» в русской литературе. Он — порождение не залитой солнцем сельской «дворянской» культуры, а туманного и сырого чиновничьего Петербурга (хотя он и родился в Москве), с его гнетущей обыденщиной, с его давящей тоской, с его надрывами и чрезмерностями. Помните «Белые ночи»?

Если для иностранцев Достоевский есть самый яркий и непререкаемый выразитель русского духа, то для русских рядом с Достоевским и над ним стоит человек, перед которым сам Достоевский в подлинном духовном восторге преклонился, как перед вершиной русского духа.

Это — Пушкин.

Речь Достоевского о Пушкине была не только событием, но останется самым ярким и самым полновесным фактом в истории русского духовного развития.

Достоевский выразил в своем творчестве одну основную мысль: мысль о Боге. «Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божье». Но творчество Достоевского — это именно мука, цепь страданий и борений. Творчество Пушкина — это легкость и ясность. Сложный и тяжелый, напряженный и мрачный Достоевский преклонился перед простым и лег-

ким, светлым и ясным Пушкиным и тем показал, что он, Достоевский, он сам есть **путь к Пушкину.**

В этом Достоевский пророчески значителен, как духовный водитель.

В цепи страданий и борений, падений и подъемов, которую составляла его жизнь, великий грешник, доходя «везде и во всем до последнего предела», «всю жизнь за черту переходил».

Чрезмерность Достоевского есть выражение его исключительно расщепленной («сам дивится себе, сам испытывает себя и любит опускаться в бездну»), исключительно страстной («натура моя подлая и слишком страстная» [2]), и в то же время «из страстности гордой и владычествующей натуры» (письмо 1854 г.).

И это живое воплощение «чрезмерности», глубоко почвенной, национальной, русской, склонилось перед гением мощной меры и мерной мощности, Пушкиным, про которого сам Достоевский в гениальном наброске «Житие великого грешника» сказал: «Один Пушкин настоящий русский».

Событие огромной значительности, пророчески драгоценное, указующее путь!

Русская чрезмерность в лице Достоевского преклонилась перед великим и таинственным законом меры, в его высшем русском воплощении мощного «всечеловека» Пушкина.

Сам Достоевский, перед уходом своим из этого мира, который он так ясно предвкушал, указал нам путь к Пушкину, тому Пушкину, одним из заветов которого было:

В мерный круг
Твой бег направлю
Укороченной уздой.

---

[2]) Письмо к А. Н. Майкову из Женевы от 16-28 августа 1867 г., впервые целиком по автографу напечатанное в «Переписке Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева», СПБ, изд. «Академия», 1928, стр. 154-174.

Н. С. ЛЕСКОВ

Несколько черт из воспоминаний

Судьба Н. С. Лескова, как деятеля русской литературы, своеобразна.

На три года только моложе Льва Толстого, Лесков в общественном признании отстал от Толстого, а тем более от Тургенева, лет на 30-40.

Обращаясь к своим воспоминаниям, я могу сказать, что для отцов нашего поколения, т. е. для людей, родившихся между 1820 и 1830 годами, Лесков не был классиком, хотя они его знали и на свой лад ценили, и что на памяти именно нашего поколения и в значительной мере уже после смерти Лескова, произошло общественное признание его значения, огромный рост его известности, ставшей — всецело на нашей памяти — славой.

В этом нет ничего удивительного. Добролюбов в конце 50-х годов как первого русского писателя называл С. Т. Аксакова. Значит, около 1860 г. самый влиятельный в ту пору русский критик не ставил еще в первый ряд литературы ни Тургенева, ни Толстого, ни Достоевского. Между тем в эпоху, когда я начал читать отечественную беллетристику, т. е. в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия, именно эти писатели непререкаемо стояли в первом ряду русской да и мировой литературы, тогда как Лескова в это время, если и читали, то считали одним из очень и очень многих.

Лесков в русской литературе, как словесном ис-

кусстве, не стоит, впрочем, одиноко. Во-первых, он был всегда писателем с направлением, сперва одним, потом другим, и воспринимался именно как таковой общественным сознанием. Засим, и по своей общей манере, по стилю и характеру своего творчества, при всем своеобразии этого творчества, Лесков вовсе не стоит особняком в нашей литературе.

С внешней стороны Лесков — бытовик с исторической окраской. Не исторический романист, в отличие от Лажечникова, Загоскина, Нестора Кукольника, Гр. П. Данилевского (который, впрочем, был тоже и бытовик), а именно исторически окрашенный бытовик. Как бытовик, Лесков подхватывает нить, с одной стороны, Владимира Ивановича Даля-Казака Луганского, с другой, становится как бы в один ряд с Алексеем Феофилактовичем Писемским, с Павлом Ивановичем Мельниковым-Печерским и с Г. П. Данилевским. Особенно ясна связь Лескова с Далем. Теперь стало общим местом признание исторически-бытовой красочности Лескова и его языка. В этом отношении Лесков примыкает к Далю, превосходя его как творец и не достигая его как систематик-коллекционер. И так же, как Даль, как Гоголь, как Достоевский, Лесков как-то восходит к Эрнсту Теодору Амадею Гофману, гениальному писателю, способному музыканту, порядочному судье и несравненному гуляке, самому в л и я т е л ь н о м у немецкому писателю первой четверти XIX века, романтическому крестному отцу и Бальзака, и Гоголя, и Достоевского.

Но в творчестве Лескова и, общее, во всей его жизни было движение и не только движение, была глубокая внутренняя борьба. Я имею тут в виду не столько то, что Лесков после публицистически-обличительной «правой» стадии своего творчества, когда он разошелся с либеральным и радикальным общественным мнением, постепенно уходил, а под конец

жизни окончательно ушел и от этих «правых», литературных и официальных, кругов. Лесков испытал и другой переворот, чисто личный и глубоко интимный.

Мне несколько раз пришлось видеть Н. С. Лескова в период времени примерно между 1888 годом и годом его смерти, 1895-м, т. е. когда мне было 18-25 лет. Это была эпоха самого сильного влияния Толстого, как религиозного мыслителя, влияния, захватывавшего все поколения и все виды творчества (напомню о влиянии Толстого на Н. Н. Ге и на А. Ф. Кони!), и я видел Лескова как раз на первом чтении в Петербурге одного из не напечатанных еще, волновавших публику произведений Льва Толстого, в довольно тесном кругу лиц, которые, однако, все были так или иначе под обаянием Льва Толстого, как религиозного мыслителя. И Лесков в последние годы жизни испытывал огромное влияние Л. Толстого. Собрались в квартире А. М. Калмыковой. Тут были, кроме хозяйки, помнится, толстовец П. И. Бирюков, позднее биограф Толстого; А. Ф. Кони; благообразный старичок, знаменитый живописец Н. Н. Ге; либерал и в то же время поклонник Толстого, кн. Д. И. Шаховской; близкие к нему братья Сергей и Федор Федоровичи Ольденбурги; и несколько других лиц. Со всеми ними я раньше встречался, только Лескова я увидел тут впервые. Как живой встает он передо мной. Войдя в комнату, где мы собрались — это была поместительная, но низкая комната первого этажа, во двор, в том доме на Литейном проспекте, в котором умер М. Салтыков-Щедрин — Лесков грузно опустился в кресло. Он не производил впечатления ни мягкого, ни общительного человека. Наоборот, его глаза остро и в то же время скорбно смотрели как-то поверх присутствующих, куда-то не вдаль, а точно внутрь. Страшный и жуткий взгляд!

В чем же была разгадка влияния Толстого на

Лескова, почти такого же старика, как и сам Толстой? Мне кажется, дело обстояло так. Лев Толстой привлекал тогда Лескова не своей борьбой против церкви — вряд ли в отрицании церкви Лесков следовал за Толстым, — а своим бунтом против плоти. Словом, Толстой действовал на Лескова не как выразитель свободомыслия, а как проповедник аскетизма. Я тогда же ощутил это, а в настоящее время, оглядываясь назад, я в этом совершенно уверен.

Подобно Льву Толстому, Лесков был человеком сильных страстей и страстных переживаний. У Толстого эта страстность осложнялась самовлюбленностью и эгоистической холодностью натуры. Холод Толстого был его силой. Я думаю, что Лесков был лишен этого сильного Толстовского холода, был лишен его и в своей страстности и в своем позднейшем аскетическом отвращении от нее, был проще и цельнее. Он духовно и чувственно, до подлинного и сурового аскетизма, возненавидел свои страсти и свою плоть. В аскетизме Лескова и Толстого было то общее, что и физиологически и психологически в основе его лежал у обоих непобедимый, животный и в то же время как-то с животностью спаянный религиозный страх смерти, сочетавшийся у Лескова, так же как у Толстого, с непреодолимым художническим и художественным, эстетическим интересом к смерти, к ее подробностям, к ее безобразию, о котором так лапидарно говорил чин православного отпевания: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразную, бесславную, не имущую вида».

«Лесков, — говорит г-жа Н. Макшеева в своих наивных, но любопытных и ценных воспоминаниях о последних годах его жизни (см. «Московский Еженедельник» от 25 октября 1908 г., стр. 50), — считая людскую жизнь бренной и скоропреходящей, много думал о смерти. Героическая смерть Сократа была

для него образцом достойной кончины. — “Ну, полно, можно ли не бояться смерти?” — говорил ему один из знакомых. — “Потому-то я и ценю Сократа, что мне самому далеко до него” — отвечал он. В то же время Лесков «считал полезным напоминание людям о смерти. В фельетоне г. Суворина “Тень Достоевского” ему понравилось описание того, как бабы мыли покойного писателя. — “Почаще бы надо рисовать людям такие картины” — говорил он. “Живо запечатлелась у меня в памяти подобная же сцена, когда мыли тело моего покойного отца. Я думаю когда-нибудь описать ее” — “Да, великая заслуга Льва Николаевича”, — продолжал он [Лесков], — “что он изображает, как тело самой красивой женщины стареется, являются седины, морщины. Самые обаятельные женщины теряют свою прелесть, когда случается их видеть в курортах, каждый день, во всех видах, больными и без прикрас. Тем более, когда надвигается для них старость”».

«Как сильно волновал его вопрос о той неизвестности, которую ставит перед человеком смерть, показывает один из наших разговоров. Толковали мы о целях жизни, о стремлении некоторых людей улучшить современное положение России. “Да что вы все говорите о России! Об этом ли надо думать?” — обратился он ко мне. “Думайте о том, что вот вы сейчас сидите здесь, и вдруг вас не станет, и вы явитесь перед лицом Бога”. И эти слова были произнесены с такой тревогой в голосе, что жутко стало. Признавая тщету чувственных удовольствий, Н. С. тем более не понимал культа мертвого тела. Однажды, выслушав мое стихотворение “На могиле Герцена”, он заметил: “Зачем останавливаться на могиле? Вы лучше напишите, что Герцен умер, но дух его жив”».

В тех же воспоминаниях г-жи Макшеевой мы читаем об отношении Лескова к Льву Толстому:

«Останавливая свою тревожную мысль на иска-

телях Божества, старающихся выяснить себе и миру смысл жизни, Лесков видел такой светящийся маяк [...] из современных писателей в Л. Н. Толстом, наиболее удовлетворявшем голодную душу Н. С. На Толстого он смотрел, как на мудреца, не понимаемого современниками, которого оценят в будущем. "Наши потомки будут говорить: это было в век Толстого, как называли век Вольтера", — говорил он».

Увлечение Лескова в последнюю эпоху его жизни Толстым и его религиозностью, хорошо известное всем в ту пору знавшим Лескова, знаменовало, на мой взгляд, некоторое оскудение духовной, и в частности художественной, силы автора «Соборян». Моралист в эту эпоху урезывал и подрезывал в Лескове художника и удалял его от его стихии, быта. А в то же время морализирование обедняло и религиозность Лескова. Этот изобразитель русского духовенства, который постиг не только низины и слабости его быта, но и вершины и красоты его духа, под конец своей жизни неспособен был понять такое большое духовное явление, какое представлял о. Иоанн Кронштадтский.

Вне всякого сомнения, Лесков вошел как большая величина в историю русской словесности и духовности, но не своей последней фазой, не как узкий моралист, испытавший на себе подавляющее влияние Толстого, а своей срединной фазой, художественно, через быт и бытие, уловивший и восприявший стихию религиозности вообще, русской народной религиозности в частности и в особенности, и воплотивший ее в ряде незабываемых и потрясающих образов.

Белград.

15 июня 1930 г.

МАСТЕР МИСТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Речь, произнесенная в Белграде на собрании по случаю 100-летия рождения Н. С. Лескова.

Писатель, которого мы поминаем сегодня, имеет свою особую судьбу и, конечно, свое особое лицо.

Прежде всего, о судьбе Лескова.

Большой талант, он разошелся с «общественным мнением» эпохи нетерпимой и тиранической и в самом начале своей карьеры подвергся тому, что знаменитый русский критик и философ Н. Н. Страхов, друг Аполлона Григорьева, Достоевского и Льва Толстого, назвал **«литературной казнью»**. Вот как Страхов характеризует настроения и явления той эпохи:

> Понемногу начались действия, которые, кажется, всего лучше назвать литературными казнями. Эти казни сначала были редки и совершались сперва с тем единодушием, которое тогда было свойственно литературе. Если какой-нибудь писатель оказывался виновным, то, бывало, вся литература набрасывалась на эту жертву, набрасывалась так же, как на взятки, побой или какой-нибудь другой безобразный поступок, выплывший на свет Божий. По всем журналам сыпались бесчисленные насмешки, и несчастному писателю приходилось плохо. Такое времяпровождение очень-очень понравилось, и нашлось много охотников до такой расправы, производимой в собственном литературном кру-

гу. Партия «Современника», имевшая сильный вес в публике, загорелась особенным усердием; она стала действовать как некоторого рода комитет общественного спасения, и этот комитет, отличавшийся великой и возрастающей жестокостью, долго сохранял, однако же, полнейший авторитет.

Литературные имена одно за другим были уничтожаемы; каждая книжка журнала совершала несколько казней и угрожала тем, кто еще не подвергся гибели... Память об этих временах литературного террора теперь вовсе изгладилась, но тогда шум стоял большой, и дело нимало не казалось смешным... Катастрофа с Тургеневым, случившаяся в начале 1862 года, есть, конечно, самое громкое происшествие этой истории, и если читателям ничего не говорит напоминание и этого события, то им трудно будет составить себе живое понятие о волнениях этой литературной эпохи. (Н. Страхов. «Воспоминания о Ф. М. Достоевском», в томе первого полного собрания сочинений его, озаглавленном «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПБ. 1883 г. Стр. 197).

Теперь, оглядываясь назад на историю русской литературы, мы можем сказать, что после Белинского, в общем, наша критика, и именно поскольку она была общественно влиятельной, стояла ниже, если не всякой критики, то, во всяком случае, современной ей литературы. Сейчас подчас прямо совестно читать, что писалось современной критикой, например, пресловутым Скабичевским, о Достоевском, Толстом, даже Тургеневе.

Лескова современная ему критика 60-х и 70-х годов подвергла прямо казни, и это обращение с ним

исторгло у самого же Лескова следующее горькое, но справедливое обобщающее суждение:

> Критика у нас или безмолвствует, или нетерпимая и пристрастная. Давно позабывшая свое литературное призвание и лишь полицейски ограждающая одни интересы партий, часто не стоящие никакого ограждения, она давно уже отучила русских писателей от всякой надежды услышать ее беспристрастный голос. Она у нас для писателя не защитник, не советник и не друг, а недруг. (Посвящение П. К. Щебальскому, предпосланное книге «Смех и горе. Разнохарактерное попурри. Из пестрых воспоминаний полинявшего человека». Москва, 1871, стр. III).

В особенности сурово и даже жестоко отнеслась критика к двум большим романам Лескова, в которых он изобразил «нигилизм», к «Некуда» и «На ножах».

Среди литераторского гиканья и публицистической травли, доходившей до форменной, по долженствующему стать крылатым страховскому выражению, «литературной казни», произнесено было о Лескове замечательное суждение другим, еще более, чем он сам, крупным писателем-современником.

Я имею в виду Ф. М. Достоевского.

В 1871 г. по поводу печатавшегося в «Русском Вестнике» романа Лескова «На ножах», который еще С. А. Венгеров — в «Энциклопедическом Словаре» Петрушевского-Арсеньева — характеризовал как якобы самое слабое произведение Лескова, Достоевский писал А. Н. Майкову:

> Читаете ли Вы роман Лескова в «Русском Вестнике»? Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества — но зато — отдельные ти-

пы. Какова Ванскок! *) Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее! Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов — то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально! А какой мастер он рисовать наших попиков! Каков отец Евангел! Это другого попика я уже у него читаю. Удивительная судьба этого Стебницкого в нашей литературе! Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да посерьезнее. (Письмо к А. Н. Майкову от 18/30-I-1871 г. в томе первого полного собрания сочинений, озаглавленном «Биография, письма и заметки из записной книжки». СПБ., 1883, стр. 197).

И, в самом деле, ославленный роман «На ножах» — замечательное литературное произведение, которое заслуживало бы самого внимательного изучения, анализа и критики, не только литературной, но и чи-

---

*) «Горданов (главный нигилист-гешефтмахер романа — *П. С.*) в своей законодательной деятельности встречал немало неприятных противоречий со стороны некоторых тяжелых людей, недовольных его новшествами и составивших староверческую партию посреди новых людей. Во главе этих беспокойных староверов более всех надоедала Горданову приземистая молоденькая девушка, Анна Александровна Скокова, особа ограниченная, тупая, рьяная и до того скорая, что в устах ее изо всего ее имени, отчества и фамилии, когда она их произносила, по скорости, выходило только В а н с - к о к, отчего ее, в видах сокращения переписки, никогда ее собственным именем и не звали, а величали ее в глаза Ванскоком, а за глаза или «Трамбовкой» или «Помадною банкой», с которыми она имела некоторое сходство по наружному виду и крепкому сложению.

«Староверка Ванскок держалась древлего нигилистического благочестия; хотела, чтобы общество было прежде уничтожено, а потом обобрано, между тем как Горданов проповедовал план совершенно противоположный, то есть, чтобы прежде всего обобрать общество, а потом его уничтожить». («На ножах», ч. II, гл. 2-ая. Полн. собр. соч. Н. С. Лескова, 3-ье издание Маркса, т. 23, СПБ., 1903 г. стр. 137).

сто исторической, как памятник эпохи, подобный «Отцам и детям» Тургенева и «Бесам» Достоевского.

Только такой историко-критический анализ сможет определить, в какой мере то сложное явление, которое стало известно под наименованием русского «нигилизма», «искажено» в изображении Лескова.

Но и без такого анализа мы можем сказать, чем «На ножах» Лескова отличается от появившихся лишь немного позже в том же «Русском Вестнике» «Бесов» Достоевского.

Роман Лескова гораздо проще, более реалистичен, более правдоподобен, более понятен, чем произведение Достоевского.

Более правдоподобен, и именно потому — менее правдив и менее трагичен.

Более понятен, и именно потому — менее глубок и менее ужасен.

У Лескова нет ни Ставрогина, ни Кириллова, ни Шатова, ни Верховенского.

Герои его романа просто подлецы и ничтожества, или просто хорошие и честные люди.

Но за всем тем роман Лескова «На ножах» вполне заслуживает той положительной оценки, которую дал ему Достоевский.

В этом романе ярко выступает одна примечательная особенность Лескова как писателя.

Его подлецы и преступники малоинтересны, почти всегда банальны, подчас совершенно безжизненны. Наоборот, его праведники и даже просто его порядочные люди часто живые существа, полнокровные, своеобычные, яркие.

В этом отношении Лесков исключительная фигура в истории русской литературы. Почему-то Лескову удавались «положительные типы», почему-то

под его пером оживали и искрились огнем жизни хорошие люди всех сортов и званий, всех направлений и устремлений.

В «На ножах» Лескова кто живые люди? Нигилистка, идеалистка Ванскок, нигилист Форов, его благочестивая жена Катерина Астафьевна, поп Евангел, простая и ясная женщина долга генеральша Александра Иванова Синтянина, всё — фигуры незабываемые по необыкновенной четкости художественного изображения их у Лескова.

В настоящее время трудно понять, за кого и почему разгневалась «прогрессивная» критика на Лескова, как автора «На ножах». Можно спорить о том, происходило ли действительно и в каком размере то вырождение «нигилизма» 60-х годов из идеологического и идеалистического движения в гешефт-махерство и то превращение самих «нигилистов» из энтузиастов и фанатиков в беззастенчивых карьеристов, аферистов и просто жуликов, которое изобразил Лесков. Это историко-психологическая questio facti, требующая исследования. Но ничего обидного для «нигилизма», как такового, как идейного движения, в лесковском изображении нет, и, что примечательно, если в романе Лескова есть обличение, то оно направляется одинаково и против революционно-настроенных и действующих «нигилистов», и против самой боровшейся с «нигилизмом» правящей среды, внедрение в которую этих «нигилистов», живописуемое Лесковым, одинаково компрометирует в моральном и политическом отношениях обе стороны.

Лесков был изумительный рассказчик.

И в качестве такового он войдет в русскую литературу как

мастер анекдота.

Что такое анекдот?

Анекдот — это занимательный и забавный рассказ

о каком-то действительном, не выдуманном происшествии, которое имеет, однако, помимо индивидуального и случайного содержания, типический и общий смысл.

Анекдот в русской литературе имеет историю и традицию. От житий и рассказов «Пролога», через повести XVII века, он приводит к своей самой сжатой и в то же время простой форме, к «замысловатым рассказам» «Письмовника» Курганова, от которых уже только один шаг к произведениям Кузьмы Пруткова.

Но рядом с этой «анекдотической» и, так сказать, «басенной» разновидностью и формой «анекдота» есть другая его форма и линия. Она приводит нас к повестям Пушкина, к рассказам Вл. Ив. Даля (Казака Луганского), к выточенным резцом стилиста мелким рассказам Тургенева, к символическим, но подчас и глубоко художественным сказкам Салтыкова-Щедрина, к маленьким рассказам Чехова.

У Лескова, который обеими руками черпал в «проложных» житиях, есть нечто и от Курганова, этого прообраза Кузьмы Пруткова, но он родственен, как мастер анекдота, и Пушкину, и Тургеневу, и Салтыкову-Щедрину, и Чехову.

Но недаром Лесков черпал в «Прологе». Он в русской литературе есть мастер не просто анекдота, а **анекдота мистического.**

И в «На ножах», этом наскоро и небрежно написанном, в целом сумбурном романе с великолепными частностями, самая сильная, самая потрясающая частность — мистический анекдот, рассказ «Сумасшедшего Бедуина» Водопьянова о лекаре Спиридонове, «Испанском Дворянине» и его жене Лете.

Белград, март 1931 г.

СТОЛЕТИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РУССКОГО ПОЭТА-ПЕРЕВОДЧИКА. Д. Л. МИХАЛОВСКИЙ

(род. 1828, † 1905 г.)

Десятилетие 1820-1830 г.г., быть может, в истории русской литературы самая «урожайная» эпоха — и в смысле произведений, и в смысле творцов и поэтов. В этом последнем отношении достаточно сказать, что в замечательное десятилетие 1820-1830 г.г. родились — назовем самые крупные имена — И. С. Аксаков, Аполлон Григорьев, Ф. М. Достоевский, А. В. Дружинин, А. М. Жемчужников, А. Н. Майков, М. Л. Михайлов, Н. А. Некрасов, И. С. Никитин, А. Н. Островский, Я. П. Полонский, М. Е. Салтыков-Щедрин, гр. Л. Н. Толстой, А. А. Фет-Шеншин, Н. Ф. Щербина.

В русской литературе, начиная с конца XVIII века, складывалась традиция любовно исполненных переводов великих произведений иностранной литературы. Один из первых литературных трудов Карамзина был перевод Шекспирова «Юлия Цезаря». Какую роль в изумительном, по качеству и влиятельности, поэтическом творчестве Жуковского сыграли переводы, в которых он не только достигал совершенства своих оригиналов, но и превосходил их, — достаточно известно. Достоевский перевел один из лучших романов Бальзака, Тургенев переводил Флобера. Наши современники, И. А. Бунин и К. Д. Бальмонт, внесли свои крупные вклады в эту своеобразную сокровищницу русской литературы.

В длинном ряде выдающихся русских переводчиков великих иностранных творцов не последнее место принадлежит Дмитрию Лаврентьевичу Михаловскому, поэту, скончавшемуся в начале XX века, а родившемуся сто лет тому назад. Его переводческая деятельность была особенно любовно посвящена произведениям Шекспира и Байрона. Как переводчик Лонгфелло, Михаловского затмил наш современник И. А. Бунин.

Подобно многим выдающимся деятелям русской литературы (и не одной только русской, есть много таких же примеров в истории французской литературы), Д. Л. Михаловский почти всю жизнь прожил мало заметным, медленно преуспевающим по службе государственным чиновником — таким еще встречал его в Петербурге в своей юности пишущий эти строки.

Выступил на литературное поприще Д. Л. Михаловский не очень рано, в «Современнике» за 1857 год, стихотворным переводом «Мазепы» Байрона, произведения, написанного в 1818 году, над которым, вскоре после его появления, упражнялись в переводческом искусстве М. Т. Каченовский и А. Ф. Воейков, давшие прозаические переводы, а позже Я. К. Грот (впоследствии академик-филолог, законодатель русского правописания). Но лучший русский стихотворный перевод Байронова «Мазепы», нашедший себе место в русских изданиях собрания сочинений знаменитого английского поэта, принадлежит Д. Л. Михаловскому. Вообще у русских читателей, знакомившихся с Байроном, не обращаясь к оригиналу, имя великого английского поэта, влияние которого испытали и величайшие русские поэтические гении, его переводившие, — естественно связалось с именем Д. Л. Михаловского. Оригинальные произведения Д. Л. Михаловского мало примечательны, хотя

одна вещь, помещенная в 1889 г. в «Русской Мысли» Лаврова и Гольцева, обратила на себя внимание ценителей поэзии.

В этом номере «России» читатель найдет воспроизведение трех стихотворных переводов из Байрона, вышедших из-под пера Д. Л. Михаловского.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

1

Помню с чрезвычайной отчетливостью, как в годы моего раннего отрочества, когда все увлекались и были полны Достоевским — тогда слышны были еще звуки его Пушкинской речи и память об его национальных похоронах была еще жива — в окне Шигинского книжного магазина во флигельке Пажеского корпуса, на Садовой, мне бросилась в глаза брошюра в серой обложке: К. Леонтьев. Наши новые Христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой. Я тогда же купил эту брошюру. Я ее не понял, но почувствовал, что какой-то **новый** сильный писатель с совсем неожиданной стороны нападает на плохо еще знакомого мне, но почитаемого Достоевского и что это **очень интересно.**

Гораздо позже, лет через 12-15, я наткнулся на письма К. Н. Леонтьева, в течение ряда лет печатавшиеся в «Русском Обозрении». Вспомнив серую обложку напечатанной в Москве, кажется в Катковской типографии, брошюры, на которой стоят 1881 или 1882 год, я сразу и окончательно из этих писем почувствовал, что в лице уже умершего Леонтьева (он скончался в 1891 г.) русские имеют почти никому неизвестного большого и прямо **гениального мыслителя.** Через двадцать лет, уже редактором «Русской Мысли», я всячески подхватывал все новые материалы о Леонтьеве и всемерно содействовал их опубликованию.

Вкратце жизнь Леонтьева такова. Родившись в хорошей дворянской семье, Константин Николаевич Леонтьев *), никогда не пользовавшийся достатком, по практическим соображениям избрал карьеру врача и, еще не кончив курса, попал лекарем на войну, в Крымскую кампанию. Был затем в деревне домашним врачом, для того чтобы вскоре бросить врачебную деятельность и отдаться литературе. Литература не кормила. Леонтьев поступил на консульскую службу и уехал на Ближний Восток, где сделал довольно быструю служебную карьеру. Через десять лет с ним произошло религиозное обращение, и этим определилась не только его личная судьба, но содержание, смысл и значение его писательской деятельности. Главнейшие внешние этапы его жизни несущественны. Побыв дипломатом (консулы на Ближнем Востоке по существу исполняли и политические функции), отбившись из-за внутреннего кризиса и вообще личных дел от службы, Леонтьев потом из нужды стал цензором. Все это, однако, лишь «вид существования». Важно в дальнейшей жизни Леонтьева только одно: погружение в церковную религиозность, сближение с монахами Оптиной пустыни и наконец собственный тайный постриг, — завершение внутренней борьбы и обращение к религии и Церкви.

Это обращение потому огромный факт русской духовной истории, что Леонтьев — самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX веке.

Он был замечательным писателем, даже весьма одаренным «беллетристом», но как мыслитель, как ум он гораздо значительнее и сильнее, чем как писатель.

---

*) Ниже везде ссылки относятся к книге Н. А. Бердяева о Константине Леонтьеве, мой отзыв о которой см. «Возрождение» от 27 мая. У меня сейчас нет под руками сочинений Леонтьева, и я пишу на память и пользуясь весьма обстоятельной книгой Бердяева.

Его ум значительнее его художественного дарования. Его ум несравненно значительнее и богаче его образования.

2

В чем же значение Леонтьева как мыслителя?

В двух направлениях я вижу это значение.

Леонтьев единственный русский писатель, который выдвинул проблему **силы** как проблему философскую. Поэтому он не только практически, но и метафизически понял природу государства и дал ему оправдание. Кстати, сам Леонтьев не считал себя метафизиком, но это верно только в школьном и банальном смысле слова. По существу же Леонтьев в области постижения исторического процесса, как философ истории и как политический мыслитель — глубоко проникающий именно метафизический ум. Именно поэтому он постиг сверхразумные (иррациональные) и таинственные (мистические) основания бытия государства. Его постижение государства вовсе не натуралистически-позитивное (как превратно думает Н. А. Бердяев), а метафизически-мистическое. У Леонтьева, конечно, были уклоны натуралистические, но эти уклоны более словесные, чем существенные, ибо самый натурализм Леонтьева обвеян мистицизмом.

«Государство есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, независимому от нас деспотическому велению внутренней, вложенной в него идеи» (стр. 105). «Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть **сердце** того или другого правителя, но нация и государство не человеческий организм. Правда, и они организмы, но другого порядка, они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей

нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно сознанные законы природы и истории» (стр. 81).

Это — вовсе не натуралистическое, а именно метафизически-мистическое постижение государства, этого самого напряженного выражения силы в человеческой жизни, выражения неумолимого, ибо бескорыстного, идеального, ибо сверхличного, живого и жизненного, ибо не только живущего, но и животворящего. Мне лично эта сторона в духовном творчестве Леонтьева особенно близка и сочувственна: через собственные политические переживания, через общественно-государственный опыт я своим путем пришел к постижению объективной мистичности и мистической объективности государства. О проблеме силы и государства см. мои «Статьи о Льве Толстом» (в «Русской Мысли» и в сборнике «Patriotica», есть и отдельное издание) и статьи «Великая Россия» и «Отрывки о государстве» (обе статьи в «Русской Мысли» за 1908 год и в сборнике «Patriotica»).

Понимание государства сочетается у Леонтьева с чрезвычайно острым, тоже до метафизически-мистической напряженности возвышающимся ощущением **неравенства** сил в экономии природы и истории. Природа построена иерархически, история творится с бесконечным множеством неравных во всех отношениях сил. Необходимо сознательное и покорное приятие этой расчлененности и этого неравенства.

Никто в русской литературе до Леонтьева не высказал этих мыслей о государстве и неравенстве. Никто после него не говорил этого так сильно и так остро.

В этих «социологических» учениях Леонтьева сливаются и его эстетизм, его влюбленность в земную красоту, и его религиозность, его искание потусторонней правды, и, наконец, его своеобразный по-

зитивизм, научная честность, неподкупность его трезвой и испытующей мысли.

Из философии силы и государства, из ясного понимания лествичного строения человечества и иерархического развертывания истории не вытекает никаких конкретных политических выводов и никаких определенных исторических предвидений. Непонимание этого составляет ту **«ошибку короткого замыкания»** (посылок и выводов), о которой я уже говорил и в которую часто впадал и Леонтьев. Из того, что абсолютное всеобщее равенство невозможно и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких выводов о формах относительного равенства. Поэтому, будучи настоящим учителем и для нашего времени в отношении метафизики и мистики общественно-государственного бытия, Леонтьев не может быть таковым в отношении конкретной политики и развертывающейся на наших глазах живой истории. Успехи «демократии» не опровергают философских идей Леонтьева, и успехи «фашизма» их не подтверждают. Историческая и политическая философия и не отливает пуль ни в каком смысле, и не изготовляет политических фейерверков.

3

Кроме неумирающих историко-политических идей Леонтьева, он глубже всех русских светских писателей пережил и выразил христианство в его церковно-православном существе, истинном и единственно истинном для православных. В этом пункте я тоже решительно расхожусь с Н. А. Бердяевым. Суть христианства вообще, и церковного в частности и в особенности, именно в том, что оно есть **учение и путь личного спасения.**

Конечно, христианин верит в исполнение Царст-

ва Божия (но не на земле!), но ищет он сам, о себе и для себя, личного спасения. Леонтьев это существо, эту сердцевину христианства задорно, но неудачно назвал «трансцендентным **эгоизмом».** Расширяя смысл понятия и слова «эгоизм», мы упраздняем в сущности этот смысл. Конечно, мученики, погибая за веру, спасали **свою** душу. Но в этом смысле **эгоизм** объективно-онтологически соприсущ всякому **личному** бытию, а потому эгоистом является и тот, кто, губя **«себя»** в одном эмпирически-телесном смысле, спасает **«свою»** душу в другом мистически-духовном смысле.

Путь «личного спасения» может иметь более светлый и более мрачный отпечаток. Это дело, в конце концов, психофизиологической организации. Но, конечно, личное спасение неотъемлемо от страха Божия — и это Леонтьев понял и выразил с такой силой, с какой это не было доступно и не могло быть доступно ни одному русскому писателю (ближе всего в религиозном отношении к Леонтьеву из русских писателей Гоголь, которого, впрочем, сам Леонтьев, кажется, не понимал). Ибо у Леонтьева было неразрывное с подлинным христианством чувство греха и греховности. Конечно, и в религиозной области у Леонтьева были **ошибки короткого замыкания** — он иногда политику и эстетику слишком тесно, а потому и превратно, сопрягал с религией. К таким превратным сопряжениям я отношу и всякого рода самочинные апокалиптические толкования Леонтьевым или кем бы то ни было другим исторических событий и процессов.

Поскольку же Леонтьев отрицал то, что Бердяев называет «теократической идеей» или «исканием Царства Божия» (на земле), поскольку он отвергал «христианскую общественность», он был, по моему глубочайшему убеждению, **религиозно прав.** В этом отношении он может и должен быть нашим **учите-**

лем. Формулу Н. А. Бердяева: «В религиозном сознании К. Н. Леонтьева не было ответа на религиозную проблему космоса и человека. Он искал личного спасения, но не искал Царства Божия» (стр. 261-262) — я просто не понимаю. Я не понимаю ни субъективно, ни объективно, как может христианин искать «Царства Божия» иначе как через «личное спасение». Поэтому для меня то обстоятельство, что «оптинские старцы одобряли Леонтьева более, чем славянофилов или Достоевского и Вл. Соловьева», не только не «тревожно» (стр. 240), но, наоборот, **успокоительно и утешительно.**

4

Леонтьев, как духовная личность, росшая и возраставшая, не стоит совершенно одиноко. У него есть связи с духовным прошлым, у него есть притяжения и отталкивания по отношению к современникам.

Леонтьева объединяло с **Герценом** эстетическое отталкивание от духовного типа европейского «буржуа», или «мещанина». Но в свое эстетическое отталкивание Леонтьев не влагал того политического и социального содержания, которое неотъемлемо от воинствующей антибуржуазности социалиста Герцена. Метафизически же Леонтьев был бесконечно далек от плоского материализма Герцена.

Ближе, и душевно и идейно, чем к Герцену, Леонтьев был к **Тургеневу.** Тургенев одно время был его литературным покровителем, и Леонтьев испытывал к нему влечение. Это было вовсе **не случайно.** Эстетизм Тургенева, родственный Леонтьеву, был гораздо последовательнее и целостнее, чем эстетизм Герцена. Недаром Тургенев обмолвился афоризмом, что «Венера Милосская несомненнее принципов 1789 года». В понимании живой истории у Леонтьева было очень много точек соприкосновения с Тургеневым,

как автором писем к Герцену, этого лучшего произведения русской эпистолярной литературы и подлинного кладезя исторической мудрости. Несмотря на весь свой византизм и несмотря на отдельные места, звучащие даже по-евразийски, Леонтьев в своем понимании истории был ближе к «западничеству» Тургенева и даже Чаадаева, чем не только к евразийству, но даже и к славянофильству. Только Тургенев, будучи необыкновенно острым по своему историческому и политическому зрению человеком, был и в этой области далек от какого бы то ни было максимализма, в который нередко впадал Леонтьев. «Максимализм» ведь и есть лишь другое обозначение для «ошибки короткого замыкания». От этой ошибки «постепеновец» Тургенев всегда оставался свободен.

Достоевского Леонтьев недостаточно ценил. Метафизически-религиозно и политически Леонтьев был близок к Достоевскому, но Леонтьеву претила характерная для Достоевского примесь к христианству гуманизма и сентиментализма, отчасти совершенно самобытного, почти народнического, отчасти заимствованного у западных социалистов (главным образом у Фурье и Жорж Занд). Достоевский огромнее и могущественнее Леонтьева, ибо у первого было гениальное видение своеобразного художника-творца, с которым «беллетристическое» дарование Леонтьева не может идти ни в какое сравнение, но как ум Леонтьев был острее и глубже Достоевского.

Своеобразны и интересны отношения Леонтьева и **Владимира Соловьева.** Последний имел большое влияние на первого. В настоящее время это кажется даже невероятным. Но Соловьев прямо подавлял Леонтьева своей диалектической одаренностью и философской ученостью. Леонтьев считал Соловьева гением, хотя эта характеристика по существу гораздо более приложима к нему самому. В то же время нельзя сравнивать ни в какой мере ни их умствен-

ной культуры, ни литературной умелости. Образование Соловьева было огромное, в формальном смысле он умел писать (и в стихах) так, как ни один из современных ему писателей, да и вообще ни один русский писатель. И все-таки ум Леонтьева был и острее и глубже ума Соловьева, и христианство Леонтьева было как-то глубже укоренено и теснее спаяно с ядром его личности, чем у Соловьева. Впрочем, Соловьев вообще остается человеком загадочным и неразгаданным — и таково у меня впечатление и от его писаний в целом, и от немногих личных встреч. В конце жизни Леонтьев резко порвал с Соловьевым. Это была эпоха наибольшего увлечения Соловьева своим призванием либерального публициста.

Из позднейших писателей очень высоко ставил Леонтьева **В. В. Розанов.** Между ними была переписка. В. В. Розанов был несомненно гениальным писателем, хотя того, чем был силен Леонтьев, острого и глубокого ума, у Розанова совсем не было. Категория «ума» вообще неприложима к Розанову. Розанов был замечательный до гениальности писатель, не будучи ни умным, ни еще менее честным человеком в общепринятом смысле слова. Но своим чутьем, совсем особым, не исследовательским, не художническим, а каким-то хитрым проникновением, Розанов один из первых понял гениальность Леонтьева и воздал ему должное.



Константин Леонтьев — огромное явление русской духовной культуры, и знать о нем и его должен всякий, кто желает блюсти и ценить культуру.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЛАДИМИРЕ СОЛОВЬЕВЕ

В этом году исполнилось тридцать лет, как под Москвой, в имении Трубецких, скончался Владимир Сергеевич Соловьев, знаменитый, блестящий философ, публицист, поэт.

Я тогда же написал некролог Соловьева. Если бы я теперь стал давать его оценку и характеристику, она вышла бы в значительной мере исправлением и, пожалуй, опровержением некролога*). Но сейчас я не ставлю себе задачи — дать обобщающую характеристику знаменитого философа.

Пред моим умственным взором просто встает он сам, живьем, его человеческий образ, каким я его воспринимал в своих встречах с этим изумительным экземпляром русской даровитости.

Еще мальчиком я был на публичной лекции Соловьева о Достоевском. Я мало что понял в ней, но раз навсегда в моей душе запечатлелось воплощенное в живой и красивый человеческий образ — **вдохновение мысли.** И в самом деле, это детское впечатление не было ошибочным: Соловьев в русской образованности был самым ярким воплощением мыслителя, мысль которого не просто работала, а подлинно носилась и кружилась на крыльях вдохновения, не теряя в то же время ясности и отчетливости, доходившей иногда до сухости. Это сочетание поэтичес-

---

*) Этот некролог вместе с весьма резкой полемической статьей против Соловьевского «Оправдания Добра» помещен в первом сборнике моих статей «На разные темы» (1893-1901 г.), СПБ. 1902 г., стр. 187-202.

кого кружения с ясностью, почти педантическою, осложнялось в личности Соловьева своеобразным юмором. Соловьев был не только мыслителем, не только поэтом. Он был, как человек и писатель, еще — **юмористом.**

Когда я в 1889 г. поступил в СПБ университет, студенчество его переживало прилив **«этицизма»,** стремления заменить прежнюю веселость и разгул студенческого быта новой, не церковной, а даже противоцерковной, но суровой «аскезой». Тут сказывалось всего более влияние Льва Толстого, преломлявшееся в напряженнейшем политическом и социальном радикализме. Мы были в одно и то же время и толстовцы, и радикалы, — политики и социалисты.

И вот у нас явилась мысль в день празднования основания СПБ. Университета, 8-го февраля, традиционные студенческие обеды с изобильной выпивкой, кончавшейся нередко перенесением некоторого числа из пировавших настоящих и бывших студентов в «мертвецкую» ресторана, заменить суровыми, аскетическими чаепитиями с серьезными речами на темы общественной и личной морали.

Задумано, сказано, сделано.

Так возникли характерные для петербургских 90-х г. г. студенческие чаепития 8-го февраля. Весьма подвижной и энергичный кружок студентов, по преимуществу первого курса, который мы тогда образовали (к нему принадлежали, между прочим, покойные Н. В. Водовозов и В. А. Герд), взял на себя инициативу в этом деле. На меня и еще одного студента естественного факультета, весьма милого и умного армянина З-ва, выпала задача — привлечь на чаепитие в качестве почетного гостя и оратора Владимира Сергеевича Соловьева, слава и популярность которого, как либерального публициста, тогда находились в апогее.

Мы оба, и З-в, и я, были весьма радикальны, го-

раздо левее Владимира Соловьева, очень энергичны и страшно застенчивы. Мы решили добиться своего, но ужасно волновались, когда подымались на лифте в один из верхних этажей «Европейской гостиницы» на Михайловской улице, где постоянно в Петербурге квартировал Соловьев.

Соловьев принял нас очень добродушно, с слегка насмешливой улыбкой. Его заинтересовала моя фамилия, но по совершенно своеобразной ассоциации, личный смысл которой для Соловьева раскрылся вполне для меня лишь гораздо позже, когда я узнал, что Владимир Сергеевич был очень, интимно близок с семьей Хитрово. В этой семье он и встречался с моим дядей, который был предшественником одного из Хитрово в качестве русского дипломатического представителя в Японии. Соловьев спросил меня, в каком отношении я нахожусь к дипломату Струве. Я ему разъяснил это (дипломат Струве, Кирилл Васильевич, был моим дядей, младшим братом моего отца) и затем уже я мог, с большим волнением и смущением, приступить за себя и за З-ва к разъяснению предмета и цели нашего посещения. Никакого особого интереса к «безалкогольному» характеру предстоящего первого трезвого студенческого сходбища Соловьев не проявил. А наша мысль завербовать его в ораторы на этом сходбище вызвала с его стороны следующую реплику, произнесенную вполне серьезно, даже с видом какой-то меланхолической задумчивости:

— Знаете, господа, это невозможно. Подумайте ведь: если я у вас, на вашем вечере, даже скажу только: **Боже, Царя храни!** — то в Департамент Полиции, знаете, эти господа, его агенты, напишут, что я сказал: **Бомбами Царя колоти!** Знаете, мне невозможно и даже запрещено говорить публично. Пожалуйста, увольте.

Это было сказано так мило, с таким обаятельным

юмором, что мы оба, хотя и были почти до слез огорчены неудачей — ясно было, что Соловьева не только нам, но и вообще никому не удастся переубедить! — пришли в какой-то тихий восторг и, восхищенные, молчали, застенчиво улыбаясь.

— Знаете, — прервал наше восторженное молчание Соловьев, — есть люди, которые умеют и могут говорить, например, адвокаты. Обратитесь к ним. А я совсем не умею, совсем не могу.

Мы встали, как-то не весьма членораздельно поблагодарили Соловьева за любезный прием и раскланялись.

Потом, часто размышляя об остроумном ответе Соловьева на наше приглашение, я приходил всегда к выводу, что это было не простое острословие. Соловьеву была противна правительственная реакция 80-х и 90-х г.г. Но ему столь же чужд и противен был и радикализм политический и социальный, который тогда вновь оживал после глубокого разочарования в нем в 80-х г.г. и уже проявился в нескольких террористических попытках и в растущей популярности нелегальной литературы, как новой, социал-демократической, так и старой, народовольческой.

Кроме того, будучи публицистом-философом, Соловьев вовсе не был пропагандистом. И наша наивная попытка завербовать его в таковые хотя бы на один вечер совсем не отвечала его натуре.

Позднее я несколько раз встречался с Соловьевым в кружке молодежи, собиравшемся у К. К. Арсеньева под его руководством. Но эти встречи не оставили в моей памяти никаких особенных следов. Пожалуй, одно только отрицательное впечатление прочно осело у меня. Соловьев, я уже сказал, не был вовсе пропагандистом, но он ни в каком смысле не был и педагогом. Поэтому не случайно, не только по внешним причинам из него не вышел профессор. Эта профессия была для него скучна, и он внутренне к ней не влекся.

Белград. Сентябрь 1930 г.

СКОРБЬ

Памяти А. П. Чехова

Мне не пришлось лично встречаться с А. П. Чеховым. Между нами была короткая переписка: его одно или два письма ко мне пропали и о них имеются только упоминания в его письмах к другим лицам. Когда Чехов поехал в Баденвейлер, я собирался из Штутгарта навестить его там, но не успел — смерть наступила так быстро!

Но, не зная лично Чехова, я всегда, как младший современник, не то, что влекся к нему, а живо **ощущал** его духовное лицо и душевную личность.

Всякий писатель (и вообще всякий деятель и даже всякий человек) всегда в своем лице являет черты вневременные, не зависящие от истории и обстановки, черты общечеловеческие и в то же время вполне индивидуальные. Всякий человек типичен и в то же время единственен, ибо вневременное и общечеловеческое в человеке заключено в рамку неповторимой личности.

И в то же время всякий человек выразитель своего времени, порождение обстановки. Он историчен и представителен в эмерсоновском смысле «Representative Men». Он показателен для эпохи и для среды.

В чем же состоял вневременный лик Чехова и в чем была его историчность и обусловленность средой?

Чехов был большой маловер, до мозга костей пронизанный скептицизмом. Но в то же время душа

этого маловера была мягкой и нежной. И вот — маловерие Чехова, соединяясь с его мягкостью и нежностью, обволакивало весь его дух пеленой скорби. Но скорби не мрачной и не жесткой, а, наоборот, светлой и мягкой. Эта особенная, совершенно своеобразная скорбь — основная определяющая стихия чеховского духа и творчества.

Маловерие предохраняло Чехова от всякого впадения в чувствительность, или сентиментальность. Но нежность и мягкость спасала этот маловерный дух и от всяких углов и заострений, от доходившей до озлобленности нетерпимости вечного богоборца Достоевского, от отталкивающего в своей жестокости эгоизма Льва Толстого. Из всех больших русских писателей, как дух и личность, Чехов всего ближе к Тургеневу. Это — люди одного и того же психического типа, или душевного чекана.

Но если Чехов спасался от обволакивающей его пелены скорби мягким юмором и нежной иронией, то Тургенев от собственного внутреннего холода и от внешнего одиночества уходил в чувствительность, на которую нежно-суровый Чехов был совсем неспособен. И затем, при всем маловерии, Тургенев влекся внутренне к какому-то недостижимому для него цельному воззрению на мир, и потому, правда, с натяжкой, но можно говорить о миросозерцании Тургенева. **Чехов же был человек без миросозерцания.** Это чрезвычайно интересный и редкий в истории литературы случай большого художественного одарения без всякой миросозерцательной основы. Миросозерцание ему не было дано, и он сам отрицал миросозерцание, как задание. Он был чистый эмпирик в глубочайшем, не методическом только, а существенном, или онтологическом смысле слова.

И я думаю, более того уверен, что с этой особенностью Чехова, т. е. с тем, что он был человек без

миросозерцания, связаны не только грани и слабости его творчества, но и его богатство, его сильные стороны. Дух Чехова, конечно, не был ни просто сосудом, ни просто зеркалом, в котором отражался эмпирический мир. Отражение этого мира в духе Чехова располагалось по каким-то **его** линиям, окрашивалось **его** цветами. Но эти линии и эти цвета не были «миросозерцательными». Это были линии и цвета нежной и светлой скорби маловера Чехова, в пелене которой такими яркими точками вспыхивал его бесподобный юмор.

Можно было бы поддаться искушению Чехова целиком вывести из эпохи: Чехов выступил в 80-х г.г., как автор мелких юмористических рассказов. Этим исторически можно было бы объяснить и отсутствие в его духе и творчестве «миросозерцательной» основы, и всю душевную окраску этого творчества. Это было бы, на мой взгляд, ошибочно, но совпадения духовного и душевного стиля Чеховской личности с характером эпохи отнюдь нельзя отрицать. Чехов принадлежит к поколению писателей, принесших в литературу **душу** утомленную, более того — **опустошенную.** И вся литературная деятельность Чехова отмечена непрерывной борьбой с собственной душевной опустошенностью, борьбой тем более трудной и мучительной, что она не могла опереться на какое-либо «миросозерцание». Чехов не усвоил, не воспринял такового по наследству, но он и не желал и не мог выработать себе миросозерцания.

И в то же время он был сурово-честный человек, неспособный притворяться, носить маску, играть роль. В этом отношении в высшей степени характерна связь Чехова с А. С. Сувориным, основателем «Нового Времени». Будущий историк русской литературы и культуры с интересом и, подчас, с изумлением остановится перед фигурой этого на редкость талантливого человека, историческую характеристику кото-

рого мне пришлось однажды давать (см. «Patriotica», СПБ, 1911 г., стр. 234-254).

Суворин, так же как Чехов, был человек без миросозерцания, такой же маловер и скептик. Но так же как Чехов, это был человек тонкий, добрый и благожелательный. Суворину однако, в отличие от Чехова, пришлось и было доступно вести большое литературно-публицистическое дело. И вот что любопытно: в отличие от других писателей, выведенных в литературу Сувориным и на него опершихся, Чехов не стал «нововременцем». Для Чехова это было бы гибелью, ибо в нем не было «миросозерцательной» основы и отдаться такому целому, как «Новое Время», означало для него полную потерю свободы и самостоятельности духа. Ведь сам Суворин, хотя и не стал «нововременцем», в огромной мере опустошил, обкарнал и изуродовал себя «Новым Временем».

Противоположностью «нововременца» исторически явился русский «интеллигент». И Чехову, спасшемуся от объятий «Нового Времени», угрожало без собственной миросозерцательной основы обезличиться до русского «интеллигента». От этого Чехова спасло его художественное дарование. Оно покорило ему русскую интеллигенцию и ее журналистику и дало ему возможность не покориться этой силе. Чехов как-то остался вне стана интеллигенции и вне отдельных ее лагерей, воистину «свободным художником», к которому жадно прислушивались, которого полюбили и возлюбили.

Эта любовь была вполне заслужена и писателем, и человеком. Чехова разные эпохи будут в разной мере ценить и читать, но его никогда не перестанут и читать и любить. Читая его произведения, будут смеяться и скорбеть, хохотать и плакать. В трудную эпоху глубокой «демократизации» русской жизни и культуры Чехов, выходец с южной, пронизанной пе-

стрым инородчеством, окраины, отстоял чистоту и красоту русской речи.

Как человек, он всегда останется обаятелен редкостным сочетанием маловерного ума, трезвого почти до холода, ясного почти до сухости, с мягкой и нежной душой. В этом он воистину то, чем он был в гражданском быту, по своей житейской профессии, — настоящий «пользующий» врач, способный распознавать и рассекать, и в то же время чувствовать, сочувствовать и скорбеть.

Белград, 7-го июля 1929 г.

III

XX век

ПАМЯТИ Ф. К. СОЛОГУБА

Умер, 64 лет, Федор Кузьмич Тетерников, известный под псевдонимом «Сологуб».

Это сочетание имен, настоящих имени, отчества и фамилии, и псевдонима, ощущалось и комментировалось иногда, как нечто ненужное и достойное едва ли не насмешки. Аристократический псевдоним, прославленный в русской литературе настоящей фамилией забытого, но весьма одаренного и широко в свое время популярного беллетриста графа В. А. Соллогуба, автора «Тарантаса», друга Пушкина, с которым он чуть-чуть не имел дуэли, Лермонтова и всего более — Гоголя, псевдоним, присвоенный себе плебеем без высшего образования, казался не только притязательным, но и жалко смешным.

Однако... Да, однако, это смехотворное присвоение было и закреплено временем и получило какой-то значительный смысл. Ибо плебей по происхождению, Федор Сологуб — и по всей своей индивидуальности и по лучшим сторонам своего творчества был — подлинным **аристократом.**

Этот сын прачки, воспитанник Учительского Института и потом учитель городской начальной школы, был настоящий и тонкий поэт, мастер языка, художник прозаической и стихотворной речи.

Я не берусь давать здесь ни исчерпывающей характеристики покойного, ни оценки его творчества. Для этого у меня нет сейчас ни времени, ни материалов.

Но я давно стал следить за его литературной деятельностью, и у меня была не одна личная с ним встреча. Еще из первой половины 90-х годов я помню несколько прекрасных стихотворений, в которых этот «начальный учитель» обнаружил себя оригинальным и сильным поэтом. Гораздо позже он выступил с романами, и из них «Мелкий бес» есть произведение тягостное и больное, но по своей значительности ставшее как бы в один ряд с творениями Гоголя, Достоевского и Салтыкова («Господа Головлевы»).

Ф. К. Тетерников, как я сказал, учился в Учительском Институте (С.-Петербургском, что на Васильевском Острове). Когда он стал знаменитостью под псевдонимом «Сологуб», мой покойный брат, Василий Б., который, в качестве преподавателя названного Института, учил Ф. К. математике, часто, в беседах со мной, вспоминал ученика. И когда В. Б. скончался в 1912 г., я получил весьма трогательное письмо от Ф. К., тепло вспоминавшего своего учителя и те школьнические проделки, которыми ему досаждали его институтские ученики. Кажется, в Учительском Институте ничто еще не предвещало в будущем «Федоре Сологубе» крупного писателя.

Последний раз я видел Ф. К. незадолго до революции 1917 г. в квартире почтенного Н. И. Кареева, которому, вместе с В. А. Мякотиным и мною, пришлось быть третейским судьей по довольно нелепому делу, возникшему между покойным Ф. К. и Максимом Горьким (формально противной стороной был не последний, а гораздо менее его известный писатель, ныне проживающий в Париже). Это третейское разбирательство так никогда не было доведено до конца. Но благодаря ему, мне пришлось тогда видеть за одним столом в каком-то странном, но не лишенном характерности состязании трех крупных русских писателей-беллетристов: покойного Леонида Андреева, здравствующего Максима Горького, моя первая

встреча с которым относится к 1897 г., и Федора Сологуба. Отчетливо помню, как на этом судилище Леонид Андреев, которого я увидел тут в первый раз и к которому, как к писателю, я относился по меньшей мере холодно, как человек произвел на меня тогда прямо обаятельное впечатление каким-то чарующим сочетанием прямоты и мягкости, и как, наоборот, тягостно, прямо удручающе неприятен был Максим Горький. Что касается Сологуба, то он — при наших встречах был всегда как-то ровно внимателен и почти ласков. Так было и тут, где он и его жена к тому же как будто искали у меня, избранного Сологубом в судьи, какой-то защиты.

Трогательна была дружба покойного Ф. К. с его женой Анастасией Николаевной, рожденной Чеботаревской. Она, вышедшая из более культурной среды, чем муж, знавшая хорошо языки, оказывала ему огромную помощь в его работе. Эта любовно-дружеская помощь объясняет тот парадоксальный факт, что «безъязычный» Ф. К. был превосходным переводчиком иностранных поэтических произведений на русский язык. Как редактор «Русской Мысли», я помню его, принятые мною, прямо классические переводы романтической драмы не так давно скончавшегося немецкого поэта Штукена, точного заглавия которой я сейчас не упомню, и знаменитой трагедии младшего современника Гете и Шиллера, самоубийцы Генриха фон Клейста «Пентезилея». Изумительно мастерство, с которым Сологуб, не зная немецкого языка, тем методом, которым работал В. А. Жуковский, как переводчик Гомеровой «Одиссеи», перевел на русский язык эти трудные вещи.

Трагическая гибель Анастасии Николаевны, в ужасных условиях советского быта и гнета покончившей с собой (она бросилась в Неву), была тяжким ударом, от которого Ф. К. не мог уже оправиться.

РЕЧЬ О БЛОКЕ И ГУМИЛЕВЕ *

Я хорошо помню Блока, я слышу его голос. Я вижу его почерк, круглый и высокий, очень по четкости удобный для прямой отдачи в набор и в то же время такой незабываемо индивидуальный. Стихотворения свои он писал на почтовой бумаге, как будто дорожа изяществом материала, на котором изображались его мысли.

Я вижу облик, внешний облик поэта, в котором была какая-то не столько суровость, сколько странная угловатая напряженность, как бы накрахмаленность, которая как-то совершенно не соответствовала его поэтическому духу.

Словом, его образ весь живой стоит передо мной. А в то же время мы довольно редко встречались с Блоком и почти никогда не обменивались мыслями. Я знаю из слов и намеков общих знакомых, из формы его писем ко мне, что я как-то и чем-то был мил Блоку, что я для него не был просто «общественный деятель», «профессор» и «редактор» такой-то. И я чувствовал в свою очередь, что Блок мил мне лично, и как человек, и как поэт (хотя с его общественно-философскими взглядами я вовсе не был согласен, и не все его произведения мне нравились). Но мы этого друг другу так никогда и не сказали. Что-то в этом роде мелькнуло, помнится, в том письме его ко мне, далеком по форме от всякой интимности и неж-

---

*) Произнесена 29-го ноября 1930 г. Для нее я воспользовался своей статьей «In memoriam», напечатанной в «Русской Мысли» за 1921 г. (софийское издание), кн. X-XII.

ности, с которым он посылал в «Русскую Мысль» «Возмездие», и в моем ответе ему, и еще в том письме, о котором речь будет ниже.

Блок был мечтатель в общем и глубоком смысле особого человеческого типа.

Но мечтатель страстный и не только страстный, но всегда куда-то гонимый страстью. В то же время мечтатель бездейственный. Есть, ведь, и мечтатели действенные: вечно стремящиеся что-то выразить вовне, мечтатели-воины, мечтатели-охотники, даже мечтатели-преступники. Не таков был Блок, бездейственно-страстный мечтатель. Нельзя считать действием в том психологическом смысле, о котором я говорю, его поэзию и вообще его литературное творчество, еще менее то подобие общественной деятельности, которою он занимался. Ибо для Блока — и это существенная его черта — поэзия была гораздо более внутренним актом, чем внешним действием. Он пел, и потому он так напевен, но пел для себя, ни о ком вовне не думая, и потому так трудно «произносить» Блока в его собственном духе.

Я никогда лично не знал отца Блока, но читал почти все, что написал этот малоизвестный, не удавшийся профессор-государственник. Он был тоже мечтатель, искавший в государственной науке исхода своим политическим страстям и так же бездейственно страстный, как и сын. Блок-отец был славянофил в государственном праве, веривший в Россию и не веривший в Запад. Он был беспорядочным и тяжелым в общежитии человеком и плохим семьянином. На его произведениях, забытых и не оказавших почти никакого влияния на русскую науку, но любопытных и индивидуальных, лежит печать тех же черт, которыми отмечена личность Блока: мечтательности и страстности, неспособной к действиям. И даже А. А. Блок взял кое-что от отца из его идейного содер-

жания: туманное и тяжеловесное, не просветленное, а, наоборот, мрачное народничество. То народничество, которое как-то входит в состав и большевизма, как исторической стихии.

Мать Блока вышла из богато одаренной семьи (она была дочерью ботаника Андрея Николаевича Бекетова). Одна из ее сестер, по мужу Краснова, была талантливой поэтессой, другая сестра тоже писала. Я их встречал. Это были хрупкие, нежные существа. С этой стороны Блоку передалась та женственность и нежность, которая составляет неизъяснимую прелесть некоторых его произведений и которая так очаровывала в его личности, именно в удивительном сочетании с мужественной страстностью. Если бы Блоку было суждено дольше прожить, если бы ему удалось дожить до воскресения России, обе стихии его творчества, женственная и мужественная, может быть, слились бы в единую мощную струю. Так он ушел от нас, не сказав своего окончательного слова, безмолвно унеся в тот мир какую-то свою последнюю думу. О, я не сомневаюсь в том, что она была о России, которую он любил со всею нежностью и со всей силой своей женственно-мужественной души.

У меня с Блоком, уже после революции 1917 г., возникло общение по совершенно особому поводу, след которого в виде моего письма к нему (его письмо ко мне пропало, как, вероятно, все письма, полученные мною в эту эпоху) вы можете найти в тех биографических материалах, которые были напечатаны после смерти Блока. Тотчас после революции у меня явился замысел основать «Лигу Русской Культуры», и я принялся за осуществление этой мысли. Я написал Блоку письмо, в котором приглашал его к участию в этой задуманной на широчайшей национальной основе организации. Блок отвечал мне, что он примет участие в организации, если в нее будет приглашен — Максим Горький!

Господа, Блок был фигурой трагической. И он сам это, конечно, ощущал и понимал лучше, чем кто-либо другой. Этому есть подтверждение в «Дневниках» Блока, которые как бы содержат нашу беседу с ним на расстоянии. Беседу — как бы безмолвную, и с его стороны для меня — посмертную.

В первой книжке зарубежной «Русской Мысли», вышедшей в Софии в 1921 г., в год смерти Блока, была помещена моя заметка об его «Двенадцати». Блок в своем Дневнике переписал целиком эту заметку. В ней я писал между прочим:

> Отношение к русской революции есть частный случай отношения к греху и мерзости вообще. Оно у Блока двусмысленно, цинично и кощунственно. Это не может не восприниматься болезненно всеми любящими красоту блоковской поэзии. Ведь, тот же самый поэт, который написал соблазнительно-кощунственное «Двенадцать», написал стихи «На поле Куликовом», «Русь», «Россия», проникнутые историческим смыслом, любовью к живому и вдохновенному образу России, поруганному безбожной и бесчеловечной, кощунственной и мерзкой революцией, в «Двенадцати» изображенной, но не преодоленной ни эстетически, ни религиозно. **Невольно вспоминается вещее признание самого же Блока, что он принадлежит к какой-то проклятой породе людей, к «детям страшных лет России», у которых «в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота».**

Последнюю фразу сам Блок подчеркнул. Я думаю, что он сам остро ощущал трагический смысл этого суждения о нем. В самом деле, разве не трагедию изображает его стихотворение, напечатанное в «Русской Мысли» в первом после начала мировой войны номере?!

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще нежившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар.

Разве не трагично звучат слова в другом стихотворении?!

Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.

И наконец, следующее признание в «Дневнике» 1918 г.: **«Я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического, истерического омерзения, мешает жить»**?!

Блок был и ушел от нас человеком глубоко несчастным. Замечательный поэт, он был в религиозном отношении мучеником той «роковой пустоты», религиозной пустоты, о которой он сам когда-то поведал, и напоминание о которой, очевидно, представлялось ему, незадолго до смерти, существенным и значительным. Тут мы подошли к жестокой и ужасной тайне Блока-человека.

Склонимся перед безмерными страданиями этой несчастной души.

Передо мной, как редактором большого русского журнала, прошли почти все более или менее крупные русские поэты новейшего времени. Когда я вспоминаю о Блоке, который так и сошел в могилу, сожженный той великой ненавистью, которая как-то

всю его жизнь враждовала в его больной душе с великой любовью — перед моим умственным взором встает другой образ большого русского поэта, Гумилева, погибшего от руки большевицких палачей России.

С душой воина Гумилев соединял крепкие политические убеждения и пламенную любовь к родине-матери. Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности одно из первых мест. Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире большевицкой низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью — память об ужасных днях падения и мук России. То, что его казнили палачи России, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять.

Мы несчастны, потеряв Гумилева.

Но он счастливец, этот русский поэт-офицер, расстрелянный за веру в Россию и за верность ей.

Память обоих, ушедших от нас, несчастного Блока и счастливого Гумилева, почтим в молитвенном молчании, поднявшись с наших мест.

Белград, 30 ноября, 1930 г.

ПАМЯТИ МАКСИМИЛИАНА А. ВОЛОШИНА.

Страничка из воспоминаний

Из России пришло известие о смерти сильного и интересного поэта Максимилиана Волошина, скончавшегося не в очень старых годах, 55 лет, и это известие подняло в моей душе целый рой воспоминаний.

Я знал Волошина заграницей, в 1904 и 1905 годах, «несуразным» и неоформившимся молодым человеком. Он и тогда уже был поэтом, но поэзия была для него в эту эпоху еще, так сказать, «побочным занятием», а главным была — живопись. Сочетание это в истории литературы встречалось не раз: ведь, начинали же с живописи поэты такого большого калибра, как наш Аполлон Майков и французский романтик Теофиль Готье.

«Несуразности» в внешнем виде и личном поведении у Волошина соответствовал уклон, мне лично совершенно чуждый, но понятный и — в известных пределах — даже привлекательный: анархический. У Волошина этот уклон в то время сочетался со спокойствием, доходившим до невозмутимости. Это была какая-то флегматически-анархическая певучая богема, неспособная на страсть, но понимавшая и ценившая чужую страстность....

В это время, бурное время идеалистической политической борьбы, отвергавшей всякую мысль о жестокостях, Максимилиан Волошин пел обо всем, только не о борьбе. По крайней мере, я не помню политических нот в его поэзии того времени, а декла-

мировал он часто и охотно, обыкновенно сидя на низкой скамеечке в одном знакомом доме.

И тогда уже было ясно его своеобразное поэтическое дарование того смешанного типа, к которому принадлежат почти все такие дарования: типа поэтически-риторического. В нашей речи понятия «ритор», «риторическое» получили дурной привкус, между тем как они, в сущности, означают только «словесное искусство» или — если угодно — искусственное, «сделанное» слово. У скольких писателей слово не просто выговаривается, и песнь не просто выпевается, т. е. не творится, а делается. Весьма различными, но в высшей степени характерными выразителями этого риторического типа в поэзии были такие два антипода, в этом, однако, и родственные и близкие, как Вячеслав Иванов и Валерий Брюсов.

Под их влиянием, повидимому, непосредственным, складывалась поэтическая личность Максимилиана Волошина. Кроме Иванова и Брюсова, сильно, я думаю, влиял на Волошина и Бальмонт, с которым он в ту эпоху, помнится, находился в близком общении.

Наступили октябрьские дни 1905 г. Еще до акта 17-го октября я, редактор «Освобождения», твердо решил ехать в Россию, — без всякой амнистии и без всякого разрешения. Личные обстоятельства (появление на свет моего младшего сына) задержали мой отъезд до самого дня 17-го октября. Вечером этого дня родился мой сын, и я — первый в Париже! — получил срочную телеграмму о конституционном манифесте, посланную мне Г. Б. Иоллосом, бывшим тогда в Берлине представителем официального Петербургского Телеграфного Агентства. 19-го я уже выехал из Парижа в Петербург, запасшись для беспрепятственного переезда границы паспортом... Максимилиана Волошина. Без всяких колебаний он сам предло-

жил мне это. Я ехал, вовсе не рассчитывая скрываться. Но мне важно было переехать прямо в Петербург, не подвергая себя риску ареста на границе, ареста неминуемого, если бы я ехал со своим собственным паспортом (кстати сказать, выданным мне и подписанным последним Председателем Совета Министров Российской Империи, князем Голицыным, занимавшим в 1901 году должность Тверского губернатора! При большевиках князь Голицын, уже глубокий старик, был бессмысленно казнен — кажется, в 1927 году). Приехав в Берлин, я озаботился способами проезда в Россию — тогда была всеобщая забастовка, и железнодорожное сообщение прекратилось. Немцы решили использовать конъюнктуру и мобилизовали все свободные от обязательных рейсов пароходы для того, чтобы на них везти хлынувшую в Россию русскую публику всех званий и состояний. Я взял билет на пароход, шедший в ближайшие дни из Штеттина в Кронштадт. Меня смущало несколько то обстоятельство, что в числе своих сопассажиров я рисковал встретить людей, которые хорошо знали, что я не Максимилиан Волошин, а Петр Струве, и которые наверное стали бы не то боязливо сторониться от редактора «Освобождения», не то демонстративно сожалеть о предстоящем ему «лишении свободы». Мое опасение было основательно, потому что в числе моих спутников на пароходе, везшем нас в Кронштадт, оказались В. В. Водовозов и покойный А. Г. Небольсин (кстати сказать, оба глухие!) и еще несколько человек, которые могли легко узнать меня. Но, с другого конца, мое опасение оказалось напрасным.

В Берлине то короткое время, которое мне оставалось до отхода парохода из Штеттина в Кронштадт, я проводил преимущественно в общении с покойным Г. Б. Иоллосом, блестящим берлинским корреспондентом, а потом редактором «Русских Ведомостей», с которым меня, несмотря на различие возрастов (Иоллос

был значительно старше меня!) и политических темпераментов, связывали дружеские отношения. Мы условились с Г. Б., что он приедет провожать меня на штеттинский вокзал.

Являюсь я на вокзал, и Иоллос, с сдержанным и радостным волнением встречает меня вестью об ...амнистии. В этот самый день им была получена от И. В. Гессена телеграмма, что я — по представлению гр. С. Ю. Витте — получил **личную амнистию.** Это обстоятельство весьма упрощало мое возвращение на родину. Времени до отхода поезда было достаточно, и я тотчас направился к газетному киоску, купил конверт большого формата, вложил в него паспорт милейшего и добрейшего Максимилиана, написал ему несколько слов привета и благодарности, надписал адрес и просил Григория Борисовича Иоллоса немедленно после моего отъезда послать этот конверт заказным отправлением в Париж.

После революции 1905-1906 гг. в поэзии Максимилиана Волошина появились политические ноты, и ему, по справедливости, должна быть приписана — не знаю уж как сказать! — историческая заслуга, высокая честь или горькая участь: едва ли он, как поэт, не первый уловил еще в буре первой революции 1905-1906 г.г. жестокий рев разнуздывающейся стихии и смутный гул, возвещавший роковое крушение великого государства.

Я тогда же отметил в «Русской Мысли» этот исторический смысл поэзии Максимилиана Волошина. Позволяю себе привести здесь это суждение, произнесенное приблизительно четверть века тому назад.

> В № 2 журнала «Перевал» М. А. Волошин напечатал стихотворение, в котором с замечательной силой подчеркнут этот мотив русской революции (чувство ненависти и жажда возмездия):

Народу русскому: Я скорбный ангел мщенья!
Я в раны черные — в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья,
И голос мой набат. Хоругвь моя — как кровь.

На буйных очагах народного витийства,
Как призраки, взращу багряные цветы.
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую — кровавые мечты.

И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость.
Я грезы счастия слезами затоплю.
Из сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю.

О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь! Я ведаю ваш счет...
Я камни закляну заклятьем вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет!

Скажу восставшему: я злую едкость стали
Придам в твоих руках картонному мечу...
На стогнах городов, где женщин истязали,
Я «знаки Рыб» на стенах начерчу.

Я синим пламенем пройду в душе народа,
Я красным пламенем пройду по городам;
Устами каждого воскликну я: «Свобода»,
Но разный смысл для каждого придам.

Я напишу: «Завет мой — Справедливость»,
И враг прочтет: «Пощады больше нет».
Убийству я придам манящую красивость,
И в душу мстителя вольется страстный бред.

Меч Справедливости, карающий и мстящий,
Отдам во власть толпе... И он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий.
Им сын зарежет мать, им дочь убьет отца.

Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды.
Один ты видишь свет. Для прочих он потух»...
И будет он рыдать и в горе рвать одежды,
И звать других. Но каждый будет глух...

Не сеятель сберет колючий колос сева.
Поднявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.

Я напишу: «Завет мой — Справедливость», / И враг прочтет: «Пощады больше нет». В этой «справедливости», перед которой «нет пощады» врагу, т. е. несогласно мыслящему, схвачена психическая сущность многих явлений русской революции, накопившей **внутри себя** такой огромный капитал иррационального недоверия и озлобления.

«Один ты видишь свет. Для прочих он потух» — это сознание своей личной и групповой непогрешимости тоже в высшей степени характерно для русской революции. Сомнение в своей абсолютной личной правоте или непогрешимости есть основа человечного отношения к другим людям и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, а потом и фактического.

Соглашение, или компромисс, недоступен больным политической злобой, насквозь пропитанным **«хмельной отравой гнева»** душам.

(«Русская Мысль», январь 1907 г. Перепечатано в сборнике «Patriotica», СПБ., 1911 г., стр. 24-25).

В эпоху «белого» движения Волошин написал о России несколько очень сильных стихотворений, которые были, если не изменяет мне память, напечатаны только заграницей, а затем, повидимому, замолк. Его натура в обстановке большевицкого гнета не могла развернуться. Не могло в ней получить своего выражения и то почвенно-национальное, религиозно окрашенное чувство, которое владело Волошиным и оригинально сочеталось с анархическим уклоном его духа.

У Волошина, как у многих поэтов и художников вообще, дискурсивное мышление не стояло на уровне его художественного дарования вообще, словесного искусства в частности. Поэтому он мог производить впечатление ограниченного человека. Но это была все-таки богатая натура и интересная личность, которая со своеобразной физиономией войдет в историю русской поэзии.

Прага.
21-го августа 1932 г.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ М. ВОЛОШИНА

В виду разнообразных и интересных откликов, вызванных кончиной в Советской России замечательного поэта М. А. Волошина, небезынтересно привести одно советское суждение о нем, принадлежащее большевицкому литературному критику Г. Лелевичу и напечатанное в Советской Энциклопедии. Явно ошибочно указав, что будто бы октябрь 1917 г. «разбудил в Волошине поэзию политических и социальных мотивов» (как я уже указывал в своих воспоминаниях о Волошине, он выступил с поэтическими произведениями на общественно-политические темы еще под впечатлениями революции 1905-1906 г. г.!), товарищ Лелевич замечает далее:

> Но новая поэзия, отлившаяся на этот раз в энергичные, хотя несколько и архаические, стихи, обрушилась на народ, «прогалдевший», «пролузгавший», «пропивший» Россию. Революционному «распаду» он противополагает будущее «Царство Русское», когда из «преступлений, исступлений возникнет праведная Русь». Вожди символизма, Блок и Брюсов, спасли себя от общественного и литературного небытия, став под знамена революции. Волошин не нашел в себе сил для создания своих «Двенадцати», и его поэзия чужда передовой современности.

Это большевицкое суждение нелишне зарегистрировать.

Объективной стороной своих высказываний оно

правильно характеризует общий тон и смысл политической лирики Максимилиана Волошина.

Насильственной и разрушительной большевицкой революции анархический — ибо по всему стилю своей личности Волошин является, как я уже писал, анархистом! — но отнюдь не чуждый исторического пиетета и патриотического подъема дух **поэта** Волошина был глубоко враждебен, какие бы позы и позиции по отношению к большевизму ни занимал **человек** Волошин в разные моменты своей жизни.

Прага, 23-го сентября 1932 г.

В. П. БУРЕНИН И А. Л. ВОЛЫНСКИЙ

Рассказывают, что о старичке «нововременце» Буренине в наше трудное и жуткое время заботился и в последние годы жизни его поддерживал А. Л. Волынский-Флексер, скончавшийся, однако, за несколько месяцев до Буренина.

Какой знаменательный поворот судьбы!

Критик «Нового Времени», которого вся «прогрессивная» печать и следующее ее указаниям «либеральное» общество считало злым реакционером — на попечении у еврея-критика, к которому одинаково почти до ненависти отрицательно относилось и огромное большинство русских либеральных и радикально настроенных писателей и читателей и вся «нововременская» публика!

Большевизм своим разрушением культуры и ниспровержением элементарных устоев жизни погасил там, внутри России, самые жгучие страсти и упразднил самые жестокие отталкивания и как-то свел на чем-то непререкаемо объединяющем, на общем национальном несчастии и на общей личной беде, таких людей, как Буренин и Волынский.

Мне хочется о них обоих сказать несколько слов. Я гораздо моложе и того и другого (а между ними была порядочная разница лет!), но все-таки я их младший **современник.**

Буренин, как и А. С. Суворин, начал либеральным журналистом, все жало своего остроумного слова обращавшим против «реакции». Потом вместе с

Сувориным он эволюционировал и стал столпом «Нового Времени».

Сейчас наступает время справедливой оценки и такого человека, как Буренин.

Спору нет — он бывал зол, злобен и несправедлив. Но он был даровит и умен. И в своей защите искусства против тенденциозного «подгибания» его под либерально-радикальные прописи, Буренин был прав — и в общем, и во множестве частностей. Ведь сейчас нельзя без не то изумления, не то сожаления читать топорно-бездарные, тупоумно-жалкие критические рассуждения покойного А. М. Скабичевского (например, о Льве Толстом). Рядом с такими писателями, как Скабичевский, Буренин был тонким ценителем и настоящим критиком. И что говорить о Скабичевском?! В отношении к Достоевскому Буренин был гораздо тоньше и чутче, чем даже такой бесспорно крупный и широко образованный писатель, как Н. К. Михайловский.

Несмотря на газетное многописание, Буренин, как все сколько-нибудь выдающиеся писатели его времени, мастерски владел русским языком, писал просто, ясно и сильно. Это как-то в свое время недостаточно оценивалось, но теперь, в нашу эпоху засорения русского литературного языка, эту черту, и, если угодно, заслугу Буренина нельзя не отметить и подчеркнуть. Вообще Буренин был настоящий писатель и, как таковой, заслуживает и изучения и оценки.

У него не было ни своих собственных широких идей, ни вообще цельного мироощущения и мировоззрения, хотя бы традиционного. Этим Буренин резко отличается от одного большого французского писателя, с которым в чисто литературном отношении у него много сходства. Я имею в виду знаменитого католического публициста и литератора Луи Вейо (Louis Veuillot), быть может, самого едкого и злобного писа-

теля на французском языке. Подобно Вейо, о котором остроумный Эжен де Мерикур сказал: « Le saint Veuillot déshabille tout », В. П. Буренин был бесподобным спорщиком и едчайшим насмешником. Но у Вейо в распоряжении, кроме крупного литературного таланта, была вся огромная духовная сокровищница традиционного католицизма. В этом смысле Буренин был просто беден, хотя более свободен, чем Вейо. По своей душевно-духовной природе Буренин был маловер, скептик, и либералы и радикалы ему казались слабы и смешны, быть может, не столько по существу их воззрений, сколько в качестве людей слишком легковерных. У него же самого не было большой и крепкой веры, и в этом, думается мне, было его личное несчастье, как писателя и человека. Любил он только искусство и верил только в него. Ибо и сам он был в какой-то мере и в каком-то смысле — **художник.**

***

Совсем иным был А. Л. Волынский (родился в 1863 году). Либералы и радикалы возненавидели его за развенчание русской либерально-радикальной традиции в журналистике и литературной критике. Сейчас можно и должно сказать, что, развенчивая, Волынский был прав. Конечно, русский радикализм был философски малообразован и даже убог. Волынский вскрыл это убожество, и в этом его несомненная отрицательная заслуга.

У него были философские знания и какая-то, казавшаяся в свое время кощунственной, неустрашимость суждений.

Но, развенчивая, Волынский сам ничего не построял. Как критик и философ, он относится к типу начетчиков и эрудитов, но не мастеров и мыслителей. Этим отчасти объясняется его неуспех. Его справед-

ливая критика раздражала отсутствием за нею собственного духовного содержания у автора. В нем не было подлинного философского нутра и огня.

Волынский был умным человеком, много знавшим и высказывавшим интересные суждения, но, как писатель, он был совершенно лишен настоящего литературного дарования. Писал он языком напыщенным и нередко совершенно нестерпимым. Им пущены в ход обороты классически безвкусные, вроде пресловутых «альпийских высот нравственности», «новой мозговой линии» и т. п.

В этом сочетании у Волынского отсутствия не только художественного, но и чисто словесного дарования с постоянной тягой к искусству было какое-то роковое противоречие.

Волынского интересовали и влекли к себе литература, живопись, балет, но даже как ценитель всех этих искусств, Волынский не был ни в какой мере художником, а оставался начетчиком, собирателем, эрудитом, если угодно — исследователем.

В самом деле, самое большее, на что ему были отпущены дарования, это была исследовательская работа. Как исследователь, он открыл, что Белинский был философски мало образован, а Чернышевский к настоящей философии вовсе и не прикоснулся. Как исследователь, он написал серьезную книгу о Леонардо да Винчи и интересный этюд о Лескове.

Как бы то ни было, обстоятельный разбор идейного содержания русской критики, произведеный А. Л. Волынским-Флексером в «Северном Вестнике» 90-х г. г., провел какую-то межу, если угодно, составил эпоху в истории русской публицистики и литературной критики. Это надлежит признать, и этим признанием определяется то место, которое принадлежит Волынскому в русском идейном развитии.

Он был одним из разрушителей русской тради-

ционной «радикальной» идеологии и в этом качестве войдет в историю русской мысли.

Христианское соединение в нужде и горе Буренина и Волынского имеет какое-то символическое значение. Историческая трагедия России свела этих писателей в конце их жизни, может быть, не случайно. Их жизненным делом было разрушение с разных концов одной и той же, весьма некрепкой, крепости — враждебного искусству и религии **легковерия.**

ПАМЯТИ ЮЛИЯ ИСАЕВИЧА АЙХЕНВАЛЬДА

В «России и Славянстве» уже была отмечена горестная утрата русской литературы, трагическая кончина Ю. И. Айхенвальда, павшего жертвой несчастного случая в Берлине.

Мне хочется поделиться некоторыми воспоминаниями и мыслями о покойном. Встретился я с ним впервые в 1897 г., когда он был секретарем философского журнала «Вопросы Философии и Психологии». Айхенвальд был в Москве пришлый человек, одессит, и переселение его, воспитанника Новороссийского Университета, в Москву, было, насколько я знаю, связано с перемещением покойного профессора Николая Яковлевича Грота с одесской на московскую кафедру. Подобно тому, как одесский профессор Александр Сергеевич Посников, переместившись из Одессы на север, правда, не в роли профессора (к профессуре он вернулся гораздо позже), перетянул туда, в Москву, Александра Аполлоновича Мануилова, ставшего потом профессором Московского Университета и его ректором, а также главным редактором «Русских Ведомостей», так Грот в свое время перетянул в Москву Айхенвальда.

Это оказалось для Москвы большим приобретением, а для самого Айхенвальда, я уверен, решающей переменой во всей его духовной жизни.

Айхенвальд был добрый и мягкий человек, с какими-то особенно обходительными, на первый взгляд казавшимися «вкрадчивыми», манерами. Его за это

прозывали в Москве в 90-х годах прошлого столетия «кошачьи лапки». Но эта кличка была несправедлива, поскольку она могла вызывать какое-нибудь представление именно о вкрадчивости, или о неискренности. Это свойство было абсолютно чуждо Айхенвальду, при всей его мягкости человеку твердому и глубоко правдолюбивому. Как человек мягкий, он был весьма терпим, но не той терпимостью безразличия и цинизма, которая характерна для людей «беспринципных» и хищных.

Позже я столкнулся с Юлием Исаевичем, когда мы, вместе с А. А. Кизеветтером, редактировали «Русскую Мысль» — Айхенвальд был одно время у нас заведующим литературным отделом. Дело это он вел добросовестно и хорошо, но я не думаю, чтобы редакторство было в числе его призваний. По своему призванию он был — писатель и лектор-учитель.

Следует пожалеть, что как писатель Айхенвальд дал все-таки меньше, чем можно было ждать от столь одаренного и образованного человека. Его художественная интуиция, его философское образование, при условии систематической работы, направленной на одну цель, могли бы сделать из него не только выдающегося «эссеиста», каким он и стал, но и систематического истолкователя и обозревателя русской изящной литературы, русским Сент-Бевом или Брюнетьером. Таким Айхенвальд мог стать, но не стал, быть может, только по внешним причинам. Но, быть может, — и по некоторым своим внутренним свойствам. Он, конечно, работал наспех, как большинство русских писателей. Он, в совершенно другой, менее спокойной, более беспорядочной обстановке, чем французы, делил писательство с преподаванием, и притом, не столько «университетским», сколько «гимназическим». Но для систематической работы истолкователя русской литературы в целом ему недоставало, быть может, и той объективно-исторической складки

исследователя, «помещающего» писателя в рамки «среды», или «быта» в широчайшем смысле слова, которая сделала Сент-Бева первоклассным историком-изобразителем и которая не отсутствовала у столь отличного от Сент-Бева Брюнетьера.

Как бы то ни было, и эстетическая интуиция и философская культура ума сделали из Айхенвальда крупную литературную фигуру, которая со своеобразной физиономией войдет в историю русской литературной критики.

Я сказал, что он был лектором-учителем. Он преподавал с успехом и в высшей, и в средней школе. О преподавании Айхенвальда в последней я слышал еще при его жизни от одного строгого, опытного, тонкого и неспособного увлекаться ценителя-педагога, давно сошедшего в могилу, самые положительные, почти восторженные отзывы. Уроки и лекции Айхенвальда давали знания и настраивали душу.

Именно за это, за то, что Айхенвальд настраивал их душу, так ценили, так любили его и слушатели и читатели. «Настраивал» — это значит подымал и умягчал.

В наше суровое и жестокое время это бесконечно дорого.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ

По поводу исполняющегося в этом месяце, 14-го декабря, 70-летия Д. С. Мережковского я направил ему следующее письмо:

Глубокоуважаемый и дорогой
Дмитрий Сергеевич!

От души приветствую Вас в день Вашего 70-летия. Не раз приходилось и в устной беседе, и в печати спорить и до конца не соглашаться с Вами. Но с того момента, что я, почти мальчиком, читал Ваши юношеские стихотворения и Ваши первые критические опыты, и до самого последнего времени значительность и плодотворность Вашего писательского делания были для меня всегда разительно ощутительны. Вы прокладывали новые борозды и шли своими путями как поэт, как критик, как мыслитель. Мне неизъяснимо отрадно вспоминать, как, будучи уже редактором, я не только вчитывался, но и вглядывался в рукопись Ваших «Воскресших богов», произведения, в которое Вы вложили столько подлинного вдохновения и столько благородного писательского труда. Не раз мне потом приходилось указывать начинающим писателям, что этот способ работы, честный и строгий, только подкрепляет и усиливает творческое вдохновение.

Вы первый, как критик-мыслитель, измерили мировое духовное значение Достоевского и

Льва Толстого, вскрыв религиозный смысл их творчества, и я могу, опять-таки и как читатель, и как писатель, удостоверить то огромное впечатление, которое этот труд Ваш произвел на целые поколения. Многих, чей образ для меня живо и в то же время исторически связан с Вашим, уже нет в живых: ушли В. В. Розанов и А. А. Блок. Но тот факт, что образы этих людей как-то неразрывно соединяются с Вашим, говорит убедительнее и ярче всяких обобщений о значении и силе того, что сделано Вами.

Я испытываю огромное личное удовлетворение от того, что могу все это сказать Вам и о Вас, не впадая ни в какие юбилейные преувеличения, а занося на бумагу лишь то, что я думаю, вспоминая Вас.

Еще одно слово, которое я скажу, как политический деятель. Вы не политик, но полно именно огромного политического значения, что, не будучи политиком, Вы исповеднически-твердо и неподкупно-ясно выступили против того чудовищного Зла, которое угнетает и обесчещивает Россию, против большевизма. Вы этим показали и доказали, что тут дело идет не только о политике, что тут затронуты самые основы культурного и религиозного бытия и народа русского, и всего человечества.

Обнимаю Вас

Душевно преданный Вам

Петр Струве

Белград, 10-го декабря 1935 г.

И. А. БУНИН

Речь, произнесенная в Белграде 20-го ноября и оглашенная в Париже на чествовании И. А. Бунина 29-го ноября 1933 г.

Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.

Боратынский.

Увенчание Нобелевской премией И. А. Бунина есть событие, наполнившее нас чувством национального удовлетворения, и мы ощущаем потребность осознать и выразить это удовлетворение.

Увенчан премией русский писатель, состоящий или, вернее, именуемый «эмигрантом». Иностранцы, которые до сих пор говорят об эмиграции, как о выражении старой России, не понимают одного и самого главного, что т. н. русская эмиграция, один из величайших в мировой истории «исходов», абсолютно очень большой и качественно весьма высоко стоящей части населения, что эта русская «эмиграция» есть — по воле истории — представительница и выразительница не только старой России, но и России грядущей, не только прошлого, но и будущего России. Ибо Россия либо распадется, либо возродится как Россия Национальная и Свободная. А идею Национальной и Свободной России несет с собою, хранит и блюдет та группа ее населения, которая, не желая терпеть безграничного и постыдного коммунистического гнета, боролась против него и временно отступила на чужие земли, и потому на ходячем политическом и га-

зетном языке и именуется — «эмиграцией». Ни один будущий историк русской культуры не сможет обойти молчанием того факта, что эмигрантами оказались такие писатели, как И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, И. С. Шмелев, А. И. Куприн, К. Д. Бальмонт, Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов, такие ученые, как Н. П. Кондаков, П. Г. Виноградов, Н. И. Андрусов, М. И. Ростовцев и А. А. Кизеветтер, такие артисты, как С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, А. Т. Гречанинов, Н. К. Метнер, Н. Н. Черепнин и Ф. И. Шаляпин, такие художники, как Илья Репин, К. А. Коровин, Рерих, Бенуа, Билибин, Яковлев, Борис Григорьев, Судейкин...

Но довольно об этом! Мы сами, русские, не только понимаем, но и ощущаем это всеми фибрами своей души, и нам друг другу тут нечего подробно разъяснять.

Обратимся к Бунину, как к явлению единой русской культуры, в которой прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны между собою, обратимся к Бунину, как к большому писателю, которому мы обязаны нашим сегодняшним, столь редким для нас, подлинно праздничным собранием.

Всякий большой писатель должен быть понят, как духовная индивидуальность, как творческая личность, и вдвинут в историческую рамку своей эпохи.

Бунин принадлежит к числу немногих русских писателей, которые являются в одно и то же время стихотворцами, или поэтами в узком техническом смысле, и поэтами-прозаиками. Это совмещение, в совершенно другом соотношении, присуще величайшему творческому гению России, Пушкину. Оно же характеризует писательский путь Тургенева: Тургенев начал как стихотворец, но приобрел славу как прозаик-художник.

Увенчание Бунина как-то символически совпадает с поминками Тургенева. Это совпадение знаме-

нательно потому, что из всех великих русских писателей к Бунину всего ближе именно Тургенев[1]). Бунин представляет ту же особенность духовной и писательской индивидуальности, которую мы встречаем у Тургенева. Но только у Бунина она выступает перед нами, так сказать, в еще более сгущенном виде. Основной особенностью дарования Бунина является, как у Тургенева, необычайно яркая и мощная **слитность** дарования **лирического** с даром изобразительным и **эпическим.** Конечно, по сравнению с Буниным, Тургенев все-таки гораздо более объективный художник, но это не значит, чтобы Бунин был художник только субъективный, чистый лирик. Нет, он выступает перед нами и как изумительно сильный изобразитель вечной красоты природы и близкой к ней красоты вечных памятников искусства. Но эти дивные картины природы и внешних вещей вообще, эти мощные изображения чужой человеческой жизни так слиты у Бунина с его собственными переживаниями, что Бунина лишь с натяжкой можно назвать романистом или новеллистом, если под этими наименованиями разуметь лишь авторов, просто описывающих и рассказывающих. Простых описаний и простого рассказа у Бунина почти нет.

Таким образом у Бунина есть в творчестве душевная черта, общая с Тургеневым, но ни о каком влиянии или подражании тут не может быть и речи: Бунин совершенно своеобразный художник, со своей особой физиономией, столь выразительной и яркой, что эта физиономия означает в сущности и какой-то особый литературный жанр.

Для того, чтобы иллюстрировать сказанное, я должен был бы привести вам ряд характерных мест из лучших произведений Бунина, но время не поз-

---

[1]) Ср. статью Глеба Струве о Бунине, как художнике в *Slavonic Review* т. XI, № 32 (январь 1933 г.).

воляет сделать это, и я перехожу к социально-психологической характеристике бунинского творчества по его содержанию и по историческому смыслу этого содержания.

Русская литература была в значительной мере литературой **народнической**, литературой «кающегося дворянина». Эта литература на разный лад, в разном смысле идеализировала народ, понимаемый как **простонародье.** Эта идеализация началась еще в первой половине XIX века и пышным цветом расцвела во второй его половине. Ей отдали дань в отвлеченном историко-философском смысле славянофилы, ее не был чужд Достоевский, ее в своеобразную форму возвеличения Иванушки Дурачка вылил Лев Толстой. Несмотря на потрясающий реализм своих изображений и режущую остроту своих анализов, Глеб Успенский все-таки с головы до пят народник. И какое-то дикое народничество всецело пронизывает творчество Горького. Чужды народничества, как идеализации народа, были только европеец Тургенев, в этом отношении антипод и славянофилов и своего друга Герцена, и затем Чехов, по социально-психологической линии прямой предшественник Бунина, но отличающийся от последнего тем, что всегда стоял как бы вне традиционных рамок русской интеллигенции и не прошел через общую духовную реторту «интеллигентства».

Если не считать Чехова, который вообще никогда не был «интеллигентом» в точном типологическом смысле слова, и к тому же не имел опыта 1917 и последующих годов, то Бунин первый большой русский писатель, который совершенно, органически и окончательно, освободился от чар народничества. Это не значит, чтобы Бунин не любил русского народа, не видел и не изображал глубоких и трогательных человеческих черт в самых простых людях из его среды, но ему совершенно чужды идеализация

простонародья, как такового, преклонение перед физическим трудом, как таковым, перед «мозолями» и «потом», перед «властью земли», перед необразованностью и некультурностью. Бунину чужд всякий руссоизм и толстоизм.

Народничество в указанном смысле составляло духовное и душевное содержание того типа русских интеллигентов, который влиятельнейший публицист семидесятых и восьмидесятых годов XIX века, Н. К. Михайловский, окрестил «кающимся дворянином» и к которому принадлежал и он сам.

И. А. Бунин — это русский интеллигент, который бесповоротно перестал быть народником.

Это — русский дворянин, который окончательно перестал каяться.

В этом — социально-психологическая нота таких произведений Бунина, как «Деревня» и «Суходол». В этом — историческое значение этих произведений, ставших потрясающим изображением распада стародавних скреп, которыми держалась старая Россия. Значение этого социально-психологического содержания произведений Бунина, появившихся в 1909 и 1911 г. г., тем больше, что оно, это содержание, является отнюдь не надуманным, или книжным. В ту эпоху Бунин по своей идеологии был радикальным интеллигентом, мало чем отличавшимся от Горького и других литераторов, потом перешедших в стан большевиков. Но органически он был всегда от них бесконечно далек. У него было беспощадное видение действительности, неподкупное чутье жизненной правды, возвышавшееся до подлинного художнического ясновидения. Я отчетливо помню огромное впечатление, произведенное Бунинской «Деревней», несмотря на внешнюю бесформенность этого произведения. Впечатление это было сродни произведенному Чеховскими «Мужиками». Только теперь, пережив революцию или революции 1917 г. и испив чашу бо-

льшевизма, мы можем вполне оценить всю значительность и силу, почти пророческую, бунинских изображений.

От социально-психологического содержания и значения произведений Бунина я хочу обратиться к вечному в них. Совершенно правильно было замечено, что в бунинском восприятии мира как-то чарующе-своеобразно сожительствуют любовь у смерть [2]). Бунин с необычайной остротой чувствует смерть. И в то же время никто из новейших русских писателей с такой полнотой не измерил и не изобразил всепоглощающей силы любви, именно той любви, плотской и в то же время душевной, которая является источником всякой жизни.

Сочетание в одном человеческом духе чувства смерти и чувства любви придает отмеченному мною совмещению в бунинском творчестве глубочайшего лиризма с беспощадной изобразительностью какую-то несравненную, своеобразную и существенную, не только формальную прелесть. И эта прелесть, присущая творениям художника, нашего современника, вызывает образ того русского поэта, чистого лирика, которого когда-то, как своего друга и соперника, восславил Пушкин. Боратынский воспел смерть:

О, дочь верховного эфира!
О, светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Эта очаровательная хвала смерти из уст певца любви, которому было дано, по его собственным словам, «таинство печали», невольно приходит на ум, когда проникаешь в глубочайший философский смысл бунинского творчества, которому одинаково доступны обе области: сияния и тьмы, жизни и смерти.

---

[2]) Ср. опять цитированную выше английскую статью Глеба Струве.

ИЗ ДУХОВНОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

Барон Б. Э. Нольде. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926. стр. 245.

Николай Бердяев. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж, 1926. Имка-Пресс. С портретом. стр. 268.

В наше время одной из самых важных, едва ли не важнейшей культурной задачей является воскрешение великого и богатого духовного **прошлого** России. По богатству крупных умов и резко очерченных индивидуальностей время Александра II, быть может, еще богаче, чем изумительная эпоха Николая I. Недавно появились две книги, заглавия которых выписаны выше и которые посвящены двум большим величинам русской духовной культуры эпохи Александра II.

Юрий Федорович Самарин принадлежит еще к царствованию Николая I: он родился в 1819 г., учился в университете в 30-х годах и начал свою научно-литературную и практическую деятельность в 40-х годах.

Константин Николаевич Леонтьев, родившийся в 1831 г., пережил Александра II и умер в 1891 г., за три года до смерти Александра III.

Автор книги об Юрии Самарине — ученый юрист, обладающий крупным дарованием историка. Его характеристики выпуклы, его обобщения отчетливы и свидетельствуют о большом знании истории и большом историческом смысле. Книга о Самарине написана блестяще и может быть поставлена в ряд с луч-

шими произведениями иностранных литератур в таком же роде. Это — историческая монография и художественно исполненная биография.

Автор книги о К. Н. Леонтьеве — философ и, если угодно, философствующий поэт. Н. А. Бердяев превосходно изучил К. Н. Леонтьева, и книга его, чрезвычайно содержательная, вся «напитана», как говорят французы, фактами и свидетельствами. В этом ее огромное достоинство. Нет в книге Бердяева элементов исторической монографии, и художественной объективности он вообще лишен. Когда он говорит о каких-нибудь явлениях и людях, он пишет к их творениям свои «примечания» и непрерывно делает и свои «замечания» и читает «наставления». Это интересно, ибо автор примечаний и замечаний умный человек, но подчас утомительно и даже раздражает.

С К. Н. Леонтьевым Н. А. Бердяева связывает общий им обоим эстетизм, но это лишь формальное сродство и сходство. По существу же религиозного восприятия мира Бердяев весьма далек от Леонтьева, ибо у Бердяева очень много того «розового» христианства, которое было так чуждо и даже отвратно Леонтьеву. Оба, и Леонтьев, и Бердяев, будучи религиозными философами, касаются вопросов и политики. И оба они совершают формально одну и ту же ошибку, ошибку «короткого замыкания». Между философским основанием (посылкой) и политическим выводом (заключением) часто нет никакого расстояния, и заключение из посылки получается с быстротой, простотой, ослепительностью и разрушительностью «короткого замыкания», или пистолетного выстрела. Для Леонтьева это простительнее, чем для автора современных о нем «примечаний», ибо Леонтьев только прозревал многое из того, что Бердяев, как и все мы, имел несчастье узреть.

Как бы то ни было, книга Н. А. Бердяева есть — по своему объективному содержанию, как любовный

и умный Бедекер по Леонтьеву — ценнейшее приобретение всей литературы по истории русской мысли. Леонтьев писатель нелегкий, и внешне весьма трудно доступный, и для знакомства с ним прямо нужен такой путеводитель.

К историческим фигурам Юрия Самарина и К. Н. Леонтьева я еще вернусь.

О ПУСТОУТРОБИИ И ОЗОРСТВЕ

Печальное впечатление оставляют некоторые новейшие литературные явления за рубежом и связанные с ними пререкания.

Беру журнал «Благонамеренный», книга 2 (март-апрель), и в нем нахожу стихотворение М. И. Цветаевой, озаглавленное «Старинное благоговение», ее же статью «Поэт о критике» и ее же набор цитат из «Литературных бесед» Г. Адамовича, напечатанных в журнале «Звено».

Грешный человек, г. Адамовича я не читал, но, познакомившись с ожерельем его суждений и изречений, нанизанных г-жой Цветаевой, я впал в уныние.

Но уныние вызывает у меня и то, что пишет сама М. И. Цветаева. И то и другое огорчительно не потому, что бездарно, а потому, что совсем безнужно.

Именно — предметно безнужно, при известной личной одаренности самих пишущих.

Ни к чему.

Безнужно, ибо беспредметно.

Безнужно, ибо невнятно.

Вот, например, строфа г-жи Цветаевой:

Двух нежных рук оттолкновенье —
В ответ на ангельские плутни
У нежных ног отдохновенье,
Перебирая струны лютни.

Что это значит?

А таково все стихотворение.

Я утверждаю, что это литературное произведение беспредметно и не только невнятно, но и прямо непонятно, а потому безнужно. Почти так же или более безнужно, чем суждения г. Адамовича о Пушкине, Гоголе, Фете, Брюсове, нанизанные г-жой Цветаевой и производящие удручающее впечатление каких-то развязных ...... глупостей, изрекаемых неглупым человеком. Чем объясняется эта беспредметность и невнятность, эта не-приятность лично не бездарных писателей?

Это психологическое явление не безразличное и не простое, а, наоборот, серьезное и сложное.

Г-жа Цветаева в своей статье «Поэт о критике» обмолвилась словом «суть» и назвала поэта «человеком сути вещей».

«Суть вещей» есть то, что я называю «предметом» и что можно также назвать «содержанием».

Многие современные литераторы всегда или часто бывают:

бессущны,

или, что то же,

беспредметны,

или, что то же, **бессодержательны,**

а потому их произведения **безнужны.**

Именно не банальны, не бездарны, а бессущны и безнужны.

В русской литературе это началось давно и постигало и постигает многих. Бессущность эта есть какое-то духовное **пустоутробие.**

Я пишу это с большим огорчением, но это так, и это — настоящая болезнь.

Болезнь эта началась давно, едва ли не с Брюсова, который, однако, сам ее почти совсем преодолел. Брюсова я довольно хорошо знал, человек он был

весьма неприятный, лично глубоко порочный, но несомненно крупный писатель, побоборовший свое писательское **озорство,** но не свою человеческую порочность, (именно порочность, а не греховность, черту общечеловеческую, ибо присущую всякой «твари»).

Озорство есть именно то слово, которое выражает другую сторону писательской бессущности.

А корень этой бессущности в каком-то отсутствии предметной (объективной) религиозной скрепы при часто очень повышенных личных субъективных религиозных потребностях.

Души без скрепы, без дисциплины, без направленности, без сосредоточенности, а потому часто не дошедшие до сути, не обретшие предмета.

Дойти до сути, обрести предмет не так-то просто и легко, но без такого обретения духовное и, в частности, словесное творчество сбивается на **пустословие** и являет **озорство.**

Скрепа, средоточие, направление может даваться не только религией, но для многих современных русских душ характерно, что они другие скрепы утеряли, а религиозной предметно еще не приобрели.

ОБ «ЭПИГРАММАТИЧЕСКОМ РОДЕ»

Г. А. Ландау, выдающийся и превосходно образованный публицист с философской складкой ума и силой юридического, несколько слишком расщепляющего анализа, выпустил маленькую книжечку, сборник афоризмов под заглавием «Эпиграфы» (Берлин, 1927 г.).

Ландау — очень умный писатель. Принадлежа к среде радикальной интеллигенции, он вышел из русской революции не радикалом, а скорее консерватором, умудренным всем ее опытом, субъективным и объективным. Человек ума скептического, он после революции на нее направил весь режущий холод своего ума, положив под его аналитический нож заодно и все главнейшие результаты мировой войны. Так получилась замечательная, полная глубоких мыслей, книга «Сумерки Европы», вышедшая четыре года тому назад.

«Эпиграфы» Ландау есть опыт в литературном роде, который автору не сродни. Нужно сказать правду: **книга эта литературно не удалась.** Она и слишком сложна, пожалуй, вычурна, и слишком оттеночна (нюансирована) для книги афоризмов. Максимы, афоризмы, «эпиграммы», «эпиграфы» в широчайшем смысле слова, не должны ни ходить вокруг предмета, ни обвивать, ни расщеплять его. Они должны — по нему ударять и бить в точку.

«Эпиграмматический» дар вовсе не всегда сочетается с большим и оригинальным умом. Часто «афо-

ризмы» или «эпиграфы» суть как бы выношенные рядом поколений и отточенные умелой, но не творческой рукой общие места, почти банальности. Слишком новые и слишком свои мысли часто не годятся в афоризмы. Даже великие писатели в этом роде — как показало исследование — бывали разительно неоригинальны в своих самых удачных мыслях. Относительно Ларошфуко (1613-1689) это установил тот самый Дрейфус-Бризак, который дал критическое издание «Общественного договора» Ж. Ж. Руссо — в интереснейшем «Ключе к максимам Ларошфуко» (*La clef des Maximes de La Rochefoucauld. Etudes littéraires comparées,* Paris 1904), где отчетливо вскрыты заимствования знаменитого французского автора прежде всего у Сенеки, затем у Монтеня и других. Буало не был ни глубоким, ни оригинальным автором, но его произведения — кладезь изречений, ставших пословицами и известных многим, даже не подозревающим о существовании Буало, этого великого поэта в... «полупоэзии», по саркастическому выражению Жубера.

В русской литературе «эпиграмматическим» даром были изумительно наделены Крылов и Грибоедов, в этом отношении первые русские писатели. По содержанию, конечно, их мысли-изречения скорее неоригинальны и потому, может быть, так легко были «приняты» и вошли в пословицы.

Исключительно «эпиграмматическим» или «афористическим» даром блещет в нашей литературе кн. П. А. Вяземский, которому, как поэту, удавались в общем не целые стихотворения, а именно отдельные стихи — изречения и даже отдельные выражения, который был замечательно умен, не будучи вовсе умом творческим. Еще А. А. Бестужев в своей «Полярной Звезде» в 1823 г. писал о тридцатилетнем тогда кн. Вяземском: «Почти каждый стих его может служить пословицей, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагороживает народные

слова и любит блистать неожиданностью выражений (стр. 25).

Способность чеканить меткие и потому могущие стать ходячими мысли как-то тесно связана с развитием, во-первых, философской культуры и, во-вторых, литературного языка. Значение второго обстоятельства особенно наглядно и существенно. Чем более отточен и потому точен язык, тем легче на нем говорить эпиграммами или афоризмами, чеканить максимы. Отсюда — изумительное «эпиграмматическое» богатство французской литературы. Монтень, Шаррон, Паскаль, Ларошфуко, Лабрюэр, Вовенарг, Шамфор, Ривароль, Жубер оставили замечательные, отчасти прямо классические образцы этого рода, и некоторые из этих писателей только в нем прославились.

Таков Шамфор, который принадлежал к числу французских интеллигентов, накликавших революцию и ею убитых — он не был гильотинирован, но в революционной тюрьме покушался на самоубийство и вскоре умер (1793 г.). Пушкинское: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» внушено, повидимому, изречением Шамфора: L'amant trop aimé de sa maîtresse semble l'aimer moins et vice versa.

Таков Ривароль, эмигрант эпохи революции, творец, быть может, самых острых изречений на французском языке, автор, которому принадлежат в области государствоведения мысли глубокие и верные.

Таков, наконец, французский платоник, друг Шатобриана, Жубер (1754-1824), который при жизни ничего не печатал: первое издание его афоризмов (1838), сделанное Шатобрианом, не предназначалось для публики, но автор и его мысли стали известны, благодаря статье Сент-Бева, которая проложила путь дальнейшим, уже поступавшим в продажу, изданиям. «Мысли» Жубера есть последнее, самое утонченное звено в том литературном роде, который для фран-

цузов идет от Монтеня. Они уже слишком умны, сложны и разноцветны для той задачи, которую Жубер сам себе ставил: «превратить мудрость в ходячую монету, вычеканить ее в подлежащие запоминанию и передаче максимы, поговорки, сентенции».

Но у Жубера — при всей сложности и глубине его мысли — был все-таки подлинный, меткий и сильный, афористический стиль, и собственный, и унаследованный от длинного ряда предшественников. Такого стиля нет у Ландау. Его умные мысли начертаны пером или стилем чисто книжным (livresque, по выражению, идущему от Монтеня, или livrier, по непривившемуся выражению Жубера).

Поэтому они в сущности бесстильны: «отдают бумагой, а не миром Божиим, другими авторами, а не сутью вещей» (Joubert. *Pensées,* Titre XXII, 94).

В русской литературе мало или почти нет нарочито написанных «максим», или афоризмов. Лучшие из них разбросаны в стихотворениях, в классических романах и повестях, а также — в письмах. Подлинные жемчужины русской афористической прозы можно найти в письмах Пушкина, Тургенева, Чехова, Эртеля, а также в «Записной книжке» кн. Вяземского (называю «на выбор» несколько имен, но ими, конечно, отнюдь не исчерпывается афористическое богатство нашей прозы).

Хорошо было бы из богатой сокровищницы русской литературы — от «Слова о полку Игореве» и «Летописей», через Ивана Грозного, Петра Великого и Посошкова, до Леонтьева, Владимира Соловьева и Розанова — любовно составить антологию, цветник русских метких мыслей, сильных изречений и крылатых слов.

ЮБИЛЕЙ «СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСОК»

По случаю выхода 50-го номера «Современных Записок» в Зарубежьи справляется юбилей этого журнала, и редакторам и хозяевам делаются комплименты, совершенно заслуженные, и отмечается их большая заслуга, — действительно, неоспоримая. Они не только создали, но **продержали** русский «толстый»[1]) журнал в трудной, подчас мучительной, обстановке зарубежной скудости. Я не только не намерен противоречить этим комплиментам, а, наоборот, как старый журналист, который 35 лет тому назад (в 1897 г.) стал руководить толстым журналом, к ним всецело присоединяюсь.

Но мне хотелось бы сказать по поводу этого юбилея несколько слов — **по существу.** Делаю это тем свободнее, что никогда не был сотрудником почтенного издания и, как автор, никогда не стучался в его двери.

Когда покойный М. М. Стасюлевич в глубокой старости оставлял основанный им в 1866 году — сперва как исторический по преимуществу, — журнал «Вестник Европы», у меня явилась мысль — объединить «Вестник Европы» с «Русской Мыслью», тогда, после смерти В. А Гольцева, перешедший в руки А. А.

---

1) Наименование «толстый», очевидно, восходит к первым ироническим указаниям на размеры составившей эпоху в истории русского журнализма «Библиотеки для Чтения» Смирдина-Сенковского. Эту характеристику подхватил, встав в «Отечественных Записках» на защиту «толстых» журналов, Белинский, популяризовавший самую кличку, с того времени и с легкой руки Белинского сделавшуюся ходячей.

Кизеветтера и мои, и издавать журнал под названием, которое мне представлялось тогда и исторически выразительным, и по существу вполне осмысленным:

«Вестник Европы и Русская Мысль».

Мне думалось тогда, что нет оснований для независимой и в то же время национальной русской либерально-демократической мысли иметь два органа и что наступило время их слить в некую единую духовную силу. Этот план, ради осуществления которого я вел переговоры с престарелым редактором-издателем «Вестника Европы» — несмотря на свою разумность — не мог быть приведен в исполнение. Очевидно, время тогда не наступило, и обстановка еще не созрела для такого объединения и превращения.

Но с «Современными Записками» за рубежом само собою произошло или случилось именно то, что могло и должно было бы быть произведено, сознательно и намеренно, в конституционной России.

Случилось даже нечто большее. Объективное значение «Современных Записок» в истории русской журналистики состоит не только в том, что за рубежом вышло 50 книг хорошего журнала, но еще более в том, что в лице «Современных Записок» русский толстый журнал впервые с успехом по существу перестал быть партийным и выражать «направление», а стал просто органом русской культуры. Объективно, «Современные Записки» вобрали в себя не только «Вестник Европы» и «Русскую Мысль», но присоединили к ним и «Отечественные Записки» некрасовско-щедринского чекана (т. е., значит, и «Русское Богатство» Н. К. Михайловского, которое было в русской журналистике конца XIX и начала XX века преемником духа закрытых в 1884 г. «Отечественных Записок») и даже «Русский Вестник» М. Н. Каткова (важ-

нейшие и славнейшие вещи Достоевского и Льва Толстого появились в журнале Каткова).

Мне могут возразить, что этот процесс культурного объединения и сосредоточения русского «толстого» журнализма в одном издании стоит в теснейшей связи с чисто **материальной** скудостью и узостью русской зарубежной жизни. Конечно, это вполне верно: только что указанное внешнее условие сыграло известную, и довольно крупную, роль в охарактеризованном мною процессе. Но его внутренняя сущность от этого не меняется и не умаляется в своем значении. Основали и ведут журнал четыре члена партии социалистов-революционеров [2]), люди почтенные и даровитые, гг. Авксентьев, Вишняк, Руднев и Фондаминский-Бунаков. Но я вряд ли ошибусь, если скажу, что их стояние во главе журнала имеет для него по существу, в литературном и политическом отношениях, гораздо меньшее значение, чем в свое время возглавление «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичем и даже старых «Отечественных Записок» А. А. Краевским. В этом указании нет ничего обидного для вышеназванных почтенных редакторов «Современных Записок». У М. М Стасюлевича во второй половине 80-х годов было гораздо больше единомыслия с Владимиром Соловьевым, чем у г. Вишняка с В. А. Маклаковым. В то время можно было без особой натяжки сказать, что М. М. Стасюлевич и Владимир Соловьев принадлежат к одному политическому направлению. Этого никак нельзя сказать сейчас о М. В. Вишняке и В. А. Маклакове. Между тем «Современные Записки» исторически и духовно интересны и значительны именно сочетанием Авксентьева и Вишняка с Маклаковым, Буниным и Шмелевым.

---

[2]) Я не знаю, как собственно следует сказать: «четыре бывших члена партии» или: «четыре члена бывшей партии». Это сейчас и не существенно, ибо реально все прежние партии суть именно только — «бывшие».

Более того: простое сотрудничество Бунина, Шмелева и Маклакова для «Современных Записок», для исторического места и значения есть обстоятельство более существенное, чем редактирование этого журнала четырьмя названными выше уважаемыми и образованными политическими деятелями и публицистами.

Можно, конечно, сказать, что Авксентьев, Вишняк и товарищи дают направление «Современным Запискам», а Бунин, Шмелев, Борис Зайцев, Маклаков в них только пишут. Но дело именно в том, что главная заслуга редакторов «Современных Записок» заключается как раз в том, что они не настолько «направляют» издаваемый ими журнал, чтобы исключать участие в нем таких разномыслящих с ними людей, как названные выше писатели.

Отсюда следует вывод:

подзаголовок «Современных Записок»: **«общественно-политический** и литературный журнал» в **первой** своей части в **прежнем** русском **«направленском»** смысле в сущности устарел и должен быть отброшен. Силою вещей в Зарубежьи русский толстый журнал перестал быть по существу органом «общественно-политическим» в прежнем смысле слова и стал свободным от каких-либо партийных и направленских заданий органом той русской культуры, которая противопоставляется большевицкому насилию и советской казенщине.

Таким образом, в некоторых существенных отношениях внешняя форма «Современных Записок» не соответствует ни их внутреннему содержанию, ни их исторически обусловленному призванию, как особого этапа и типа в развитии русского толстого журнала. Мне приходит в голову, что такому журналу, блюдя память о славных этапах и традициях русской журналистики, следовало бы называться так:

Вестник Европы

и

Русская Мысль

Современные Отечественные Записки,

Журнал русской культуры и литературы.

К выраженному в этом названии, прямо напоминающем о четырех самых крупных журналах, существовавших на русском языке (кроме «Вестника Европы», который связан с именем не только Стасюлевича и его ближайших помощников, но и с именами Карамзина, Жуковского, и «Русской Мысли» — это название напоминало бы также о «Современнике», неразрывно связанном с именами Пушкина, Белинского, Некрасова, Добролюбова и Чернышевского, и об «Отечественных Записках», столь же неразрывно связанных с именами Пушкина, Белинского, Салтыкова-Щедрина, Н. К. Михайловского) и сознательно поставленному идеалу освободившегося от прежних пут свободного русского толстого журнала, к этому идеалу «Современные Записки» в своем естественном развитии значительно приблизились. Пожелаем им и впредь смело идти по этому пути, который повелительно указуется всем ходом русской жизни и культуры. Перед Зарубежьем стоит ясная и простая политическая задача, задача освободительная, к выполнению которой должна сводиться **вся** его политика. Пусть эта великая освободительная задача на разных путях осуществляется разными «направлениями» и «партиями» зарубежной действенности. Рядом с этой политической задачей, в которой необходимо и законно, при объединении усилий, разделение труда и многообразие приемов и средств, стоит великая задача поддержания и блюдения русской культуры, задача, правильное и достойное выполнение которой требует иного объединения и сосредоточения сил, чем задача политическая. Если в области политической

борьбы возможно и необходимо единонаправленное хождение по разным путям, то в деле блюдения культуры возможно и плодотворно разнообразие в совершенно ином смысле. Тут в гораздо большей степени практически не только допустимы, но и полезны спор и состязание идей.

Однако, такой спор и состязание возможны и плодотворны лишь при исключении спорных вопросов и задач практического и, в частности, практически-психологического свойства в области политики. Невозможность и опасность для органа, преследующего непререкаемые и в то же время допускающие плодотворный спор и разумное состязание культурные задачи, — трактовать материи политические обнаружилась с полной ясностью самой, казалось бы, единомысленной редакции «Современных Записок». От этого журнала «отпочковался» пресловутый «Новый Град», в котором главную роль играют член редакции «Современных Записок» И. И. Бунаков (Фондаминский) и также их постоянные сотрудники, как гг. Федотов и Степун. В юбилейной 50-й книжке «Современных Записок» мы находим превосходную, принципиально выдержанную и проникнутую подлинным пафосом свободы отповедь, которую дает «Новому Граду» и, в частности, И. И. Бунакову его сочлен по редакции «Современных Записок», В. В. Руднев. Эту разноголосицу мы отмечаем здесь отнюдь не с политически-полемической целью, дабы приветствовать г. Руднева, как нашего союзника в борьбе с т. н. «пореволюционными» течениями, духовно и политически разлагающими Зарубежье. Нам эта полемика в настоящем контексте представляется примечательной совсем в другом отношении: она, на наш взгляд, указывает на необходимость чисто политические материи либо совершенно исключить из программы такого журнала, как «Современные Записки», либо допускать их в т. н. «дискуссионном» порядке. По суще-

ству, конечно, правильно только первое решение, ибо второе грозило бы безысходными трудностями и соблазнами.

Конечно, трудно провести отчетливую разграничительную черту между чисто публицистическим, или политическим, и научным и философским трактованием таких материй. Но это — в каком-то порядке, заранее исключающем партийность и направленство, — необходимо сделать. Ненормально то положение, при котором фактическая «беспартийность» такого издания, как «Современные Записки», обеспечивается либо просто личными добродетелями его редакторов, либо наличием в их собственной среде крупных разногласий. Это наше указание тем более, думается нам, существенно, что скудость матерьяльных средств Зарубежья определяет фактическую монополию «Современных Записок» на журнальном рынке Зарубежья. Это монопольное положение морально обязывает хозяев журнала к подлинной и последовательной беспартийности в рамках принципиального и неуклонного отрицания большевизма и всякого с ним соглашательства. Такая беспартийность — как показывает пример и опыт «отпочкования» «Нового Града» от «Современных Записок» — осуществима лишь на путях решительного и откровенного превращения этого единственного сохранившегося русского «толстого» журнала из «общественно-политического» в **журнал русской культуры,** который политику и политические споры предоставлял бы другим изданиям.

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Зарубежье с некоторой торжественностью отметило пятидесятилетие священнослужения митрополита Антония.

Мне по этому случаю припомнилось многое. Припомнился один домашний обед, на котором я, еще гимназист, впервые с любопытством и почтением увидел тогда еще совсем юного поэта Д. С. Мережковского. Но в мою память не менее отчетливо врезалось и то, что на этом обеде говорилось о молодом иноке из дворянской семьи, Антонии (в миру Алексее) Храповицком, как об явлении редкостном в то время и по существу весьма примечательном, что-то обещающем и на что-то указующем. Это было в 1886 или 1887 году. Года через два или три после этого, в 1889 г. (летом) скончался бывший профессор русской литературы в Петербургском университете Орест Федорович Миллер. В то время Миллер был в отставке и в опале. За лекцию о М. Н. Каткове († 1887 г.) Делянов его уволил, а за покровительство Студенческому Научно-Литературному Обществу, в числе членов которого действительно оказались заведомые революционеры и даже террористы, политическая полиция взяла и самого «тишайшего» профессора под подозрение и наблюдение. Орест Федорович Миллер, автор тоненькой магистерской диссертации о нравственном начале в поэзии, книги не столько обруганной, сколько осмеянной не кем иным, как Добролюбовым, и толстейшей докторской диссертации об Илье Муромце, «мифологически» истолковывавшей легендарный образ самого любимого и самого русского из наших богатырей, отнюдь не был большим ученым: до формата А. А. Потебни (1835-

1891), с рождения которого в этом году исполнилось сто лет, и Александра Н. Веселовского (1838-1906), который по широте знаний и глубине эрудиции не имел себе во всем мире равных в области литературных изучений, О. Ф. Миллеру было бесконечно далеко (хотя мнение о полном его научном ничтожестве было злобным преувеличением). Но Орест Миллер — и это редко встречается среди ученых — был личностью подлинно религиозного горения и исключительной нравственной красоты. Это был святой в профессорском сюртуке. В маленькую, низенькую, полуподвальную василеостровскую квартиру покойного на первые же панихиды набилось множество народа, по преимуществу из интеллигенции: профессора, учителя, студенты, курсистки, гимназисты. Тут я впервые увидел Антония Храповицкого, тогда еще только иеромонаха и доцента СПБ Духовной Академии. Фигура молодого монаха внушала интерес и импонировала своей значительностью. Он служил одну из первых панихид по святом профессоре, он его отпевал и произнес над ним надгробное слово. Два «слова», посвященные нынешним юбиляром памяти О. Ф. Миллера, принадлежат, я думаю, к лучшим произведениям и религиозного духа, и ораторского искусства знаменитого ныне церковного деятеля и духовного писателя. Думаю вообще, что *живое церковное слово*, как выражение страстного в лучшем смысле темперамента крупной индивидуальности, есть то, что обеспечивает митрополиту Антонию навсегда место в истории русской национальной литературы. Митрополит Антоний вдвигается в этой истории в один ряд с Филаретом Московским и Иннокентием Херсонским и другими нашими большими церковными ораторами, произведения которых неслучайно и недаром вошли в хрестоматии. Я полагаю, что Союз Русских Писателей в Югославии только украсил бы самого себя, если бы избранием маститого иерарха в свои почетные члены принес

должную, хотя и слабую, дань признания большому русскому писателю.

Но знаменитый иерарх интересен и значителен не только по этому как бы формальному основанию. Можно быть разного мнения о политической и даже о церковно-политической стороне деятельности митрополита Антония. Сейчас не время и здесь не место касаться этой темы. Но через всю *писательскую* деятельность знаменитого иерарха проходит красной нитью, составляя ее глубинную основу и ее подлинный пафос, одна *основная мысль:*

Над всякой человеческой деятельностью, над государственностью, над политикой, над общественностью, над наукой, над литературой, над искусством, над культурой должна выситься — *Божья Правда.*

Быть может, митрополит Антоний чрезмерно страстен в политике вообще, церковной в частности. Пусть так. Но он никогда не забывал самого главного: *первенства Правды Божьей над всем остальным.* С необычайной, при всей сдержанности формы, силой эта подлинно основоположная религиозная мысль была выражена иеромонахом Антонием именно в его двух «словах», посвященных святому профессору, Оресту Федоровичу Миллеру.

И, когда в 1909 году вышел известный, столь в свое время ославленный, сборник «Вехи», нынешний юбиляр написал о нем необычайно сочувственные статьи в «Новом Времени» и в «Слове» и прислал пишущему эти строки письмо, по всей вероятности, в смуте и огне революции — увы! — погибшее. Сейчас мы видим ясно, что и у митрополита Антония, не как политика, а как духовной силы, и у того течения русской мысли и русского духа, которое выразилось в «Вехах», действительно была одна и та же общая основоположная мысль: о первенстве Божьей Правды над всеми ценностями, силами, красотами и прелестями мира сего. Я просто констатирую это.

Белград, 14 ноября 1935 г.

«ДВАЖДЫ ДВА ПЯТЬ — ПРЕМИЛАЯ ВЕЩИЦА» В ОПОШЛЕННОЙ РЕДАКЦИИ

В Белграде одна русская дама, А. Н. Николаева, сделала ряд исторических открытий, а именно, что, во-первых, Иисус Христос по плоти являлся вовсе не евреем, как полагал до сих пор христианский мир, руководясь евангельскими текстами, а египтянином; что, во-вторых, древние египтяне были не хамитами или помесью семитов с хамитами, а арийцами; и что, в-третьих, «русские» происходят от египтян и самое слово «Русь» есть слово египетское.

Эти важные исторические открытия напомнили мне забавный эпизод из истории русской письменности, или, по-сербски, «книжевности», относящийся ко второй половине 80-х годов прошлого века.

Если мне не изменяет память в отношении даты, то в 1887 г. русский архитектор с французской фамилией, Тибо де Бриньоль, очевидно потомок французских эмигрантов, опубликовал в городе Смоленске, конечно, с разрешения предварительной цензуры, неукоснительно действовавшей в России до 1905 года для всех оригинальных произведений, размером меньше, чем в десять печатных листов, брошюру с пикантным, почти сенсационным заглавием: «Социализм, как прямая причина вырождения крестьянской лошади и как косвенная причина несвоевременного выпадения дождей с половины августа». (Тибо де Бриньоль считал «социализмом» общинное землевладение).

Причинная связь, которую указывал в своей брошюре смоленский архитектор с звучной иностранной

фамилией, была столь же же вероятна или маловероятна, как и историческая связь Руси и русских с Египтом и египтянами.

В свои студенческие годы я для одного журнала составлял систематическую библиографию русских книг по спискам, тогда в весьма сыром виде печатавшимся в «Правительственном Вестнике». При этом я убедился, что в русской письменности, так же как и во всякой другой, существует определенный процент или (по знаменитому выражению, примененному некогда бельгийским астрономом, социологом и статистиком Кетле к разным более крупным социальным явлениям, например, к преступности) определенный ежегодный «бюджет» таких произведений, как опровержения Коперника и Ньютона, как разрешения задачи квадратуры круга, задачи Ферма и т. п. математических «загадок». «Египетское» происхождение Руси, или влияние общинного землевладения (социализма) на выпадение дождей принадлежит к области таких же «закономерных» курьезов в духовной жизни общественных групп, курьезов, имеющих *свой* определенный «бюджет». Эти закономерные курьезы, конечно, весьма благодарный сюжет для юмориста, но их небезинтересно отмечать или регистрировать и просто как таковые. Ведь они представляют несомненный интерес с точки зрения социальной психологии и — через нее — для той новой области социологии, которую теперь стали культивировать под наименованием «социологии знания». Эта новая область отправляется от наблюдения или предположения, что все наши теоретические понятия и построения находятся в какой-то необходимой связи с нашим бытием или бытом. Обычно это предположение приписывается т. н. «материалистическому» или «экономическому» пониманию истории. Но оно гораздо старше. Еще Гоббс сказал, что если бы истина «дважды два четыре» затрагивала непосредственно людские интересы, то и об этой исти-

не велись бы ожесточенные споры. Гете в «Вильгельме Мейстере», где разбросано столько мыслей, что на каждую из них можно написать несколько книг, заметил, что «наши принципы суть лишь дополнение к нашему бытию. На наши ошибки мы более чем охотно надеваем облачения непререкаемого закона». А Достоевский ту же мысль со свойственным ему одному гениальным задором облек в слова «подпольщика»: «Но дважды два четыре ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки и смеется. Я согласен, что дважды два четыре превосходная вещь, но если уж все хвалить, то дважды два пять тоже премилая иногда вещица».

«Египтяне» понадобились г-же Николаевой потому, что ей хотелось во что бы то ни стало избавиться от «евреев». Желание это модное и по-модному непреодолимое, возведенное в принцип, ради которого с необычайной легкостью отрицается и Священное Писание и Священное Предание, и отрицается притом даже не во имя положительной науки, как это делалось прежде, а именно потому, что «дважды два пять — премилая вещица».

Мне скажут, что я делаю автору «египетской» теории происхождения заодно Христа и Руси незаслуженный комплимент, уподобляя его гениальному «подпольщику» Достоевского. Но, ведь, дело-то в том, что «подпольщик» гениален по милости Достоевского, а отнимите у него это не принадлежащее ему добро, то он станет, выражаясь деликатно, просто... неумен. Еще менее умны любители «дважды два пять», никогда не сидевшие в «подполье» *), а, так сказать, «*гладенькие и плоскенькие*» (этой характеристикой как-то обмол-

*) Во избежание недоразумений, я подчеркиваю, что разумею тут «подполье» в смысле Достоевского, как автора «Записок из подполья», а не в тривиально-политическом смысле.

вился Гете, который кое в чем был не менее проницателен, чем Достоевский.)

Таковым, т. е. именно гладеньким и плоскеньким, является антисемитизм, который зачеркивает еврейство Христа, «сына Давида», «сына Авраама», и еврейство апостолов и тем самым упраздняет всю жгучую историческую горечь взаимного отпадения: еврейского «предательства» в отношении Христа-Мессии и христианского «ренегатства» в отношении религиозно-племенной монополии «народа избранного». Всемирно-историческая трагедия, которая для всякого христианского, и притом и «антисемитского», сознания всегда получала только религиозное разрешение, низводится до пошленького недоразумения насчет расового происхождения Спасителя мира, Который оказывается не неприятным израильтянином (или, попросту, «жидом»), а милым египтянином, да к тому же «арийцем». Живая религиозно-историческая драма человечества разрешается в какое-то успокоительное разыскание и сладенькое нахождение... арийских предков — чьих? — Христа!!

Это, конечно, своего рода «дважды два пять» и, конечно, весьма «премилая вещица», притом — по самой последней моде.

Итак, этот самоновейший и самомоднейший антисемитизм отнимает всякий подлинно-исторический и подлинно-религиозный смысл у столкновения христианства с еврейством, смысл, изображенный с такой безыскусственной силой и в то же время художественной правдою в «Деяниях Апостольских» с их заключительным аккордом:

«Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат. Когда он (Павел) сказал это, Иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя *царствие Божие и уча* о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (XXVIII, 28-31).

IV

ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДА

БОССЮЭ И ТЬЕР

В этом году трехсотлетие рождения Боссюэ и пятидесятилетие смерти Тьера.

Что общего между сановником церкви, церковным оратором, вписавшим свое имя в историю французского духа и языка, человеком, с ног до головы принадлежавшим «старому порядку» и как никто, быть может, вложившимся в его идеологию, и тем политическим деятелем, который был подлинным сыном великой революции, типичным представителем буржуазии, проведшей эту революцию, и в качестве политического историка одним из главных творцов Наполеоновской легенды, изнутри, духовно подточившей французскую монархию Орлеанов, первым министром которой был сам Тьер, и этим проложившей путь той Третьей Республике, первым «магистратом» которой явился он же? Что общего между Боссюэ и Тьером?

Общее у них то, что оба, и сановник церкви Боссюэ, и буржуазный политик Тьер, будучи до мозга костей французами, являются крупными фигурами *национальной* истории, и оба вошли в историю как великие — консерваторы.

Боссюэ — одна из самых внушительных фигур в истории французской образованности.

В истории западной образованности вообще, и французской в частности, разительна огромная роль религиозной культуры и церковной жизни. Французское ораторское искусство и французская наука прямо таки выпестованы церковью и созданы ее деятелями.

В частности Боссюэ — один из творцов французского литературного языка и стиля. Любопытно, что в это создание словесного вооружения («арматуры») французской нации одинаково блистательно вложилась и французская реформация, в лице Кальвина, и французский католицизм, в лице Боссюэ. Ни у одного христианского народа, может быть, Церковь и ее деятели не сыграли вообще в словесном творчестве такой решающей роли, как у французов, где Боссюэ предшествует Кальвин и за Боссюэ следуют Фенелон, Бурдалу и Массийон. И хотя в истории немецкого словесного творчества Лютер не менее важен, чем для французов Кальвин (кстати, в отличие от швейцарца Руссо, — прирожденный француз), но у немцев после Лютера не было, да в конце XVII в. уже и не могло быть, такой церковной фигуры, как глубоко религиозный и подлинно церковный Боссюэ, вписавший в историю словесной культуры Франции одну из ее самых блестящих страниц.

Правда, германский мир той эпохи мог поставить рядом с Боссюэ и даже ему противопоставить другую, не церковную фигуру еще более крупного размера. С Боссюэ о церковном единении, о воссоединении католичества и протестантства вел переписку — Лейбниц, один из величайших метафизиков всех времен и народов, и в области науки, в широчайшем смысле этого слова, едва ли не самый всеобъемлющий и могущественный гений, какого знала история: философ, юрист, историк и математик — в одном лице. Неслучайно оба эти великана духа — и Боссюэ, и Лейбниц — были в ту эпоху придворными. Тогда «дворы», если не творили, то всячески поощряли культуру и ее творчество. Боссюэ обучал наследника престола, Лейбниц прямо служил — монархам.

Я сказал, что Боссюэ и Тьер вошли в историю, как великие консерваторы. Боссюэ был идеологом фран-

цузского абсолютизма в эпоху его наивысшего могущества, и Боссюэтова посмертная «Политика, извлеченная для господина Дофина, [т. е. наследника престола. — *П. С.*] из подлинных слов Священного Писания» есть религиозно-философское обоснование королевского самодержавия Людовика XIV. Но Боссюэ был не только теоретиком в учении о государстве. В качестве главного деятеля «Церковного Собрания» 1682 г. и редактора его документов, он был практическим церковным политиком, творцом галликанской церкви. Как ни далеко заходил Боссюэ в своих уступках королевской власти, это были только уступки, а *по существу*, как католик и церковный человек, Боссюэ был глубоко убежден в верховенстве церковного начала над гражданским. В этом подчинении государственного начала церковному и в выведении государственного властвования из авторитета религии (а вовсе не в обожествлении светлой власти самодержавного монарха) заключается суть политического мировоззрения Боссюэ. И вот почему в подчинении государственной власти религиозному началу у Боссюэ содержалось гораздо более ее ограничение, чем ее безграничное расширение. В религиозном обосновании и обуздании абсолютизма у Боссюэ нельзя не видеть своеобразного сочетания идей авторитета и порядка с идеями права и свободы. Этому соответствовало и то, что, как католик своего времени, Боссюэ был скорее выразителем «соборного», чем «папистского» начала.

Под конец своей жизни сын великой буржуазной революции Тьер, как известно, пришел к признанию огромного и решающего значения религиозного и церковного начала для прочности государственного и общественного порядка. Этим признанием основатель Третьей Республики и ее первый президент как-то через века подает руку величайшему церковному писателю и деятелю Франции и в то же время идеологу

французского самодержавия. Оба они, и Боссюэ и Тьер, как политики, стремились к национальной мощи и национальной устойчивости, и оба они ощущали и понимали, что эта мощь должна быть укоренена, эта устойчивость должна покоиться на каких-то высших, уже вне политики лежащих, началах.

К СТОЛЕТИЮ СМЕРТИ ВАЛЬТЕР СКОТТА. — ВАЛЬТЕР СКОТТ В РУССКОЙ КРИТИКЕ: СПОР О НЕМ МЕЖДУ СЕНКОВСКИМ И БЕЛИНСКИМ

В этом году — столетие смерти Вальтер Скотта. Эта годовщина наводит на некоторые мысли и сопоставления.

Вальтер Скотт — крупное явление в мировом литературном развитии, и в то же время — явление чисто историческое, которому совершенно не присущи черты вечности. В этом отношении он разительно отличен от Гете, столетие смерти которого было отмечено во всем мире как знаменательная дата не только исторического значения.

Вальтер Скотт, в момент своей смерти едва ли не самый читаемый и любимый писатель, на пространстве столетия превратился в писателя исключительно «для детей и юношества».

Вальтер Скотт, для своего времени зачинатель и выразитель «романтического» движения, был всегда и ощущается и до сих пор как личность наименее романтическая. Но и как писатель, Вальтер Скотт внутренне чужд современным ему носителям и выразителям подлинно романтического духа: что общего между Вальтер Скоттом, с одной стороны, Новалисом и Э. Т. А. Гофманом, с другой стороны?!

В известном возрасте — я думаю, в моем поколении в возрасте между 8 и 14 годами, — мы все зачитывались и упивались Вальтер Скоттом. С Вальтер Скоттом в наших душах соперничал разве только... Жюль Верн.

Это сопоставление чрезвычайно ярко обозначает — если можно так выразиться — судьбу, испытанную Вальтер Скоттом, как писателем. Наши деды и отцы совершенно иначе, в ином возрасте и ином душевном состоянии, чем мы, увлекались Вальтер Скоттом. Для них он был гениальным писателем, переживавшимся ими примерно так, как нами переживались Достоевский, Толстой, Ибсен.

Это можно показать и при помощи литературных справок, не лишенных значительной исторической поучительности.

В русской литературной критике героической эпохи 1830-1850 г.г. были два взгляда на Вальтер Скотта. Один взгляд, положительный и даже восторженный, был представлен Белинским — на всем пространстве его писательской деятельности. Другой, скорее отрицательный и во всяком случае критический, нашел своего выразителя в О. И. Сенковском, он же барон Брамбеус, ученом ориенталисте и редакторе-издателе «Библиотеки для Чтения».

В настоящий момент можно без колебаний установить, что современность, как русская, так и иностранная, в оценке Вальтер Скотта гораздо ближе к Сенковскому, чем к Белинскому, причем именно последний выражал восприятие эпохою творчества знаменитого шотландского писателя, а взгляд на него Сенковского производил отталкивающее впечатление вызывающей и цинической ереси.

В самом начале своей литературно-критической деятельности в «Литературных мечтаниях» 1834 г. Белинский писал:

> Где-то было сказано, что «Фауст» Гете есть «Илиада» нашего времени: вот мнение, с которым нельзя не согласиться. И в самом деле, разве Вальтер Скотт также не есть наш Гомер, в смысле эпика, если не выразителя полного духа времени?

Белинский начинал свою литературно-критическую деятельность как *москвич;* как *идеалист,* близкий по настроению и взглядам к тогда еще только зарождавшемуся славянофильству; и как *энтузиаст* не только в своих утверждениях, но и в своих отрицаниях.

В этом тройном качестве москвича, идеалиста и энтузиаста, Белинский превозносил Вальтер Скотта против петербуржца, позитивиста и скептика, Сенковского [1]), который, в самом начале 1834 г., т. е. еще до появления в свет «Литературных мечтаний», этого первого критического опыта Белинского, дал в «Библиотеке для чтения» весьма интересную и блестяще написанную характеристику и оценку Вальтер Скотта. См. в «Библиотеке для Чтения» за 1834 год, I, 1-44 за подписью О. О. О.; перепечатано в собрании сочинений, т. VIII, СПБ, 1859, под заголовком «Исторический роман» [по поводу романа Булгарина «Мазепа»].

Вот как Сенковский изображает ход развития Вальтер Скотта. «Умный человек», «одаренный необыкновенно сильным дарованием» и вдобавок «еще сильнейшей страстью изумлять людей», Вальтер Скотт стал писать стихи, пустив в ход новую стихотворную технику и увлекши за собой «толпы подражателей». Но «он не имел истинного поэтического гения». «Видя упадок своей славы» как стихотворца, он прибег «к другому насильственному средству славы, или, попросту, шарлатанству». Он «сделал искусственную смесь истины и вымысла, слитых так удачно, что нельзя было узнать в целом, истина ли это или вымысел».

Эта выдумка удалась Вальтер Скотту «свыше всякого чаяния», и так на свет Божий «явился исторический роман». Мысль эта была навеяна шотландскому писателю романами Круглого Стола. И чтобы

---

[1]) Общую характеристику замечательной фигуры Сенковского я пытался дать в статье «Москва и Петербург», напечатанной в № 165 «России и Славянства».

«воскресить, обновить и облагородить» этот род литературы, Вальтер Скотт «употребил всю силу своего дарования и все богатство своей исторической учености». «Новость затем изумила Европу. Энтузиасты провозгласили ее верхом художества. Педанты тотчас создали систему, и выдумка шотландского писателя была подведена под точные, исчисленные правила! Вальтер Скотт имел удовольствие при жизни испытать блистательную судьбу Гомера...» Нашлись люди, которые, увлекшись теорией писания романов, выведенной из произведений Вальтер Скотта, учили его самого, «не примечая того, что изобретатель обманывал их своим изобретением и вместо чистых, высоких форм изящного продавал им изящную куклу». «Род был ложный, но талант Вальтер Скотта был огромный, истинно приспособленный к этому роду или, лучше сказать, самый род был нарочно придуман для таланта и составлял чистый его результат».

Дело в том, что — как метко и едко говорит Сенковский — подготовка («приготовление») Вальтер Скотта была подготовкой историка и антиквария, «душа его была исполнена высокой поэзии, не будучи поэтическою; его дарование было по преимуществу повествовательное — повествовательное до бесконечности, в полном значении слова, — во всех оттенках и изгибах своих повествовательное». Между его подражателями были таланты «несравненно сильнее и выше его», таков, например, Виктор Гюго, как автор «Собора Парижской Богоматери». Но «никто не сравнялся с ним в историческом романе, который он вылил из трех, лично ему принадлежащих и в нем одном соединенных, начал». Почему? — спрашивает Сенковский и отвечает: потому что — «форма изящного была ложная». «Исторический роман есть порождение художества, клонящегося к падению и старающегося поддельными, косвенными средствами еще действовать на человека».

«Нанесши убийственный удар художеству выдумкою подложной формы изящного, Вальтер Скотт причинил еще больший вред вкусу». Вскружив головы молодым писателям, он «приготовил публику к чудовищной манерности». «Он-то вывел на сцену, под защитой всей прелести своего повествовательного дара, палачей, цыган, жидов; он открыл европейской публике отвратительную поэзию виселиц, эшафотов, казней, резни, пьяних сборищ и диких страстей». «Правда, все эти насильственные и противословесные средства потрясения чувств читателей были скрыты под великобританской чинностью». Но «молодые писатели... возмечтали, что, собрав все ужасы в одну книгу, сжав их еще плотнее, разнообразя их еще более... они... сделаются двойными, тройными Скоттами — и пошла потеха».

> Виктор Гюго исковеркал прекрасный свой талант единственно на Вальтер Скотте; на нем развратил он высокое стремление своего гения и до сих пор не может создать ни одной повести, ни одной драмы без палача, жида, цыгана или виселицы. Дух нынешней французской школы есть нечистый сок, выжатый в судорожном порыве восхищения из исторических романов Вальтер Скотта на молодые мозги, но выжатый отдельно, без выжатия из них красот всякого рода, которые остались все в его книгах; эксперимент вальтер-скоттизма, приправленный философией бурных молодых голов. Такова история образования нынешнего вкуса, — история того, что называют обновлением словесности: оно состоит все в подражательстве, дошедшем до последних логических следствий взятого в подражание начала.

Свою оценку Вальтер Скотта, как писателя, Сенковский сжимает в следующей формуле:

За всем тем, Вальтер Скотт, писатель великий и достоин удивления за необыкновенное искусство, с каким выполнил он и представил свету задуманный им подложный род изящного. Он неподражаем в своем подлоге, но его подлог едва ли стоит подражания.

На эту характеристику и оценку Вальтер Скотта Сенковским Белинский отозвался не только в «Литературных мечтаниях» 1834 г., но и в одной рецензии 1835 г. (той же «Молвы»).

Вальтер Скотт создал, изобрел, открыл, или, лучше сказать, угадал эпопею нашего времени — исторический роман. По его следам пустились многие люди, ознаменованные печатью высокого таланта и даже гения; но несмотря на то, он остался единственным в своем роде гением.

Поскольку Белинский говорит это, он сходится с Сенковским. Но тут же автор «Литературных мечтаний» восстает против отрицания исторического романа, как «мощного литературного рода, оскорбляющего достоинство и искусства и истории». Люди, произносящие такое суждение, не понимают, в чем «состоит историческая истина». В высшем значении слова историческая истина «состоит не в верном изложении фактов, а в верном изображении развития человеческого духа в той или другой эпохе».

Но кто уловил этот дух? Разве из одних и тех же фактов не выводят различных результатов. Один историк говорит то, другой — другое, и между тем они оба подкрепляют свои противоположные мнения одними и теми же фактами... Здесь искусство совпадает с наукой; историк делается художником, и художник — историком.

Какая цель историка? Уловить дух изображаемого им народа или изображаемого им человечества в какую-нибудь эпоху его жизни таким образом, чтобы в его изображении видно было биение этой жизни, чтобы сквозь его рассказ трепетала та живая идея, которую выразил собою народ или человечество в ту или другую эпоху своего бытия. В сем смысле Вальтер Скотт... есть историк в полном и высоком значении сего слова, ибо он в... созданиях своего громадного гения начертал нам живой идеал средних веков.

В том же году в рецензии на русский перевод биографии Вальтер Скотта, составленной А. Кэннингэмом, Белинский еще раз вступил с Сенковским в полемику о Вальтер Скотте, отстаивая право исторического романа на художественное бытие («почему... поэту не позволено понять по-своему то или другое историческое лицо и воспроизвести его в художественном создании, сообразно с своим о нем понятием, и обставить его обстоятельствами, частью истинными, но больше вымышленными, которые бы характеризовали его историческую и человеческую личность?») и особенно отметая, как «нелепые», сомнения в поэтическом таланте автора «Пуритан» и «Ивангоэ».

Было бы неуместно и бесполезно распространяться об этом вопросе, давно уже решенном европейскою или, лучше сказать, всемирною славою Вальтер Скотта. Авторитет не доказательство, скажете вы. Нет, я с этим не согласен... У народа есть какое-то чутье, столь верное, что он никогда не обманывается ни в своих любимцах, ни в предметах своего равнодушия... Глас народа глас Божий, и народ и века самые непогрешительные критики. На Вальтер Скотта и народ и народы и человечество давно уже возложили венец поэти-

ческой славы: остается векам и потомству скрепить определение современников — и это будет.

И Белинский заканчивает свою апологию Вальтер Скотта прямым выпадом против Сенковского-барона Брамбеуса в форме риторического вопроса о том, неужели «какому-нибудь самозванному барону удастся снять этот венок с лучезарной головы гениального баронета».

Белинский остался верен своему мнению о Вальтер Скотте. В 1844 г. он писал по поводу т. III русского перевода его романов:

> Вальтер Скотт не принадлежит к числу тех писателей, которые прочитываются раз и потом навсегда забываются. Не один раз в жизни может человек возобновить невыразимое очарование впечатлений от чтения романов Вальтер Скотта. Это не то, что знакомый вам писатель; это — неизменный друг всей вашей жизни, обаятельная беседа которого всегда утешит и усладит вас. Это поэт всех полов и возрастов, от отрочества, едва начинающего пробуждаться для сознания, до глубокой старости. Он для всех равно увлекателен и назидателен; чтение его романов, унося человека в мир роскошных, хотя и действительных, явлений, проливает в его душу какое-то бодрое и вместе с тем кроткое, успокоительное чувство, очаровывая фантазию, образовывает сердце и развивает ум, потому что поэзия Вальтер Скотта не эксцентрическая, не драматическая, не мечтательная и не болезненная: она всегда здесь, на земле, в действительности; она — зеркало жизни исторической и частной.

В наши дни вряд ли можно сомневаться, что *«века и потомство»*, в основном и существенном, скрепили суждение о Вальтер Скотте не Белинского, а Сенковского.

Дело, конечно, не в том, что будто бы «исторический роман» есть «подложный» род литературы, «плод соблазнительного прелюбодеяния истории с воображением», «урод, составленный из двух разнородных и противодействующих начал, словесное осуществление загадочного понятия египетских жрецов — сфинкса», «ложная форма прекрасного», где «изящное унижается... до мучительной и бесполезной мистификации, художество превращается в ремесло починщика, штукатурщика или перестройщика». Дело, конечно, и не в том, что, соблазнив толпы последователей, Вальтер Скотт создал школу «неистовой словесности».

Дело просто в том, что, будучи весьма одаренным и образованным человеком, Вальтер Скотт действительно «не имел истинного поэтического гения», не был «душою поэтической». Поэтому он был занимателен для толпы своего времени и даже очарователен для многих избранников той же эпохи. Толпе нашего времени он неинтересен, а на вкус подлинных современных любителей искусства в нем не достает именно — вечности.

Париж, октябрь 1932 г.

СТЕНДАЛЬ И ТОЛСТОЙ

Есть писатели, которых личность интереснее и значительнее их писаний. Есть писатели, личность которых, как таковая, существует и *значит* только в их писаниях.

В очень больших писателях творец и творение всегда неотделимы: самая мысль о таком отделении либо не возникает, либо отпадает при более глубоком проникновении в личность и творчество этих писателей. Таковы, например, Гете и Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, хотя первые двое, как личности, стройны, гармоничны, целостны, а последние трое болезненно раздираемы внутри себя какими-то противоборствующими началами своего же собственного духа.

Так же раздираем внутри себя был и Бейль-Стендаль (род. 1782, † 1842), относительно которого может на первый, поверхностный взгляд возникнуть вопрос: не был ли он просто маленьким человечком, написавшим крупные произведения?

Но именно жизнь Стендаля, наново рассказанная и истолкованная в вышедших в этом году книгах Поля Азара*) и Абеля Боннара**), свидетельствуют о том, как у этого большого писателя творчество и личность были неотделимы.

---

*) Paul Hazard. *La vie de Stendhal.* Vies des hommes illustres, N° 11. NRF. Librairie Gallimard. Paris 1927, 254 pp.

**) Abel Bonnard. La vie amoureuse d'Henri Beyle (Stendhal). Ernest Flammarion, éditeur. Collection « Leurs amours ». Paris, 184 pp.

Стендаль не был стройной и целостной натурой, и силу свою, как писатель, он черпал именно из раздвоенности и раздробленности своей личности.

Он был холоден и сух, как писатель. Писал без украшений. Что было в этом? Бесстильность ли, как думал Бальзак, первый большой писатель, если не считать Гете в его «Разговорах», открыто (еще при жизни Стендаля) признавший его значение и силу? Или, наоборот, стилистическое могущество, как это — после Бальзака и против Бальзака — уже после смерти обоих, и Стендаля и Бальзака, доказывал второй крупный ценитель и истолкователь Стендаля, Тэн, первый прочно утвердивший его славу?

Стендаль вовсе не был холоден и сух как человек. Наоборот, этот режущий аналитик был чувствителен и сентиментально влюбчив: всю жизнь он — сквозь все свои влюбления и влюбленности! — искал одной большой любви и так ее и не добился. Холод и ирония, доходившая до цинизма, писателя Стендаля, которым способствовало его безрелигиозное, сенсуалистическое мировоззрение, сочетались с робостью и застенчивостью в тех отношениях, которые самому Стендалю, как человеку, представлялись самыми ценными и важными в жизни, — в отношениях с женщинами.

Был ли Стендаль злой, и систематически злой, человек, как писал в « Figaro » один критик в 1888 году по поводу издания «Дневника» тогда уже прославленного писателя? Однако, даже старый и нередко злобный критик Понмартэн, которому приписывают отзыв 1831 года о « Rouge et Noir », как о «постыдном произведении», более чем через 50 лет, по поводу того же, изданного в 1888 году, посмертного «Дневника» весьма метко писал в « Gaulois » о Стендале, что «этот крайний материалист, этот закоренелый скептик в действительности был энтузиаст». «Весьма реальный, непререкаемый талант Стендаля полон противоречий и непоследовательностей».

Эта противоречивость присуща была на самом деле всей личности Стендаля, объемлющей и писателя и человека.

Стендаля-писателя можно любить или не любить, даже ненавидеть, но он точен и ясен той французской ясностью, которую Ривароль считал национальной чертой и особенностью самого французского языка. Сложен и загадочен, извилист и полон противоречий Стендаль-человек.

Холодный аналитик любви, он был застенчиво нежным любовником.

Поклонник революции, он в то же время — аристократ по инстинктам, ненавидящий толпу. Буквально влюбленный в итальянцев эпохи Ренессанса, он одновременно — либерал на английский лад.

«Его романтический дух (т. е. дух восхищения) был обращен на прошлое и на будущее, — справедливо говорит Боннар, книга которого о «любовной жизни Анри Бейля-Стендаля» есть вообще тонкая и тонко-сочувственная характеристика Стендаля-человека, — тогда как настоящее всегда и всецело остается во власти его жестокой наблюдательности». Во время Реставрации Стендаль отворачивается от крайностей реакции, но уже при Луи-Филиппе ему претит буржуазная демократия, и он говорит, что предпочитает ухаживать за министром Гизо, а не за его сапожником. И эти расходящиеся суждения неизбежно вытекают из противоборства того «классического» духа систематического рассуждения, который Стендаль заимствовал у XVIII века и своих непосредственных учителей наполеоновской эпохи, т. н. идеологов, и живых наблюдений его непредвзятого и свободного ума. Это — сложная человеческая натура, сущность которой именно в единственном по своеобразию сочетании холода и рассудка с увлечением и восторгом, рационализма с эмпиризмом, и острой наблюдательности с крайней чувствительностью.

Если оставить в стороне безбожие и материализм Стендаля, то по некоторым свойствам своей натуры Стендаль близко соприкасается, как это ни странно, с Львом Толстым. И потому неслучайно великий русский писатель считал себя столь «обязанным» Стендалю. В беседе с известным французским русоведом, профессором Полем Буайе (Paul Boyer), напечатанной впервые в газете « Temps » от 28 августа 1901 г., Толстой признал в Стендале своего учителя: «Как никто другой — сказал Толстой — я обязан Стендалю: благодаря ему я понял войну. Перечтите описание сражения при Ватерлоо в « Chartreuse de Parme ». Кто до Стендаля так описал войну, т. е. изобразил ее такою, какова она на самом деле?.. Позже на Кавказе мой брат, который стал офицером до меня, подтвердил мне правду описаний Стендаля; мой брат обожал войну, но он не принадлежал к числу тех простодушных людей, которые верят в Аркольский Мост. Это — цветы и перья, говорил он мне, а их на войне не бывает. Немного позже, в Крыму, я в этом убедился собственными глазами. Но, повторяю, во всем, что я знаю о войне, моим первым учителем был Стендаль». (Привожу по книге Adolphe Paupe. *Histoire des œuvres de Stendhal.* Paris 1904, на стр. 326).

Да, Стендаль и Толстой соприкасаются, но элементы холода и рассудка, увлечения и восторга, реализма и чувствительности, рационализма и поэзии, разно распределены в каждом из этих двух великих людей. В жизни, как человек, Стендаль был гораздо менее рассудочен и рассудителен и более чувствителен и восторжен, чем Толстой. Скажу прямо: Стендаль был добрее и проще Толстого. Конечно, он был гораздо его порочнее и испорченнее. Но часто порочные и испорченные люди добрее — добродетельных. Доброта Стендаля была порочна, но зато она была более подлинна и непосредственна, чем добродетель и морализм Толстого, который, по свойствам своей натуры, по своему нутру не

был вовсе добрым человеком. Но вовсе не всякий обязан, и не всякому удается — быть добрым.

Говоря, что Стендаль был порочен, а Толстой добродетелен, я вовсе не хочу сказать, чтобы наш великий писатель был святым. Для подлинной святости Толстой-*человек* был именно слишком рассудочен. Святому нет дела в такой степени ни до своей, ни до чужой «нравственности».

Но в Толстом-*писателе* не было того холода, которым пронизаны настоящие литературные произведения Стендаля, но в Толстом было больше души и потому больше силы и больше поэзии. Толстой, как художник, много сильнее и богаче Стендаля.

Я написал выше такие слова: «Если оставить в стороне безбожие и материализм Стендаля». Но эти свойства оставить совсем в стороне нельзя. И Толстой, как человек и как писатель, был выше, сильнее и богаче Стендаля именно потому, что он, менее добрый и менее чувствительный, чем Стендаль, несмотря на это, тянулся *выше* и проникал *глубже.* Толстой ощущал Бога и тем самым созерцал не только земную, но и небесную красоту. Стендаль был по своим устремлениям язычником, Толстой же — христианином, хотя именно в эпоху своей сознательной религиозности, — узким и ущербленным христианином.

Но как ни безбожен, как ни порочен был Стендаль, правы те, кто говорил и говорит о нем: этот холодный наблюдатель, этот суровый реалист был добрый и чувствительный человек.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДЮМА-ОТЦЕ

В серии зеленых биографий Vies des hommes illustres под № 14 М. Люка-Дюбретон умно, забавно и задушевно рассказал жизнь Дюма-отца: *La Vie d'Alexandre Dumas*. Paris: NRF, 1928, 254 pp.

Эта книжка воскресила во мне детские воспоминания. Правда, я никогда не видел автора «Трех мушкетеров» — он умер в год моего рождения — но много раз в детстве слышал рассказы о том, как знаменитый французский писатель был в гостях у моих родителей. Дело в том, что, когда Дюма-отец в конце 50-х годов объезжал Россию, мой отец был астраханским губернатором и, в качестве такового, принимал и опекал французскую знаменитость.

Кстати, хотя Дюма был большим выдумщиком, его книга «Путевых впечатлений» *(Impressions de voyage)* о России вовсе не «настоящий лес развесистой клюквы», как, очевидно понаслышке, уверяет фельетонист «Последних Новостей», толково и интересно пересказавший книгу Люка-Дюбретона. Конечно, в «Впечатлениях» Дюма много вздора — и притом вздора тенденциозного и явно написанного с чужих слов — но в то же время и много и интересного и верного. Даже удивительно, как Дюма, не знавший русского языка и вообще мало что толком знавший, ко многому в России отнесся внимательно, сколько поучительного материала он «вработал» в свои «путевые» заметки. Так, знаменитый французский писатель — очевидно, с чужой помощью (может быть, Д. В. Григоровича?) — по русским источникам в общем довольно обстоя-

тельно для того времени рассказал о дуэли и смерти Пушкина и по достоинству оценил его гений. «Все есть в поэзии Пушкина, его гений, столь тонкий и столь эластичный, отражал все, или, вернее, его гений обладал такой мощью, что он облекал все в ту форму, которую ему было угодно избрать» (Il a de tout dans les poésies de Pousckine ; [так, с «s», Дюма писал по-французски фамилию нашего поэта] « son génie, si souple et si malléable, se plaisait à tout ; ou plutôt, son génie était si puissant qu'il soumettait tout à la forme qu'il lui plaisait de choisir »).

В приложении к « Impressions de voyage » Дюма помещены его « Lettres sur le servage en Russie », которые свидетельствуют о том, что он в 1858 г. стремился исторически ознакомиться с проблемой освобождения крестьян в России, и заключают в себе интересные и прямо меткие суждения.

В специальной главе Дюма говорит о русских журналистах и поэтах времени его путешествия по России, т. е. конца 50-х годов, и большая часть этой главы посвящена описанию встречи Дюма с Н. А. Некрасовым.

> Панаев и Некрасов — писал Дюма — закадычные друзья, братья по литературным и политическим взглядам, живут вместе: зимою в С.-Петербурге, летом на даче, где-нибудь в окрестностях города. В этом году они нашли свое дачное обиталище между Петергофом и Ораниенбаумом, несколько ниже немецкой колонии.
>
> Наш экипаж повернул направо, переехал по маленькому мосту через канаву и, въехав под великолепные, тенистые деревья, остановился у очаровательного домика, на лужайке, где за обильно устланным столом сидело семь человек.
>
> Это общество из семи человек составляли Па-

наев и его жена, Некрасов и четверо друзей дома. Все они на шум экипажа повернулись к нам и испустили радостный крик, узнав Григоровича [который сопровождал Дюма. — *П. С.*]

Мое прибытие было громко возвещено, и Панаев встретил меня с распростертыми объятиями.

Вы знаете странное действие первого взгляда, который бросают люди друг на друга и который запечатлевает в душе симпатию или антипатию. Мы, Панаев и я, испытали в отношении друг к другу первое из этих чувств; мы обнялись как старые друзья и после этого на самом деле стали таковыми.

Мадам Панаева подошла позже; я ей поцеловал руку и, согласно очаровательному русскому обычаю, она ответила мне поцелуем в лоб.

Мадам Панаева — женщина тридцати-тридцати двух лет [в это время Панаевой было 38 или 39 лет. — *П. С.*], характерной, резко выраженной красоты; она — автор многих романов и повестей, вышедших под псевдонимом «Станицкий».

Некрасов, менее демонстративно, удовольствовался тем, что встал, поклонился и протянул мне руку, поручив Панаеву извиниться за него передо мной в том, что по своему недостаточному образованию, он по-французски не говорит.

Остальные присутствующие были просто представлены мне (furent présentés purement et simplement).

Я много слышал о Некрасове не только как о большом поэте, но как о поэте, дарование которого созвучно моменту.

Я внимательно присматривался к нему. Это человек тридцати восьми — сорока лет [Некрасову

было в то время 37 лет. — *П. С.*], болезненного вида, глубоко печальный, по душевному складу — мизантроп и насмешник. Он страстный охотник я думаю потому, что для него охота есть способ — уединяться; и всего больше на свете, после Панаева и Григоровича, он любит свое ружье и своих собак.

Его последняя книга стихов, которую цензура не разрешила перепечатывать, теперь ценится очень дорого.

Накануне я купил экземпляр ее за 16 рублей (64 франка) и ночью, на основании перевода, сделанного для меня Григоровичем, переложил две пьесы французскими стихами. Эти стихотворения дают понятие о насмешливом и грустном даровании автора. [Дальше следует перевод стихотворений].

В заключение Дюма приводит перевод стихотворения «Княгиня» и опровергает распространенную, по его словам, в России легенду, лежащую в основе этого некрасовского произведения — будто бы графиня Воронцова-Дашкова, вышедшая замуж за француза, была им ограблена и сведена в могилу.

А. Я. Панаева, с которой много лет как с женой жил Некрасов, несколько страниц своих «Воспоминаний» посвящает встречам с Дюма, который, по ее словам, страшно надоел ей с Панаевым и Некрасовым: «Дюма был для меня кошмаром в продолжение своего пребывания в Петербурге, потому что часто навещал нас, уверяя, что отдыхает у нас на даче» («Воспоминания» Панаевой в новейшем [«втором»] издании Корнея Чуковского, СПБ, 1928, изд. «Academia», стр. 318. Встречам с Дюма и всему, с ним связанному, посвящены стр. 312-313).

Нельзя не сказать, что рассказ Дюма об его встре-

чах с Некрасовым гораздо правдоподобнее и как-то внутренне правдивее, чем рассказ Панаевой, который и Григорович в своих воспоминаниях сдержанно, но весьма определенно признал несоответствующим истине. То, что рассказывает Панаева, поражает своими преувеличениями, какой-то подозрительной и нарочитой чрезмерностью. Странно также, что Панаева, друг Некрасова, совсем не оценила того интереса и внимания, которые в своих «Путевых впечатлениях» Дюма обнаружил к Некрасову. Неужели Панаева их не читала? Это маловероятно. Скорее, надо думать, что в том кругу, в котором жила и вращалась Панаева, в кругу русских радикалов 40-х, 50-х и 60-х годов XIX века, было такое тенденциозное предубеждение против легкомысленного Дюма, причуды и выверты, а также методы работы которого были тогда уже «притчей во языцех», что этим предубеждением окрасились и все впечатления, полученные Панаевой от Дюма. В частности, рассказ о вызове Некрасова французом, мужем Воронцовой-Дашковой, на дуэль, вызове, принятом Некрасовым, тоже звучит маловероятно, — слишком уж в глупом свете выставлены тут и француз, и сам Некрасов.

❖

Точность путевых заметок Дюма я могу проверить по его описанию встречи с моим отцом:

> Мы нашли в господине Струве человека тридцати двух-тридцати пяти лет [в 1858 г. моему отцу был 31 год. — *П. С.*], французского происхождения и соответственно этому говорящего по-французски как парижанин; молодая жена, двадцати пяти лет, и двое детей составляли его семью.

Дюма в данном случае весьма точно подметил и

зарегистрировал мелкие факты, встретившиеся на его пути: возраст, состав семьи и т. п. Отец мой, правда, не был по отцовской линии французского происхождения, но, очевидно, он рассказал Дюма, что его мать, а моя бабка, происходила от французских réfugiés — гугенотов, выселившихся когда-то в Гамбург, и эта подробность запомнилась Дюма — как все французы, национально весьма чувствительному. Как человек, воспитанный французской гувернанткой и затем учившийся в Александровском Лицее, отец мой свободно и хорошо говорил по-французски.

Любопытна характеристика русского образованного провинциального общества, данная Дюма в связи с посещением Астрахани.

> Господин Струве... сумел собрать для меня общество человек в двенадцать, общество, которое при закрытых дверях [т. е. очевидно без прислуги — *П. С.*] не могло возбудить даже предположения, что находишься на расстоянии тысяч лье от Франции. Невероятно, какое моральное влияние наша цивилизация, наша литература, наше искусство, наши моды оказывают на остальной мир. Что касается нарядов, знакомства с романами, зрелищами, с музыкой, то женщины этого круга едва ли отставали на шесть недель от Франции. Мы так же беседовали о поэзии, романах, опере, Мейербере, Гюго, Бальзаке, Альфреде де Мюссе, как беседовали бы между собою французы, я не скажу — в художественном ателье, но в каком-нибудь салоне Faubourg du Roule или Chaussée d'Antin. За вычетом некоторых ошибок насчет Пиго-Лебрен и Поль де Кока, суждения, произносившиеся здесь (в Астрахани) о людях и вещах, были наверное более справедливыми, чем в какой-нибудь французской префектуре [напомню, что речь шла о русском губернаторском доме

> — *П. С.*], отстоящей от Парижа на расстоянии каких-нибудь пятидесяти лье...
>
> И подумать, что, открыв окно и вытянув руку, вы почти касались Каспийского моря, т. е. страны, неизвестной римлянам, и Туркестана, т. е. страны и в наше время [1858 г. — *П. С.*] неведомой!

Дальше Дюма цитирует в этой связи Геродота и поминает Плутарха! А следующую затем, довольно забавную главу он посвящает астраханским армянам и татарам!

По рассказам моих отца и матери я знаю, что в астраханском обществе того времени, с которым столкнулся Дюма, были действительно интересные и высокообразованные люди. Тут, в частности, начинались некоторые примечательные в истории русского суда и администрации карьеры. Среди «конвивов», которых встретил Дюма у моего отца, могли быть и наверное даже были тогдашний председатель Палаты Гражданского и Уголовного Суда в Астрахани Фриш, закончивший свои дни председателем Государственного Совета конституционной России, и губернский прокурор Фукс, потом первоприсутствующий сенатор Уголовного Кассационного Департамента и затем член Государственного Совета. Среди астраханских моряков того времени (Астрахань была тогда военным портом и морской базой для Кавказской армии) были, по рассказам моих родителей, тоже весьма образованные и притом сильно увлекавшиеся литературой и театром люди. Один из них стал потом известным актером Александринского театра — Зубовым. Я помню, что когда я мальчиком с родителями был в Петербурге на представлении «Ревизора», то моя мать сказала: «А ведь городничий-то в нашем доме на любительских спектаклях играл», а отец тогда из ложи послал Зу-

бову на сцену свою визитную карточку, написав на ней несколько приветственных слов.

В воспоминаниях моей матери о Дюма особенно отпечатлелась кулинарная страсть знаменитого романиста. Дюма не только любил поесть, но, как художник поваренного искусства, интересовался изготовлением яств и блюд. По рассказу матери, он попросил у нее позволения приехать к ней специально для того, чтобы — постряпать. Сняв пиджак и жилет, он в таком виде спустился в подвальную губернаторскую кухню и принялся — жарить ростбиф! Это доставило ему самому величайшее наслаждение и, по словам моей матери, чрезвычайно понравилось и ей и всему дому, до прислуги включительно.



Существует целая литература о том, как Дюма работал чужими руками. Еще в 1845 г. Эжен де Мирекур (псевдоним Эжена Жако) написал книгу: *Alexandre Dumas & Co. Fabrique des romans*, и в 1856 г. он же дал «убийственную» в этом смысле характеристику Дюма-отца в посвященном ему томике серии « Les Contemporains », в другом томике той же серии безнравственному и беспутному Дюма-отцу противопоставив сына-моралиста (1857 г.).

В самом деле, как романист, Дюма был фактически не столько автором своих главнейших произведений, сколько их редактором, который пускал их в свет, снабжая своим именем. Автором их был никому сейчас, кроме специалистов, неизвестный Огюст Макэ, которому принадлежит и идея «Трех мушкетеров» и ее исполнение. «Монте-Кристо» задумал Дюма, но план этого произведения начертал и самый роман написал главным образом тот же Макэ. С частью рукописи печатавшегося в *Journal des Débats* романа «Монте-

Кристо» случился даже маленький скандал: она потерялась, и Макэ, подстегиваемый Дюма, должен был спешно ее восстановлять.

Это сотрудничество Дюма с Макэ, хотя и осложненное потом разрывом и процессом, является все-таки в основе своей весьма *трогательной историей.* Дюма не отрицал никогда духовного участия Макэ в его, Дюма, работе и значение этого участия. У Макэ же был план написать историю своего сотрудничества с «великим писателем», «моим учителем и долгое время другом». Макэ называет Дюма «одним из самых блистательных среди знаменитых умов и, быть может, наилучшим из всех благонамеренных людей, людей bonae voluntatis».

Теперь история этого сотрудничества документально рассказана в книге недавно умершего Гюстава Симона, сына Жюля Симона: *Histoire d'une collaboration : Alexandre Dumas et Auguste Maquet.* Paris : Georges Crès et C°, 1919, и огромная доля труда Макэ в творчестве Дюма точно установлена.

Но все-таки *осталось* и *остается* имя одного *только Дюма.*

Почему? Не только потому, что сдержанный до застенчивости Макэ охотно сделался и терпеливо пребывал в течение многих лет безымянным, неведомым широкой публике сотрудником своего знаменитого «учителя», которого он, действительно, почитал и любил.

Нет, тут было и нечто другое. Конечно, Дюма-отец не был великим писателем ни в смысле личной одаренности, ни в смысле глубинности своего влияния. Но он принадлежал к тому разряду людей, которые, как живые люди, много *интереснее* и *значительнее,* чем то, что они делают. Бывает наоборот. Бывают крупные писатели, как живые люди более бледные, менее занимательные, чем их произведения.

Дюма написал, в сотрудничестве с Макэ, интерес-

ные и занимательные вещи, на которых лежит печать таланта. Но в эти вещи Дюма кроме того как-то *вписал себя,* свою *исключительно богатую личность,* в которой при всем беспутстве было нечто изумительно мощное. Недаром Мишлэ о нем сказал: «Дюма — человек? Нет, это стихия, подобная непотухающему вулкану или великой американской реке».

И замечательно: беспутный Дюма-отец, личная жизнь которого временами граничила с гаремными нравами, умер нищим на руках и на иждивении своего добродетельного сына, «человека порядка», на своего «блудного отца» столь непохожего и все-таки как-то похожего. А Макэ, безымянный сотрудник Дюма-отца, не имея и сотой доли его знаменитости, став самостоятельным писателем, нажил большое состояние и окончил свои дни в великолепном историческом замке Saint Mesme, купленном плодовитым писателем исключительно на литературный заработок! И, умирая, Макэ завещал своим наследникам довести до сведения публики, как велика была доля его, Макэ, в создании стольких произведений, ставших знаменитыми — под именем... Дюма!

Исполнением этого завещания и явилась указанная выше книга Гюстава Симона.

Люка-Дюбретон справедливо, мне кажется, подчеркивает стихийную *органическую доброту* Дюма-отца. В этой фигуре действительно как-то своеобразно сочетались — и это довольно редкое сочетание! — *мощь,* или сила, доброта, или *мягкость,* и, наконец, *легкомыслие,* облекавшееся в пленительную форму какой-то неистребимой *веселости.*

Такие сочетания встречаются не часто, и в успехе, выпавшем на долю Дюма, судьба как-то учла это редкое сожительство в одном лице даровитого и плодовито-трудоспособного писателя с благородно-чувствительным, добрым и веселым человеком, любившим и умевшим без оглядки жить и наслаждаться жизнью.

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ О «РЕСПУБЛИКЕ В РОССИИ»

В этом году двадцатипятилетие смерти знаменитого романиста Эмиля Золя.

С Золя случилось в настоящее время нечто, чего он, в сущности, вероятно не ожидал и не хотел. Одно время его ненавидели — и это ему было как будто приятно — за новизну, за «новаторство», как литературного революционера и даже просто бунтовщика. Затем его превозносили как мудреца, сочетавшего в «натурализме» своего «экспериментального романа» воображение и искусство с точным научным наблюдением и знанием. Потом Золя, не раз и ранее подвизавшийся в журналистике и публицистике, смело бросился в политическую борьбу, связав свое имя с делом Дрейфуса и навлекши на себя восторги одних и снова — дикую ненависть других. И после этого его, как писателя, как будто стали забывать и даже, пожалуй, на время действительно забыли. Но теперь он не забыт. Нет, этот никогда не могший за свое бунтарство попасть во Французскую Академию, по буржуазному трудолюбивейший писатель, сочинения которого составляют целую библиотеку в 40 с лишним томов и который — как бы ни оценивать его художественное дарование и его литературную значительность — есть крупное явление французской культурной истории второй половины XIX века, вовсе не забыт, а, наоборот, *канонизирован в «незабвенные»* радикально-«буржуазным» и социалистическим, всех оттенков, общественным мнением всего мира. Конечно, и до сих пор существуют хулители Золя, которые говорят о нем в

стиле злобно-талантливого антисемита Эдуарда Дрюмона, несправедливого, но блестящего автора критических этюдов, озаглавленных «Фигуры из бронзы или изваяния из снега» (*Figures de bronze ou statues de neige*, 1900) — для Дрюмона Золя был сделан из одного только, обреченного на таяние и исчезновение, снежного материала, и его бронзовую фигуру на Place Emile Zola Дрюмон вероятно считал бы жидо-масонским «идолом»...

Однако, как почти все сколько-нибудь значительное на свете, Золя был довольно сложной и из разного материала слаженной духовной фигурой. Этот революционер в литературе как-то по-своему, упрощенно, «симплистски», но продолжал в своем художественном творчестве и в своей литературной теории некую и весьма почтенную французскую традицию. Он всецело стоял на плечах двух других, подлинно громадных, фигур французской духовной культуры XIX века, Бальзака и Тэна. Первый был старше Золя на 41 год, второй — на 12 лет... Но оба они предварили Золя, и оба они в свою очередь как-то стояли на плечах Огюста Конта и французского естествознания начала XIX века — в лице Ламарка, Жоффруа Сент-Илера и Бланвиля. А Конт, в свою очередь, черпал философское свое вдохновение в значительной мере из Жозефа де Мэстра. И как это ни странно, Эмиль Золя, этот ныне канонизованный всеми радикалами и социалистами «гуманист» и сподвижник Жореса в деле Дрейфуса, некоторыми своими идеями соприкасается именно с учителем Конта и Маркса, жестоким реакционером Жозефом де Мэстром, и воспроизводит его.

Когда я читаю призывы Золя не только к «экспериментальному роману», но и к «экспериментальной политике», в моем уме встает гениальная для своего времени формула Жозефа де Мэстра, вычеканенная еще для умиравшего вместе с французской револю-

цией XVIII века: «История есть экспериментальная политика» (*Considérations sur la France,* 1796).

Мне хочется в этих строках напомнить о Золя как о публицисте, и, в частности, воспроизвести его замечательное суждение о «республике в России», относящееся к эпохе цареубийства 1 марта 1881 г. и восшествия на престол Александра III.

Это была эпоха, когда, проповедуя экспериментальную политику, республиканец Золя сотрудничал в консервативном «Фигаро», тем навлекая на себя обвинения в «измене республике». Это было время, когда Золя ехидно вопрошал, к какому из 36 республиканских идеалов он должен присоединиться, когда он обличал радикала Ранка, смеялся над Шарлем Флокэ, едва ли не первый именно для него вычеканив эпиграмматическую характеристику-кличку *«фютюр министр»*. Время, когда Золя недоумевал перед фигурой Гамбетты, не есть ли он всего только лишенный творческих идей оратор, речи которого, перенесенные на бумагу, не более логичны и не более красноречивы, чем речи трехсот других адвокатов; когда он провидел что-то крупное и государственное в политическом «неудачнике» того времени — Клемансо. О последнем Золя писал: «Клемансо научный ум самой подлинной силы. Он идет с веком; я, среди новых людей, ставлю его в первый ряд. В палате он принадлежит к тем, кто говорит истинным языком современного оратора, ясным, точным и логичным. Я нахожу, что речи Клемансо, превосходят речи Гамбетты — именно потому, что они всегда просты и не утопают ни в какой риторике. И, несмотря на это, Клемансо почти изолирован и не пользуется у своих коллег авторитетом. Я уверен, что посредственный Флокэ раньше его подымется к власти». (Это предсказание оказалось совершенно верным: Клемансо весьма поздно пришел к власти; уже после смерти Золя он прославился не как парламентский оратор,

а как государственный деятель. Флокэ же был министром-президентом уже в 1888-1889 г.).

Это было время, когда Золя смеялся над «республиканским гуманничаньем» (humanitairerie républicaine).

Публицистические статьи Золя из «Фигаро», относящиеся к этой эпохе, соединены в сборнике « Une campagne », вышедшем в начале 1882 г.

Золя никогда не был политиком в точном смысле слова. Он — чистый литератор, по необузданности своего «романтического темперамента» пускавшийся и в политику для того, чтобы изливать на нее и на ее носителей, политиков, свои презрение и ненависть. При этом Золя как-то не понимал, что, понося политику, критикуя и обличая политиков, он все-таки тем самым тоже приобщается к политике и, становясь таким образом сам политиком, несет какую-то политическую ответственность.

В этом политическом «диллетантизме» Золя заключалась не только его слабость, но и неизвестная сила. Он был действительно и беспартиен, и независим, а потому его политические суждения, особенно эпохи начала 80-х годов XIX века, сохраняют не только с исторической точки зрения, но и по существу, известный интерес и значительность.

Статья Золя «Республика в России», написанная под впечатлением цареубийства 1-го марта 1881 г., начинается с указания, что

> политические потрясения новейшего времени породили во Франции и везде многочисленную породу политиков, которые распоряжаются народами, как шахматные игроки находящимися у них под руками кусочками дерева. Пребывая в чистом умозрении, они упраздняют монархии и воздвигают республики, не считаясь ни с живыми су-

ществами, ни с вещами, обращаясь с человечеством и с миром, точно перед ними — простая геометрическая теорема. В этом я вижу следствие в одно и то же время и абсолютного классицизма и романтической экстравагантности...

Эти политики могут быть одинаково и роялистами, и республиканцами. Между политиком, стремящимся восстановить монархию в стране, в которой она приказала долго жить, завянув, как растение на истощенной почве, и политиком, который говорит об основании республики у народа, в котором она не может обрести условий своего существования, я не вижу никакой чувствительной разницы, ибо и тот, и другой одинаково стоят вне рамок научности, т. е. наблюдения и опыта.

Далее Золя ставит вопрос о тех невообразимых глупостях, которые о русских делах говорятся во Франции как справа, так и слева. К числу этих нелепиц принадлежит «мнение о возможности провозглашения республики в России в условиях жестокой войны, объявленной нигилистами абсолютной власти императоров». Говорить о близящемся в России 1789 годе можно только не побывав дальше Виллет и Монмартра и рассуждая о политике, точно это — представление исторической пьесы на театральных подмостках со всеми их классическими и романтическими трафаретами.

Золя писал это в 1881 г., но те соображения, которые он тогда высказывал,сохраняют свое значение и для позднейших эпох, до нашего времени включительно.

Россия есть страна крестьянская — «крестьяне составляют в России нацию».

Под тем русским обществом, которое мы

> знаем, под сторонниками существующей власти, под либералами и революционерами покоится громадная, косная сила, которая неподвижна, как морская глубина. Вообразите, что нашелся бы человек и он гениально сумел бы пустить в ход эту силу: это было бы ужасно! Но рано или поздно решение политических проблем в России перейдет в руки народа, который теперь оставляется в стороне.

Золя обращается затем к характеристике общественных настроений высших классов, среди которых есть многочисленные «либералы, стремящиеся к политическим реформам, не зная хорошенько, в чем могли бы состоять эти реформы, ибо существование парламентского режима представляло бы особые трудности в стране, в которой крестьянская масса составляла бы избирательный корпус, крайне неповоротливый, почти не поддающийся никакому с ним обращению».

«Нигилисты» суть продукт медленного разложения старого дворянского общества. Цель, которую они преследуют, весьма проста «в ее диком величии»:

> Нигилисты уже больше не под властью литературных и философских мечтаний Герцена. Они идут по стопам Бакунина, этого искоренителя. Согласно их мнению, Россия столь плоха, что понадобились бы столетия, чтобы путем народного образования водворить в ней то, что они считают за правду и справедливость. Каким образом воздействовать на косную массу крестьян? Нигилисты, которые торопятся, отступили перед этой работой и полагают, что более удобно и быстрее осуществимо произвести всеобщий переворот [катаклизм], из которого Россия возродится вся целиком. Это

— кровавая баня, это — расплавленный огнем пожаров металл, несущий крушения и катастрофы. Какое-то новое равновесие видится нигилистам, как венец анархии. Может быть, им рисуется, что Аттила, когда он жег и избивал, тоже хотел водворить в мире какой-то порядок.

Но «нигилисты» знают, что деревня не поддается их воздействию.

Только религиозная страсть могла бы поднять на ноги крестьян, но они глубоко благочестивы и если подымутся, то это будет против нигилистов, исповедующих безбожие.

Золя считает, что для нового Царя, Александра III, есть возможность стать «царем мужицким», предприняв радикальные социальные реформы и осуществив таким образом тот «социальный цезаризм», о котором у французов мечтал, «с его ужасной логикой», Прудон.

Если «нигилисты» будут упорствовать в своей борьбе против Царя, то, так как они не могут опереться на большие и сосредоточенные городские массы, они вызовут только контрреволюционную крестьянскую жакерию — крестьяне разгромят города и возродят в новых формах события анархического «смутного времени».

С этим огнем народной смуты и анархии, как дети, играют нигилисты, стремясь только к разрушению, не задаваясь вовсе вопросом о путях и способах созидательной работы.

Интересно мнение Золя о русских либералах:

Их, пожалуй, основательно обвиняют в том, что они слишком покорны европейскому духу. Они сами в душе сознают, что никакая европейская

конституция не может пустить корней в своеобразной почве России, в этом избирательном корпусе, столь невежественном и пассивном. Признавая это, они иногда прибегают к сравнению, говоря, что новое русское государство сложится так же, как образовался два столетия тому назад русский язык. Всякого рода слова пришли извне, старый язык был ими захвачен и затоплен; потом эти элементы смешались, образовали в историческом горниле единый сплав, и когда появились такие гениальные люди, как Пушкин, они из этого смешения извлекли на свет Божий оригинальный и молодой язык, с своеобразной, чисто русской, прелестью.

Точно также — думают русские либералы — из всех политических и социальных элементов, заимствованных у Европы, родится новая Россия, с своим собственным, особенным национальным лицом.

С этим пониманием русских либералов соглашается и Золя. Он отвергает идею насильственной революции и спрашивает своих соотечественников:

Понимают ли, по крайней мере, насколько идея русской республики смешна? Неслучайно и нигилисты не провозглашают в своих заявлениях этого лозунга, ибо там, в России, нет того, воспитанного на наших кодексах, на наших старых либеральных законах, латинского народа, который мог бы воспринять и взрастить республику. В России перед нами Восток, объятый религиозным фатализмом. Годы и годы понадобятся для того, чтобы осуществить там мечту о Соединенных Штатах в Европе, мечту, являющуюся одним из самых забавных построений нашего республиканского гуманничания.

Согласие Золя, в понимании русского культурного и политического развития, с умеренными русскими либералами было не случайно.Оно определялось не только его собственными идеями «экспериментальной политики», т. е. его политическим эволюционизмом, но и тем, что Золя, как друг «постепеновца» И. С. Тургенева, как сотрудник «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича («Парижские письма» Золя в «В. Е.» составляют целый том интереснейших литературных статей « Documents littéraires »), в своих суждениях о русских делах находится под влиянием именно этого течения русской мысли. Оно осведомляло Золя о русских делах и внушало ему их понимание. Когда Золя говорит о постепенном развитии политической свободы в России, об органическом созревании своеобразной русской культуры, опирающейся на западные влияния, он воспроизводит умеренно-либеральные идеи Тургенева; когда Золя говорит о России, как «крестьянском царстве», он выражает не только мысли, но и прямо повторяет форму К. Д. Кавелина.

Но, независимо от тех русских влияний, под которыми складывались мысли Золя о России и ее историческом развитии, — они теперь, после событий русской революции, представляются и по существу весьма примечательными и действительно значительными. Анализ и диагноз Золя сохранил свой интерес и смысл и для нашего времени, и потому мне казалось не только исторически любопытным, но и полезным — извлечь из забвения рассуждения о «русской республике» знаменитого французского романиста.

ЛУКИАН НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(К 70-летию Бернарда Шоу)

Бернард Шоу, которому недавно исполнилось 70 лет, — интересная и крупная фигура современного международного литературного мира.

Я живо помню, когда и как Бернард Шоу произвел на меня сильное впечатление своеобразной и крупной индивидуальности. Было это давно, в 1896 году, в Лондоне, где-то в центре города, на заседании «Фабианского Общества», когда Уэбб (или Вебб) читал в виде доклада отрывки из своей «Промышленной демократии» на тему о значении... *бюрократии* в общественно-государственной жизни. То, что говорил Сидней Уэбб в этом заседании знаменитого по своему еретичеству в летописях социализма общества, я запомнил на всю жизнь. Настолько меня поразило чрезвычайно умное, опиравшееся на множество фактов, наблюдений и сопоставлений *оправдание бюрократии* в устах англичанина, да еще и социалиста. Теперь эти соображения Уэбба или Уэббов о существе и значении бюрократии всякий может прочесть в ставшей классической и действительно образцовой книге знаменитых супругов о промышленной демократии, под каковым наименованием эта ученая чета изображает, разбирает и оценивает английские рабочие союзы, т. н. трэд-юнионы. Сделавшись преподавателем высшей школы, я неукоснительно обращал внимание своих слушателей и учеников на содержащееся в книге Уэббов критическое, в точном и лучшем смысле слова, рассмотре-

ние бюрократии. Мне всегда казалось также полезным пропагандировать книгу Уэббов среди государствоведов, которые обыкновенно о Уэббах ничего не знают.

На этом памятном мне заседании Фабианского Общества Бернард Шоу выступил с блестящими по остроумию и превосходно сказанными возражениями Уэббу. Но грешный человек: кроме общего впечатления остроумия и блеска, мне из этого выступления рыжего великана-ирландца (Шоу был «рыжий-красный — человек опасный» и к тому же исполинского роста) ничего не запомнилось. И, я думаю, это *неслучайно*. Во всем, что пишет, говорит и вообще «производит» Бернард Шоу, нет того, что мой покойный гимназический учитель истории, добросовестный немец В. А. Геннинг называл «сущностью», произнося «зущность». Бернард Шоу несравненно талантливее и ярче Сиднея Уэбба. В последнем, во всей его манере писать и вообще «давать себя», есть что-то туповатое. Но его мысли ясны, его высказывания содержательны. Сухое и серое подчас изложение Уэбба всегда *существенно*. Бернард Шоу же мыслит ослепительными изречениями, подчас заостренными в вызывающие читателя и издевающиеся над ним парадоксы. Он — социалист, но самое лучшее, если не единственно ценное, что Шоу написал о социализме, есть убийственная критика некоторых нелепостей, лежащих в основе социалистической веры (когда-то перевод этого замечательного *Essay* Шоу о социализме был по моей инициативе помещен в «Русской Мысли»).

Шоу — драматург, но его драмы состоят не в действии, а в интересных, подчас весьма глубоких, мыслях и взглядах, которые высказывают т. н. «действующие лица».

Бернард Шоу сам охарактеризовал себя однажды, как журналиста, и при этом воспел хвалебный гимн «журнализму», как литературному роду.

Я не думаю, чтобы эта самохарактеристика была верна. Шоу на самом деле больше, чем журналист, и нечто иное.

По своему мировоззрению он тонкий скептик с благостным оптимистическим уклоном, в отличие от Монтэня и Паскаля, которые были скептиками-пессимистами. Оптимистический скептицизм сближает Шоу с другим крупным, но отнюдь не великим, писателем современности, с Анатолем Франсом. И в отношении их обоих, и Франса и Шоу, лишь с натяжкой можно говорить о мировоззрении.

Будучи скептиками, они оба недостаточно пессимисты для того, чтобы иметь мировоззрение. Ибо из скептицизма лишь в его пессимистическом обороте может рождаться настоящее мировоззрение.

По форме же, по литературному стилю в широком смысле, Бернард Шоу — *эссэист-диалектик.*

Поэтому-то он для того, чтобы высказывать мысли, не просто пишет, а *сочиняет* драмы. Драматическая форма нужна ему как диалог, ибо Шоу — прирожденный спорщик. В этом отношении Шоу, который почти кичится своею «современностью», глубоко *античен.* И когда осмысливаешь оригинальный образ этого страстного спорщика, вечно ведущего *«прю»* и прежде всего с самим собою, — то вспоминается фигура знаменитого сатирика древности, остроумца и острослова Лукиана, который в своих диалогах смеялся над всем, над языческими богами и над христианской верой, над сильными мира сего и над «жертвами общественного темперамента». Только Бернард Шоу добрее Лукиана и, соответственно особенно обостренной потребности нашего времени в зрелищах и действиях (хотя бы без действия!), он пишет не просто остроумные диалоги, а театральные пьесы. Совершенно верно кто-то недавно сказал, что Шоу — очень добрый человек. Эта доброта предохраняет его и от

пессимизма, и от слишком большой глубины. Но зато она и смягчает и притупляет его остроумие и острословие. В Шоу нет ни равнодушного смешка Лукиана, ни той горечи подлинной сатиры, которую великий русский писатель, говоря о себе, раз навсегда охарактеризовал как «невидимые миру слезы». Поэтому Бернарду Шоу далеко и до упадочной ядовитости Лукиана и до христиански-скорбного юмора Гоголя.

Рыжий, ныне уже весьма поседевший, ирландец, несмотря на свою наружность не то бога, не то сатира, несмотря на ослепительную и вызывающую форму своих парадоксальных изречений, в весьма большой степени — добродетельный резонер и чувствительный добряк.

ИРОНИЧЕСКАЯ УТОПИЯ

André Maurois. *Voyage au pays des Articoles.* Eaux fortes et bois en couleurs par Alexandre Alexeieff. Jacques Schiffrin. Editions de la Pléiade, Paris 1927 (15 Novembre). 123 pp. in 4°.

Есть два вида утопий: серьезные и иронические. Прелестный рассказ Андре Моруа, своеобразно-тонко иллюстрированный офортами и раскрашенными гравюрами на дереве нашего соотечественника Александра Алексеева, принадлежит ко второму виду.

После мировой войны, офицер-нормандец, тяготясь безделием и бездействием, решил предпринять на парусной лодке путешествие по Тихому океану. К нему присоединилась молодая вдова, тоже тяготящаяся обществом, жаждущая одиночества и жизни в природе. До совместного путешествия они не были знакомы и сходятся они только для этого предприятия, как товарищи, а не как мужчина и женщина.

Буря забрасывает их на какой-то неведомый остров, где живут, вместе с *«беосами»* (обозначение, сокращенное от греческого «беотийцы», пренебрежительного нарицательного имени для людей, живущих физическим трудом и низшими интересами), *«артиколы»* — обозначение это сочинено по образцу слова agricole и т. п. для характеристики породы людей, живущих искусством и для искусства и эстетического созерцания, в бездействии, вне реальной жизни. Этот странный остров «создан» английским романистом, как *колония артиколов и служащих им беосов.* Последние

смешались с малайскими туземцами и образовали промежуточную расу. «Артиколы не выполняют никакой функции, кроме артистической. Они пишут, рисуют, компонируют музыку; они не могут предаваться никакой торговле, даже книжной, под страхом преследования. Ни один артикол не может владеть деньгами» (стр. 63). Артиколы существуют на счет и по милости беосов, которые их всецело содержат и уступают им даже своих жен.

Пьера Шанберлена и Анну де Сов — так зовут попавших на остров «артиколов», Майану, француза и француженку — помещают в особый дом «Психариум», который специально учрежден в интересах артиколов, лишенных, вследствие скудости жизни и отсутствия реальных переживаний, ... сюжетов, для снабжения их таковыми. Это «психологический сад» для артистов-артиколов. При помощи приезжающих со стороны постояльцев этого «психологического сада» — Jardin d'âmes — художники-артиколы получают к своим услугам интересные образцы самых значительных чувств старых романтических обществ.

«Серьезная» утопия логически последовательно и законченно в занимательной форме изображает, с целями пропаганды, положительной — внушения, или отрицательной — обличения, отношения и учреждения, которые автор рекомендует или от которых он предостерегает. Это ромна, или сатира à thèse — произведение дидактическое, или поучительное. Утопия «ироническая», как рассказ Моруа, ничего не рекомендует и ничего не обличает. Тем, что она ничего не обличает, а только какими-то едва набросанными черточками, художественными намеками и полутонами слегка над чем-то реально существующим усмехается, ироническая утопия отличается от сатиры. Если угодно, это — благостная и незлобивая сатира, ничего не доказывающая и никого не бичующая.

Один артикол настоящим образом влюбляется в Анну, и тогда его признают сумасшедшим, ибо артиколы не должны иметь реальных чувств — это противоречит их природе. Комиссия браков артиколов решила этому англичанину Снэку «предоставить» Анну, но он — с негодованием сообщил другой артикол — хотел получить ее в свое обладание лишь по ее доброй воле. Это и было признано за сумасшествие. Диагноз был непререкаемый в этом отношении: «глубокая вера в реальность — опасный психоз первой степени... И без сомнения Снэк покажется экспертам сегодня еще более больным, ибо со вчерашнего вечера он находится в бреду: он говорит, что поэма есть лишь некий распорядок слов, что всякий художник есть мистификатор, что один час подлинной любви стоит больше, чем все книги света... словом, тут — настоящее безумие».

Уезжая с острова Майана, Пьер и Анна обмениваются мыслями о его будущем.

— Кто знает, — говорит Пьер. — Может быть все беосы превратятся в артиколов, и тогда будет невозможно найти кого-либо для возделывания почвы, стряпни, для действий вообще. И, может быть, весь остров целиком умрет с голода, даже не заметив этого.

— Или, может быть, наоборот — говорит Анна, — беосы возмутятся и, признав себя жертвами слишком продолжительной иллюзии, целиком разрушат цивилизацию артиколов (стр. 121-122).

Конечно, содержание иронической утопии можно *«разъяснить»*, тем самым превратив ее в — сатиру. Русский по происхождению, мечтательный артикол Ручко расширяется тогда в Льва Толстого, его произведение — в «Смерть Ивана Ильича», артиколы вообще — в «упадочную» буржуазию и т. д. Но если уж давать социологическое истолкование «артиколам», то их, в этом отношении, особенность заключается в том, что они в одном социальном типе, или классе совме-

щают и буржуазию и пролетариат. Они и хозяйствуют, и трудятся. Но такое социологическое, а тем паче дидактическое, разъяснение иронической утопии было бы, в сущности, разрушением ее очарования. Эстетическая прелесть произведения Моруа состоит именно в его *недосказанности.* Для того, чтобы ощутить эту своеобразную прелесть свободной недосказанности, которая есть бестенденциозность, любопытно сопоставить непринужденную ироническую утопию Моруа с сатирическими и дидактическими, написанными с непрестанной и напряженной оглядкой на цензуру, сказками такого большого художника, как Салтыков-Щедрин, например, с его «Игрушечного дела людишками». Щедрин выдумал своих «деревянных людишек» для того, чтобы посрамить и обличить ими «живых» и те «бесчисленные принудительные сферы», со всех сторон «охватывающие человека и потрясающие его кукольными комедиями», в которых «живая кукла попирает своей пятой живого человека».

Тайна артикола, если она существует, во всяком случае, более сложная и труднее поддается разгадыванию, чем та щедринская «тайна куклы», о которой он писал, что «из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое существование», она «есть самая существенная, самая захватывающая».

Рисунки русского художника Алексеева, иллюстрировавшего для того же издательства французский перевод гоголевских «Записок сумасшедшего», мастерски передают поэзию природы, моря и морской бури, с одной стороны, и деревянное «артикольство», с другой. Превосходно также изображение негритоски.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ФРАНЦУЗСКИХ КАТОЛИКОВ

В отличие от состояния многих русских душ, находящихся в каком-то духовном разброде и нестроении, огромное впечатление производит именно предметная упорядоченность и устроенность западных душ, укрывшихся щитом католичества. Я говорю прежде всего о литературной устроенности католиков, выражающейся именно в их словесном творчестве,недавно явившемся предметом обстоятельного обзора-руководства, представляющего целый кладезь суждений, фактов и литературных указаний: L'abbé Henri Brémond et Georges Goyeau, de l'Académie Française, Pierre Billaud, Geoffrey de Fredmaison, Paul Lesourd, Jean Morienval, Jean Nesmy, Charles Oseppe, Alfred Poirat, Armand Praviel. *Manuel illustré de la littérature catholique en France de 1870 à nos jours.* Editions Spès Paris, 1925. Pp. CXVI + 255.

В этом коллективном труде о «католической литературе во Франции с 1890 года до наших дней» собран огромный материал, разбросана масса мыслей, дано множество характеристик. 1870 год есть, конечно, только внешняя веха, правда, политически значительная и потому, в известной мере, знаменующая новый период в истории католического духа во Франции.

Тут вырисовывается картина огромного духовного труда, полного религиозной напряженности и скрепленного гораздо более внутренней, чем внешней, дисциплиной. Какое множество больших душ, отданных

творческим замыслам, было захвачено этой религиозностью и принесло на ее алтарь и свои разнообразные силы и свои самые заветные помыслы! Перед нами проходят крупные фигуры первоклассных писателей, обрисованные самым беглым образом, и истории знаменитых обращений, часто рассказанные в нескольких строчках.

Вилье де Лиль Адан и Верлен, Фердинанд Брюнетьер и Поль Феваль, Жюль Лемэтр и Франсуа Коппэ, Ренэ Базен и Гюисманс, Е. М. де Вогюэ и Поль Бурже, Анри Бордо и Шарль Пеги, Поль Клодель и Франсис Жамм, Анри Лаведан и Эрнест Психари!

С католичеством связаны и крупные историки: прямо — Фюстель де Куланж и Поль Виолле, косвенно даже Тэн (в последний, едва ли не самый плодотворный, период своей огромной работы), о. Пирлинг, аббат Дюшен, Фанье и Имбар де Ла Тур, де ла Горс, и крупные языковеды, как о. Шейль и недавно скончавшийся о. Руссло.

Особую группу составляют блестящие католические журналисты, среди которых первое место занимает выдвинувшийся задолго до 1870 года, почти гениальный выходец из низших слоев народа и настоящий самоучка Луи Бейо, первый из целой династии католических писателей этого имени, и затем блестящие полемисты: знаменитый своим антисемитизмом Эдуард Дрюмон и роялист Леон Додэ.

Из периодических изданий особо выделяется « Le Correspondant », редактором которого был когда-то бесподобный эссеист Этьен Лами и в котором участвуют лучшие литературные силы французского католичества.

В области социальной философии и социального делания особенно важное значение имеет Фредерик Ле Плэ (впрочем, задолго до 1870 г.) и граф Альберт де Мэн.

О католической философии я как-нибудь напишу особо — и тут все время происходила интенсивная и огромная работа, исполненная великой поучительности.

Совершенно особое место в современной католической литературе и учености Франции занимает один из главных составителей «Иллюстрированного руководства к католической литературе», автор его «Введения» (более чем в 100 страниц), член Французской Академии, аббат Анри Бремон, которому принадлежит капитальная, еще не законченная «История религиозного чувства во Франции с конца религиозных войн по наши дни» и ряд работ и изданий по романтизму. Его введение есть целый кладезь литературных указаний, пронизанных тонкими замечаниями человека, обладающего исключительной эрудицией. Из них нельзя не отметить его указания на чрезвычайную поучительность (историко-литературную и морально-философскую) биографий.

Я говорил об «устроенности» католических душ, и в простом и правдивом устроении души заключается, на мой взгляд, жизненная и животворящая сила современного католичества, как, впрочем, всякой живой религиозности. Мне могут привести примеры «неустроенных» — Верлэна и модного ныне Леона Блуа. На это я скажу: Верлэн был «вечным ребенком» (Коппэ), «варваром и дикарем» (Жюль Лемэтр), «безумцем» (Анатоль Франс), а по-русски — великим грешником, и, может быть, иногда во Христе юродивым. Этого великого поэта вера и Бог спасли от его собственной неустроенности.

Что же касается Леона Блуа, то положительная религиозная (не литературная) ценность его писаний, именно литературно самых сильных, представляется мне, несмотря на — да позволено будет так выразиться! — посмертную рекламу, делаемую ему журналом

«Путь», «органом русской религиозной мысли», — *ничтожной*. Я в этом отношении, повидимому, схожусь с автором соответствующего отдела в разбираемом католическом руководстве. «Леон Блуа, — пишет Арман Правиэль (стр. 103), — отшельник, впавший от несчастий и нищеты в отчаяние, доводивший до парадокса всякую истину и до грубого издевательства всякую сатиру, точно нарочно расточил впустую крупные проповеднические дарования и подлинную мощь ясновидения. *Неблагодарный нищий,* как он сам любил называть себя, он, надругаясь над теми, кто помогал ему жить и хотел быть полезным, истратил свои силы на дело громкозвучное, которое в его мыслях должно было быть ужасным, а на самом деле остается бесплодным».

Леон Блуа был глубоко несчастным и, несмотря на весь свой религиозный пыл, до растерзанности неустроенным духом, который вечно терзался между смирением и гордыней, между любовью и ненавистью, между благочестием и кощунством. Им нельзя религиозно увлекаться. Ужасное неустройство его души религиозный человек может только сочувственно, пусть даже любовно, переживать, как великое несчастие и страдание жестоко извращенного богатого духа.

Всем, кто желает понять религиозную жизнь французов, так часто заслоняемую внешними покровами их буржуазно-размеренного, отлившегося в суровые формы, быта, *Manuel illustré de la littérature catholique en France* может сослужить полезную службу, как путеводитель по богатой сокровищнице новейшего католического литературного творчества. Иллюстрации состоят из неплохо исполненных портретов самых крупных писателей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

II. СТАТЬИ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII И XIX В.

стр.

III. XX ВЕК

стр.

IV. ЛИТЕРАТУРА ЗАПАДА

Imprimerie P.I.U.F., - 3, rue du Sabot, - Paris (6e)